НОВЫЙ ФОРМАТ

Жизнь в искусстве

Иннокентий Смоктуновский

БЫТЬ!

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга писалась и готовилась к изданию И. М. Смоктуновским долго и тщательно. Каждая буква в ней выстрадана великим актером и замечательным человеком. Издательство и родные Иннокентия Михайловича при подготовке книги старались оставить в ней все так, как было задумано автором.

- Иннокентий Смоктуновский
  - Помню
    - Это было так давно…
    - Завершая год
    - Три ступеньки вниз
    - Свет
    - Дни осени
    - «Берегись автомобиля»
    - Мой режиссер Ромм
    - О друге
  - Ненавижу войну
    - Часть первая. Гастроли
    - Часть вторая. ДВОР
    - Репертуарный лист Народного артиста СССР И. М. Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский
Быть!

Помню

Это было так давно…

Полвека…

Будут речи, их будет много. Будет долгое, но оттого не менее торжественное перечисление достижений наших, наших общих побед. Это естественно. Странно, если б не было этого долгого перечня наших трудов, радостей, завоеваний. Они должны быть – мы знаем, и они есть – мы уверены, и они еще будут – мы надеемся. Уж такими плодоносными, хотя и нелегкими, неспокойными, были эти пятьдесят лет, чтобы не принести нам уверенности в самих себе, в наших стремлениях.

Полвека. Нет, лучше – пятьдесят. Пятидесятилетие. Может быть, как раз специфика работы требовала и учила выявлять полное, отказываясь от полумер. Разница не в словах, для меня здесь суть; моей жизни нет этих пятидесяти, и это они дали моей жизни форму. Не хочу, не могу пребывать в половинчатости. Этому учили меня жизнь, мать, друзья. Это подсказывают дети.

Дочь, маленькая Машка, выспалась днем и долго не могла уснуть поздним темным вечером. Я одел ее, и мы пошли бродить по лесным тропинкам. Задрав мордашку, она пальчиком то там то сям отмечала только что появившиеся звезды. Я объяснил ей как мог, что это светила, как и наше солнце, только они очень далеко, значительно дальше, чем мы отошли от нашего дома, но до дому тоже далеко, и поэтому надо возвращаться, мама будет недовольна такой долгой прогулкой. Дома я попросил дочь: «Расскажи маме, что мы видели».

– Звезды, – ответила она просто.

Мама спросила:

– Папа тебе не достал звезду?

– Нет.

– Как ты думаешь, папа может достать звезду?

Мордашка была до того серьезной – нельзя было не заметить, что зреет некое мироощущение; и она ответила:

– Да. Палкой только.

Все сполна, и человек рожден, чтоб видеть, пользоваться полнотой окружающего его, и не беда, коли звезды поначалу достают палкой. Ведь надо учиться чем-то тянуться к ним. Я в детстве дотягивался до ранеток и подсолнухов в чужом саду – это моя полнота стремлений, мои возможности тогда…

Теперь дети иные. И мы не можем не гордиться их поиском полноты и «космически длинных палок». Жизнь, время докажут возможность осуществления самых дерзких мечтаний и близость недосягаемого. Пятьдесят лет заставили нас верить в это. Время,

время… Если бы его можно было поворачивать вспять, наверное, мы стали бы все делать так хорошо, уж так славно, что после не оставалось бы ничего другого, как только радоваться и гордиться. И было б тогда все так хорошо, чудно.

Но время – вещь необычайно длинная; и оно почему-то катит только вперед. И уж давно открыта истина, что прошлое по отношению к будущему находится в настоящем, а настоящее к будущему – в прошлом. Не к чему крутить колесо. Мы жили, живем и – самое, пожалуй, главное – будем жить. Если же сейчас нам ведома не одна гордость за содеянное, а вместе с ней не оставляет досада за ошибки прошедшего, то просто мы – наследные обладатели и боли, и радости, и надежд. Наверное, и сейчас мы совершаем какие-то промахи, которые поймем несколько позже, потому что еще не знаем, не выявили и всех своих достоинств.

Время неумолимо. Оно разделяет людей на поколения; но оно же соединяет их.

Странно и, больше того, парадоксально: я, который учился в школе далеко не наилучшим образом, теперь, когда мой сын (в четвертом классе) приносит четверку, совершенно искренне нахожу в себе основания возмущаться и упрекать его. Что это – власть ли родителя, неосознанный ли педагогический ход, проявление вздорного характера или обычная забота старших о младших, вступающих в жизнь? А может, предостережение от тех ошибок, которые не задумываясь делал я и которые теперь наконец стали для меня очевидны? Не попадаю ли я в такое же смешное и беспомощно-невесомое положение, как тот незадачливый папаша из старого рассказа?..

«Отец *(упрекая). Когда Авраам Линкольн был в твоем возрасте, он был лучшим учеником в классе.*

Сын (не задумываясь). Когда Авраам Линкольн был в твоем возрасте, он был президентом».

Суть стара, но и всегда нова – во времени. Не кроется ли в крошечном рассказе большая глубина, чем просто юмор или чем просто может показаться? Понять одного можно, но и не понять другого нельзя.

Обстоятельства. Люди. Время.

Вот, пожалуй, время – единственный по-настоящему оправдывающий меня фактор. Мы печемся о наших маленьких гражданах, о их судьбах, зная сложность настоящего и готовя их к доброму, но не менее сложному будущему. Годы торопят и повышают требовательность. И все сильнее ощущаешь, как необходимо все более полно выявлять свои, наши желания, способности.

Конечно, это дерзость, но предположить, что в какой-то мере мы знаем себя, – можно. Если не в полной, то уж, в любом случае, чуть лучше, чем всякий со стороны.

Но и обольщаться, я думаю, тоже не следует: мы о себе знаем немногое. И это прекрасно.

Потому что мы – в стремлении познать себя. В этом стремлении ищем возможностей совершенствоваться. И если говорить об особых приметах или наиболее характерных отличительных чертах наших, то не отметить широты натуры, доходящей до беспечности, доброты, граничащей с расточительностью, просто нельзя. Быть может, это слишком одностороннее суждение. Не знаю наверное, но настаиваю, что ширью доброты мы вправе гордиться; впрочем, так же, как не можем не ратовать за ее разумное проявление…

Все чрезмерное оборачивается едва ли не противоположностью. Мы не всегда владеем своими сдерживающими центрами. Это нередко приводит к разочарованию. К угрызению совести. Или скажем просто: к провалам в реализации наших желаний.

Широта натуры – само по себе понятие, вмещающее многое. А если мы, закусив удила, начинаем демонстрировать это качество, то легко оказываемся в положении жителей потемкинских деревень – фасад красив, но и только. От доброты душевной мы легко жонглируем словами: талантливо, гениально, удивительно, феноменально. Ярлык есть – и ладно! Он избавляет от труда мыслить, анализировать и делать справедливый вывод. Мы добрые, верим на слово. А почуяв некоторые шероховатости, успокаиваем себя: их-де сравняет широта взгляда. Отметив размах в общем, увы, упускаем промахи в частностях. Когда привыкнешь к подобному воззрению, есть риск упустить главное – объективность, правду, – ежели не быть честными служителями, жрецами ее даже в те минуты, когда она не причесана и не так уж красива, как того требуют каноны добропорядочности.

Ни время, прошедшее с момента случившегося, ни наша добрая, светлая память о Евгении Урбанском не должны затмить его – такого, каков он был.

Он завоевал нас обаянием простоты и прямотой суждений. Именно эти его качества не позволяют нам сочинять о нем легенды, приукрашивать действительность. Женя был достаточно достойный человек, чтобы о нем можно и должно было говорить правду, и ничего, кроме правды.

Только тогда мы сможем в полной мере выявить его суть и горечь потери его.

Женька, Женька, ну зачем ты сел в тот автомобиль?..

Я знаю, ты не мог не поехать, ты не любишь передоверять и не знаешь своих пределов. В тебе было чрезмерно много «я сам!», «я сам!». Да, с твоей силищей трудно было понять, что человек не безграничен. Автомобиль лежит на боку, а тебя…

Евгений Урбанский был добр, как хлеб, и прост, как земля.

Вот несколько запомнившихся когда-то прожитых минут.

Вечерами, свободными от дневных лихорадок-съемок, как-то отрешенно припав к гитаре, на каких-то умиротворяющих низких обертонах он приглашал вас в листопад, где некогда было так просто и бездумно, что, вспоминая, вы понимаете всю непоправимость утраты и только можете, как человек, не сумевший уберечь свое счастье, лишь улыбаться невпопад и всем существом своим говорить, что это было так давно, что грустить теперь смешно. И все же вы грустите, неловко улыбаясь, потому что не все в жизни зависит от вас, а быть может, и скорее всего, вы принесли себя в жертву долгу или чему-то еще более значительному и теперь вам не осталось ничего другого, как только одиноко бродить по воспоминаниям и тихо осыпающемуся саду…

У каждого свой листопад. Если даже все было прекрасно, листопад придет, придет осень с шуршанием пожелтевшей листвы.

Схваченные ветром на лету,
Листья пролетают там и тут.
Это было так давно,
Что грустить теперь смешно.
Ну а если грустно, все равно.

В минуту, когда мы были готовы предаться светлой грусти по дорогим нам людям, оставшимся где-то за хребтом Саянских гор, далеко от нашей таежной съемочной площадки, он, заграбастав ту же самую гитару, как любимую подружку, в свои огромные, но красивые ручищи, вроде бы наказуя нас за минуты слабости и саможаления (здесь он хитрил, ему радостно было узнавать власть своего голоса и умения; да полноте, он больше освобождался сам от грусти и тоски по оставшимся в Москве, хотя всячески старался это скрыть), – он переправлял нас к тому, что уже состоялось наверняка, не только было, но и есть, стало привычкой – доброй привычкой, которой, увы, все так же мало.

Дроля мой, ах, дроля мой,
На сердце уроненный…

Бедная гитара, как он ее терзал! В такие минуты ей многое приходилось претерпеть, пережить. Не они ли – минуты самоотверженной привязанности к человеку – перерождали кусочек дерева в гордую и страстную гитару? Оставаясь гитарой, она, служа Женьке, умудрялась быть и контрабасом, и ударником, банджо, мандолиной, нашей наивной русской балалайкой. Была его верной подружкой и делала для него все, чего бы он ни захотел. Он был порою груб, награждая ее всевозможными надписями и росписями; на гитарной спине – размашисто выцарапанная карта Красноярского края и все меткое, злободневное, что сопровождало и было нашей съемочной жизнью.

Потом она с ним вернулась в Москву и пожертвовала собой, разлетевшись в щепы, когда в минуту обиды, неудовлетворенности собой и окружающими попросилась в руку хозяина, чтоб уберечь его от больших неприятностей.

Она была мудрая, гитара, а он – легко ранимым, обидеть его мог ребенок.

Помню, во время съемок «Неотправленного письма» он вскормил двух соколов, и они, выучившись летать, куда-то исчезали, но всегда возвращались, находили его, доверчиво садились на плечи и голову. Даже когда отснявшись он уехал, соколы еще долго прилетали в лагерь, но все наши старания заменить Женю оканчивались неудачей. Им нужен был он. И соколы улетали.

Найдя их на берегу Енисея, он и нарек одного – Еня, другого – Сея. Сочинил о них сказ и под гитару, как под гусли, распевал на былинно-мудрый манер:

На реке на Енисее
Жили-были Еня с Сеей.
Еня жрал все, что попало,
Сее было всего мало…

Я не помню дальше слов, но это был смешной, симпатично-глупый рассказ о ненасытных птичьих утробах, прожорливости, достойной Гаргантюа с Пантагрюэлем, и о том, как в конце концов Еня с Сеей сожрали своего человеческого кормильца, отдав ему, впрочем, должное: недурен оказался на вкус.

Действительно, выходить этот хилый народ – поначалу их было трое (третьего звали Ус, тоже по названию реки, на которой стоял наш лагерь) – было совсем нелегко. Понадобились не только Женина изобретательность, но и сторонние советы многих других, после чего Ус и издох. Я ожидал, что Женя расстроится. Ничуть! Наоборот, с еще большим ожесточением он принялся холить своих соколов. И безжалостно расстреливал мелкую живность вокруг

лагеря. Мне было жаль птах, и я сказал:

– Не вижу в этом резона. Чтоб жили одни, ты убиваешь других. Что-то здесь не так.

– Быть может, в этом начало бессмертия… Вороны и соколы живут триста лет и больше. Они пронесут суть моей заботы через века. Посмотри, какие они гордые. Это от сознания долголетия.

– Так вот уж прямо и сознание…

– Ловишь, мерзавец! Не от сознания – так от чувства или от чего-нибудь другого. От инстинкта.

– Есть инстинкт жизни, но не долголетия.

Я посмотрел. Они были еще в той поре, когда недельный цыпленок мог бы преподать им уроки гордости и орлиного достоинства. Были они голые, из них торчали черенки будущих перьев, не то что летать да парить – держаться-то на ногах они не могли, только противно шипели и разевали клюв. В общем, ничего такого, что видел в них он, я не заметил.

– Если это признаки гордыни, я тоже горд. И ты. Пищать мы все великие мастера.

– А что ты думаешь… Быть может, в этом и есть наибольшая мудрость. Человек пищит оттого, что сам способен на большее, а не только оттого, что, видите ли, неудовлетворен имеющимся. Они пищат оттого, что хотят быть соколами. И будут ими – уже оттого, что пищат. Требуют – недовольны худым, голым детством. Они ж вылупились соколами!

Он сделал очень серьезное лицо и пошел нарочито плавно, давая понять, что не может, не должен, черт побери, расплескать, потерять то, что только сейчас посетило его и осенило, открыв в простоте незыблемость. Ему не свойственны были кривляния, так же, кстати, как и камни за пазухой. Уже издалека он крикнул:

– Не путай! Одно дело – ныть, совсем другое – пищать!

Через несколько минут послышались выстрелы вновь испеченного философа, выстраивающего собственное мироздание столь странным путем. Пищать – значит мочь, значит быть.

Я не знаю никого из актеров, кто бы мог стать вровень с ним по силе социальной убежденности, гражданственности.

Его Губанов в «Коммунисте» будет для меня долго служить образцом человеческой страстности, а Астахов в «Чистом небе» – стойкости и веры в доброе.

Он обладал могучим даром убеждать, отдавая первенство не перевоплощению и многоличию, а цельности.

Однажды, в бивуачных условиях съемочной жизни, он спросил меня:

– Ты любишь Маяковского?

Я невразумительно промолвил что-то вроде:

– Не очень…

Он даже не понял:

– Что?..

Я все лежал на своей полке нашего вагона. Он – на своей. А на меня уже накатывалась лавина четких, упругих рифм, мыслей, страстей. Я попробовал приподняться от неожиданности происходящего, а он продолжал в том же тоне, словно читая стихи:

Лежи, невежда,
Я сначала тебя убью,
А потом ты встанешь просветленным,
С чувством стыда за свою темноту…

Ему понадобилось всего два вечера. И сейчас, когда я уже давно «встал», мне понятна природа этой всеобъемлющей любви одного художника к другому. Тогда не было «чтива» как такового – была самоотрешенность. Теперь меня не поражает его великолепное знание Маяковского, потому что близость этих людей очевидна.

И как жаль, что мы в свое время не сберегли одного, а позже – другого! Для меня ясно и еще одно: до тех пор, пока живы все те, кто был хотя бы раз в обществе Урбанского, он будет жить вместе с ними. И не столь уж важно, назовут или не назовут его именем школу в далеком северном городке, где он учился (это, кажется, пока еще обсуждается). Спешить, впрочем, не обязательно. Для меня же она давно названа, дорогая мне Женькина школа. А ему и при жизни было наплевать «на бронзы многопудье и мраморную слизь»… Ты со мной, и ты в моей дороге…

Я попытаюсь поднять тот автомобиль и поведу по пути твоих стремлений. Лишь иногда будет сжиматься сердце от щемящей тоски: место рядом – пусто…

Фильм «Неотправленное письмо» давно отснят и прошел по экранам, завоевав благодарность поклонников и четко определив непримиримость противников. Последних, к сожалению, оказалось значительно больше, чем позволительно ожидать после честно, от сердца выполненного труда. Но это так, и было бы нелепо и пусто, если б было по-другому.

Истина – трудно, но рождается в споре. Не принявших фильм настолько больше, что не может быть весело, а становится еще более грустно оттого, что такого могло и не быть.

Фильм снимали самобытные, талантливые люди – режиссер Калатозов Михаил Константинович и чудо-оператор Урусевский Сергей Павлович. Люди сильные, волевые, знающие, чего они хотят

в творчестве. Оттого, пожалуй, в чем-то жестокие. После успеха фильма «Летят журавли» им нельзя отказать в праве на свое видение в кинематографе, и оно проявлялось в полной мере.

Что привлекает нас сегодня в кино? Лишь одно: изучение человека, его достоинства, гордости, слабости его и недостатков, то есть изучение характера, открывающее причастность времени, народу и поколению.

Здесь все мы, актеры, снимавшиеся в фильме, и авторы этого фильма, были едины. Но вот ведь закавыка: сами-то способы выразить все это, художественные средства для изучения сути, изучения самого человека виделись нам столь разяще противоположно, что мы не могли не спорить; и мы спорили.

Стороны определились. Калатозов, Урусевский и второй режиссер Бела Мироновна Фридман – с одной стороны, Урбанский и я – с другой. Вася Ливанов остался нейтрален – это был его первый фильм, и Васю можно понять.

Таня Самойлова активно в творческом споре не участвовала, а когда приходила на съемки, то сидела где-нибудь в сторонке и тихо наблюдала за нашей перебранкой. Нервы ее были, очевидно, не столь напряжены, как наши (из четырех персонажей фильма только у нее был дублер – местная девушка), и она имела право этого созерцания. Но однажды, в перерыве между дублями, в то время, когда на лес выливали сотни килограммов горючего, а мы, пользуясь минутой, старались доказать правоту своих позиций, она вдруг решила напомнить нам о нашем забытом долге перед режиссером, несколько истерично заявив:

– Как вам (это мне и Урбанскому) не стыдно: вместо благодарности режиссеру за то, что взял нас, выбрал из числа многих и снимает, вы, забыв об этом, несете какую-то околесицу – «все не так, все не то и не туда вообще»!

Мы так и сидели с открытыми ртами, обалдев от сознания той легкости, с которой могли бы решиться все споры и проблемы. Оказалось, нужно быть лишь благодарным – и все остальное плавно уляжется само собой. Мы и не подозревали за Таней столь глубокого знания производства, анализа взаимоотношений людей и столь высоких морально-этических приверженностей и теперь во все глаза смотрели на нее, благодарствуя, что напомнила о нашей черной, нет, я бы даже сказал – наичернейшей (это отчетливо слышалось в несколько повышенном тоне актрисы) неблагодарности. Мы были пристыжены до крайности, рты оставались открыты. Может, мы так и окаменели бы с лицами, полными невысказанной признательности, недоумения, неловкости и стыда, но Женя вдруг закрыл рот и почему-то легко и четко сказал:

– Ага… Понятно!

Загадки зрели одна за другой, в глазах запрыгали черти; я перевел дух и тоже закрыл рот. Мне тоже стало понятно. Но не очень. А если честно, то стало совсем непонятно.

По всему чувствовалось, что продолжение следует, но какое – никто не знал. И оттого лица вытягивались, глаза становились доверчивыми, все смотрели друг на друга и были какими-то благостными. Стало тихо, тепло и уютно, как на вулкане. Режиссер посмотрел на Таню и перевел взгляд себе на ноги.

– Таня, – очень-очень миролюбиво начал Женя; никто не знал за ним столь осторожного голоса, – однажды Константин Сергеевич Станиславский своим ученикам задал этюд: «Горит ваш банк. Действуйте!!!» Кто-то побежал за водой, кто-то стал рвать на себе волосы и заламывать руки, кто-то тащил воображаемую лестницу и по ней судорожно пытался проникнуть сквозь огонь на второй этаж, кто-то падал обугленный, обезумевший от страшной боли и страданий. Все было так, будто горел банк. И лишь один Василий Иванович Качалов, который тоже должен был принимать участие в этюде разбушевавшегося пожара банка, спокойно сидел нога на ногу, переводя взгляд с одного на другого. «Стоп! Василий Иванович, – окликнул его недовольный Станиславский, – почему вы не участвуете?» – «Я участвую, – невозмутимо ответил Качалов. – Мои деньги в другом банке».

Не знаю, что было там – давно, где проходил тот этюд, но у нас на съемочной площадке поднялся хохот. Смеялись все: было хорошо, просто и свободно.

– Мне кажется, Таня, что твои деньги тоже в другом банке. А наши здесь, в этом. И он горит. Не думаю, чтоб Михаил Константинович и Сергей Палыч столь упрощенно нуждались в сюсюкающей благодарности, в отсутствии которой ты так правильно, а главное вовремя упрекнула нас… Но каждый день сгорает тридцать-сорок метров, полезных метров нашего банка, и только потому мы забываем сказать режиссеру наше тихое русское «мерси»…

Послышались голоса пиротехников о готовности участка леса к пожару, мы взвалили на себя рюкзаки, под тяжестью которых подкашивались ноги, повязали мокрые полотенца вокруг шей (так легче переносить семидесятиградусную жару в пылающем лесу) и ушли в огонь.

…Семья людей, ваш локоть, ощущение идущего рядом – в лазурь, в гору, по буеракам. Если и оглянусь назад, то лишь затем, чтобы увереннее идти вперед…

Первым со съемок «Неотправленного письма», спеша на гастроли своего театра, уезжал Женя; его герой, по сюжету,

умирал раньше других.

Почему-то – или рано смеркалось, или он поздно уезжал – было очень темно. Его бас перекидывался во мраке от одной группы к другой. Становилось грустно и завидно. Грустно оттого, что уезжал он, завидно оттого, что не уезжали мы, каждый из нас.

Он уезжал.

Коллектив провожал своего любимца, своего «акына». Может, поэтому было так памятно темно, двигались, как тени, с какими-то факирскими, загадочными рожами, пиротехники и декораторы, наши добрые друзья и заводилы. Они что-то замышляли. Через малое время Женя вскочил на подножку затарахтевшего грузовика – и темноту разорвало ослепительное созвездие ракет. Не дав догореть одним, темноту неба вспарывали другие. Наверное, было договорено: патронов не жалеть, холостыми не стрелять. Нестройное, но достаточно дружное «ура!», всплески вскинутых рук и – улыбающееся, счастливое, со слезами лицо Женьки. Выхваченный светом ракет, стоявший на подножке, он был какой-то светлой громадой, уходящей в темноту. После фейерверка наступила тьма. Мы стояли притихшие, не двигались, чтобы не натолкнуться друг на друга. Послышалось раздосадованное: «Сейчас, ах ты, надо ж!» – и, извиняясь, одиноко взлетело запоздавшее светило, озарив осиротевшую кучку людей. Грузовика и Женьки не было. Со стороны перевала до нас долетело:

– Спаси-и-ибо!..

И только красный стоп-сигнал доверительно посылал приветы всем вообще и никому в частности.

Уехал. Стали расходиться. Уехал…

К счастью, живем мы не под стеклянным колпаком. Живем в среде таких же, как мы сами. Стараемся воспитать в себе то, что привлекает в других, так же, как они, возможно, чем-то пользуются нашим. По тому, что ты вбираешь и вобрал, можно судить, кто был рядом с тобой, кто знаменовал твой мир, с кем ты делил горе и кто тебе поведал о своем счастье, о котором русский человек не кричит – тут он так же целомудрен, как и в беде.

В последний раз мы виделись на «Мосфильме». Он сидел в автобусе. Группа готовилась ехать на натурную съемку. Кого-то ждали, никто не высказывал недовольства – на студиях это стало нормой. Увидев меня, он вышел.

Раньше я довольно часто замечал, что он смотрел на меня как-то изучающе. Сначала это раздражало, коробило, а потом не то я привык, не то он прекратил эти смотрины, а может, смотрел, но не столь явно. И теперь вдруг он опять глубоко и тихо вглядывался в меня. Мы давно не видались, и не хотелось огорчать

его замечанием.

– Ты давно в Москве? – спросил он.

– Да вот, поди, уж неделю безвыездно.

– Не даешь о себе знать… Хорош!

– Закрутился… Пока не очень идет, не могу набрести на нужное, в мыслях и заботах уходит все время.

– Походка эта – твоего нового героя, что ли?

– Да… даже не заметил…

– Все прикидываешься! С тобой хочет познакомиться наш актер Закариадзе.

Из машины вышел пожилой, совсем седой мужчина; я не видел фильма «Отец солдата», но слышал о вдохновенной работе Закариадзе и сказал ему об этом.

Женя по-доброму раскатисто засмеялся.

– Я говорил вам, он тюкнутый. Это Закариадзе, да другой. То его брат.

Немного посмеялись неловкости минуты.

– Как твои? Соломка? – сказал он потом.

– Хороши. Филипп очень вытянулся, похож на пшеничный колосок – весь желтый и длинный. Не хочет учиться музыке, никакого уважения ко мне. Машка – прелесть! Глядя на меня, говорит что-то вроде «ге», а что она хочет сказать, не совсем понимаю, думаю – лучшее. Соломка очень не хотела, чтобы я снимался здесь, наверное, устала ждать. Что у вас? Как Дзидра? Кого ждете?

– Я парня, а Дзидра – она говорит, что ей все равно, лишь бы все прошло благополучно.

По-прежнему он смотрел в упор.

– Ты извини меня, дорогой, но если будет мальчишка, он будет Кешкой. Девчонку жена назовет.

Помню: в висках застучало до испарины.

– Ох ты!.. Спасибо, я рад…

– Ты тут ни при чем! Это мы в честь папы римского Иннокентия.

– Будет тебе!..

Договорились о встрече. Я пошел, оглянулся – он так же тихо смотрел на меня. Я приветно махнул рукой. Никакого впечатления. Словно не ему. Долгий, глубокий, ничего не высказывающий, какой-то замкнутый взгляд, как бы не на меня.

Я развернулся совсем и спросил глазами:

«Что-нибудь случилось?»

И только на это опять молчаливое:

– Нет-нет, ничего, все в порядке. Будь здоров.

Я ушел к себе в группу «Берегись автомобиля». «Берегись

автомобиля», «Берегись автомобиля» – почему именно такое название: «Берегись автомобиля»?

Теперь я часто думаю, почему он молчал. Почему он так смотрел? Это не было предчувствием, нет. Последнее время он был недоволен собой, своими работами, какой-то он был тихий…

Я не вижу лица. Передо мной тщательно причесанный, но все же взъерошенный затылок мальчика. Неестественно красные оттопыренные уши. Ловлю себя на неуместной мысли: где-то я уже видел такие вот уши вразлет. Кажется, сама природа позаботилась, чтобы они улавливали и задерживали в мире звуков самые прекрасные, повелевая его еще пухлым ручонкам заставить этот зал насторожиться, замереть и уйти в сказку, когда-то созданную Бахом.

Это идет экзамен в музыкальной школе.

Вот здесь же, несколько впереди, – преподаватель класса Лидия Евгеньевна. Если бы я даже не слышал мальчика, а видел одни руки этой немолодой одинокой женщины, я, кажется, мог бы напеть мелодию. Никогда еще не видел столь звучащих рук.

Мальчика сменила девочка. Неловкая пауза, успокаивающие реплики – неверный аккорд. И опять пауза. «Вот сейчас я вспомню с восьмой ноты, и тогда…» И она вспомнила. И была так поэтична и так нежна, что, может, именно первое самозабвение родило эту неуловимую гармоническую несделанность минуты. Но мать ее, конечно, была недовольна, бранила ее, и девочка в растерянности плакала…

Мы ехали с Лидией Евгеньевной вместе. Она сидела откинувшись, усталая, мудро успокоившаяся. На коленях у нее лежал сноп цветов, а руки, обычные руки, безвольно лежали на цветах, не замечая их. И всю дорогу этого одинокого человека занимали ее мальчики и девочки – ее дети. Я подумал: «Когда так много души отдано детям, не может не воздаться сторицей. Посев должен дать всходы, это добрый посев».

Каждый из нас не избежал в свое время вопроса: «Кем ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?» Словно в неосознанную отместку за бестактность некогда поставленных вопросов мы теперь с высоты завоеванного безмятежно бросаем младшим:

– А кем ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?

И это в то время, когда столько путей и столько дорог. И они не вымощены и совсем уж не прямы. У взрослых голова кругом идет. Впрочем, спросить всегда легче, чем заметить, а заметив – подсказать, помочь.

Корреспондент газеты был краток. После двух-трех деловых фраз, помолчав, он сказал в телефонную трубку:

– Как жаль, что не будет вашего Каренина.

Ударило слово «ваш».

– Почему же?

– Мне думается… Вы бы нашли… Вы бы подошли…

Я ждал. Он, видимо, хотел выразить суть своей мысли короче и оттого так долго тянул. Наконец он нашел и заговорил просто:

– С позиций объективных, нераскрытых, вы поспорили бы с хрестоматийной привычкой считать Каренина человеком дурным, машиной того времени, а не героем, который мог бы служить примером каких-то человеческих качеств, недостающих, может быть, многим и сейчас…

Разговор не ладился. Настал мой черед молчать. Он высказывал то, о чем думал я, те же мысли, которые приходили и мне. Человек на том конце провода как-то угадал их. Выходит, я шел по пути наименьшего сопротивления? (Временные обстоятельства не позволили делом доказать правоту моих позиций, но зато разрешили быть более свободным в суждениях).

После «Гамлета» я получил почти двенадцать тысяч писем. Из них, пожалуй, в трех-четырех тысячах пишут: «Как Вы точно сыграли Гамлета, я таким его себе и представлял (представляла)». Первое время я думал: «Что же это такое? Так просто? Так легко? Это издевательство, что ли? А четыре месяца мучительных репетиций у меня дома с режиссером Розой Сиротой, которые помогли выявить существо моего Гамлета?»

Теперь я знаю, что всех этих людей, написавших взволнованные строки, повело за собой и объединило желание увидеть активно воплощенное, борющееся, побеждающее добро. Не зло, только добро – и сто раз добро! Труд и друзья помогли извлечь корни из моих неизвестных и объединить их в известной жизни шекспировской трагедии. Люди у станков, за чертежными досками, за рулем, взращивающие хлеб и покоряющие просторы вселенной, – все они жаждут знать свое время, его веяния, его суть. Потому-то и стал так близок многим людям Евгений Урбанский – он обладал удивительным дарованием объединять, быть своим всюду. Герой нашего времени…

Да, так о Каренине.

Надо признать: Алексей Александрович Каренин поставлен не в те самые выгодные и блестящие положения, где можно так славно показать всю красоту и благородство души. К тому же Анна однажды, не без основания, обнаружила, что у него большие уши, да еще и торчат. Читателя, который с первых же страниц романа примет сторону Анны, не любящего к тому же, когда хрустят пальцами, явно не устроят и анкетные данные. В самом деле: служба в царской канцелярии, орден Александра Невского, парадные

лестницы, роскошный особняк и слуги. Плохой человек. Отрицательный персонаж.

Несколько жанрово, но довольно близко к тому, с чем я собирался поспорить. Да возьмите лишь одно: разве может истинная женщина оставить, бросить своих детей ради любимого или ради тщеславия – все равно?

Человек, нашедший в себе силы понять, нашедший силы задушить свою гордыню, ревность, простить, простить совершенно и, полюбив так страстно, как не мог полюбить Вронский, не сказать ни слова упрека не только ей, но и ему.

Человек, который, верой и правдой служа отчизне, в условиях самодержавия поднял голову в защиту нацменьшинств и в меру возможностей их отстаивал. Человек, который, в конце концов, едва ли не осознанно идет на крушение карьеры из-за того, что позволяет себе – непозволительное (недозволенное) – ну, в пылу полемики я, пожалуй, могу сделать его революционером. Правда, это уже другая крайность…

Станьте на более выгодную позицию Анны и преподайте мне ее мироощущение в сложившейся ситуации – вот тогда я смогу в полной мере быть ответственным адвокатом своего подзащитного, который, право же, имел более опытного и мудрого поверенного – Льва Николаевича Толстого. Я приходил к этим мыслям рабочим порядком, все глубже и отчетливее понимая, почему он начал с нее. Даже по той же самой хрестоматии, в условиях тогдашней России, она была более закрепощена, и Толстой не мог не стать на защиту ее, не начать с нее. Женщина дает нам жизнь, растит наших детей, оберегает их, олицетворяет мир, любовь, родной дом…

Не любить и любить – состояния диаметрально противоположные. Не любят – и даже достоинства человека видятся его недостатками. Для меня очевидно: он – хороший человек, едва ли не всеобъемлющий, большой государственный муж с прогрессивными взглядами. Как можно поставить его в разряд желчных и недалеких? Он выше окружающих. Не каждому на роду написано быть открыто мягким и добрым. Есть натуры скрытные, но не менее благородные. Мне кажется, Толстой показывает, как человек даже в самых наихудших обстоятельствах может быть богом и должен быть им. Только тогда он человек. Правда, он и жесток, но и всепрощающ до самозабвения. Много ль из того, что на глупой голове красивые уши? Да, у него уши торчат вразлет. Но если бы все были на одно лицо и у всех были бы одинаковые уши, то еще, чего доброго, Анна, увидев у Каренина уши ничуть не хуже, чем у Вронского, да и у нее самой, просто не ушла бы, и вообще неизвестно, написал ли бы тогда Лев Николаевич Толстой свой

роман. Эва до чего можно дойти-то. А все они, уши!

Иногда люди бегут как раз от того, что ищут. Ищут же обычно то, что любят, чего недостает. По этому недостающему мы и узнаем суть самого ищущего. Люди мелкие ищут комфорта, любой популярности, денег, люди крупные – самих себя. Нередки случаи, когда приходишь просветленным и очищенным к тому, что когда-то так безрассудно бросил. Время, время…

Я думаю об Александре Николаевиче Вертинском – человеке, исколесившем полсвета. Право же, для нас гораздо более важно, что он долго искал и нашел наконец путь на Родину, чем то, в чем когда-то заблуждался. Как это у него: «Много русского солнца и света будет в жизни дочурок моих. И что самое главное – это то, что Родина будет у них». Не-е-ет, он был не просто «солист Мосэстрады» – и это прекрасно знают даже те, кто не разделяет моего обожания. Впрочем, я их понимаю: у него ведь тоже были «каренинские уши». Если бы он мог участвовать в конкурсе на роль Каренина, то прошел бы вне конкурса. И я убежден, что не внешнее решило б такой исход выбора.

Он заставлял нас заново почувствовать красоту и величие русской речи, русского романса, русского духа. Преподать такое мог лишь человек, самозабвенно любящий. Сквозь мытарства и мишуру успеха на чужбине он свято пронес трепетность к своему Отечеству, душой и телом был с ним в годы военных испытаний. Он пел о Родине. Его песни нужны и сейчас. Его деятельность – поэта, актера, музыканта и гражданина – просится на экран, в документальный фильм «Александр Вертинский». Уж не говоря о том, что надо не знать, не любить язык наш, чтобы еще раз не пройтись по красотам и певучести его в исполнении этого большого художника. Наконец, нужно быть абсолютно бесхозяйственным, чтобы не сделать ни того ни другого. Время показало, что это наша забытая гордость.

Юбилей. Полвека. Я ждал его как праздника, как улыбки, как отдыха после длинной дороги, но в какие-то дни и забывал о нем за будничностью дел, забот, тревог. Юбилей, юбилей… Подстригали газоны, на балконах разбивали целые оранжереи, словно желая сохранить все это зеленое великолепие до ноября. Был случай, в магазине мне сказали: «Спасибо, приходите еще…» Служба безопасности городского движения разлиновала все мостовые под зебру, словно до этого автомобилистам разрешалось давить пешеходов, а теперь уж хватит! В театре приготовили хорошие, юбилейные спектакли, словно раньше можно было показывать плохие. Это естественно. Праздник ведь не будни. И огорчительно, что ты запросто говоришь другу по будням то, чего не скажешь в

день рождения. Юбилей, юбилей… Веха зрелости, роста, новых пределов. Я волнуюсь и встречаю его, как и все мы… Вспоминаю: «Скажите, мастер, когда вы пишете свои картины, о чем вы думаете?» – «Я не думаю. Я волнуюсь…»

Никогда еще не было столь взволнованного времени, как теперь. Заставляют думать и участвовать в наших волнениях даже машины. Добрый, милый, но усталый трамвай уступает место самолетам – ракетам, соединяющим континенты. Ухарскую ямщицкую тройку сейчас показывают уже как достопримечательность взволнованного старого. Над кроватью моего сына висит фотография поверхности Луны, вырезанная из журнала. Дети почему-то все больше рисуют ракеты, неведомые, вздыбленные миры, и мы уже научились оттуда смотреть на нашу маленькую Землю. Земля отливает голубой позолотой, и от нее исходит такой покой, такая тишина, что хочется поскорее вернуться к себе домой, на Землю, и верить, что она не может быть иной. Если дети рисуют Землю мирной и доброй, манящей и ждущей, мы не вправе обмануть их надежд.

Так что, бишь, я хотел спросить-то тебя? Ах, да…

Кем же ты хочешь быть? Куда пойдешь учиться?

Мы не были бы зачарованными современниками искусства Майи Плисецкой, если б она долго думала, что ответить на этот вопрос. Наверное, она волновалась, и ее вело то увлечение, которому она отдавала время и свои хрупкие девичьи силы в школьном возрасте. Нам повезло, что ею это угадано. А может быть, кто-то, заметив ее неосознанное увлечение, не задавая ненужных вопросов, по-человечески и вовремя потревожился, позаботясь о ней?

…Он шел по пыльной дороге сорок первого года. Огромный и рыжий, смущенный, что ему поминутно приходилось менять ногу в строю. Человек, портрет которого я носил в медальоне Гамлета. Мой отец – Михаил Петрович Смоктунович. Человек добрых шалостей и игры, человек залихватского характера, ухарства и лихачества. Он вскормил меня, и тогда я провожал его в последний раз по кричащей, взволнованной дороге к эшелону, уходившему на фронт.

Мне не нужно было искать его в строю. Два метра удивительно сложенных мускулов, рыжая, по-мужски красивая голова виделись сразу. Я со страхом подумал: «Какая большая и неукротимая мишень!» Я бежал, меня трясло. Очевидно, почувствовав, он поймал меня взглядом и отрывисто бросил:

– Ты что?

– Ничего…

В горле пересохло. Он, изучающе помолчав, крикнул:

– Ты смотри!..

Он ушел, мой президент.

И я смотрю.

Я помню. Я смотрю…

Волнуется педагог музыки, в коридоре замер отец мальчика – того, который играет сейчас. Перед нами совершенно очевидное дарование, угаданное и уже направленное по нужному руслу. Мальчику четырнадцать лет. Что это такое? Откуда? И отвечаешь: мальчик, наверное, волнуется, потому что его увлечение легко растворяется в аккордах музыки. Он этого еще не осознает. У него лишь краснеют уши. И пусть краснеют. И пусть до поры не осознает. Пусть смело идет по дороге, куда послал его отец – морской капитан третьего ранга в отставке, который, может быть, идя в бой, волновался не так, как сейчас, посылая сына на этот экзамен. Стоит побледневший, подсознательно ощущающий ответственность момента мой Филипп. Потом шумно аплодирует мальчику, радуясь успеху своего друга и не так активно – девочке, которая играла удивительно проникновенно. Сын в таком возрасте, когда на девчонок смотрят свысока. Со временем это уйдет, уступив место гармонии – прекрасному зову природы – любви и нежности. Как бы хотелось, чтобы в добром мире земных тревог и забот не было места диссонансам. А пока пусть доверчиво идет сын по дороге неизведанного, по пути надежд, добрых юбилеев, свершений и всего светлого, что могут породить желания человека нашего времени, человека Руси.

Я буду смотреть. Буду помнить…

1967 г.

Завершая год

Один из прошедших декабрей, по-доброму завершая свой год, всеми событиями, делами и встречами, как бы говорил: «Дети, ну что вы суетитесь, мечетесь как неприкаянные? Это же не последний ваш декабрь, будут еще и март, и май – все еще впереди, все еще будет».

И для тех, кто был близок с тем декабрем, понимал его, – им было много легче забыть невзгоды уходящего года и не очень-то обольщаться простотой грядущего. Завершался большой год, и завершался достойно. И одно это в атмосфере предновогодней жизни вселяло покой и освобожденность от бремени чрезмерно громких надежд. Чего же загадывать, зачем скучно предрешать в сусальных новогодних пожеланиях дела, мысли и чувства – ведь все же будет, все впереди.

Было просто. Совсем не загадывалось ничего, не думалось о близком завтра, и поэтому бессмертие, должно быть, о котором ну напрочь не вспоминалось, было рядом, под боком, и при желании его, наверное, можно было бы потрогать, прикоснуться руками, не подозревая, однако, значимости минуты и того, к чему ты только что мог быть причастен. И уж совсем не ведая, что и сам ты становишься частичкой бытия вечного, непреходящего. Дело только за догадливостью, за сообразительностью. Но каждый уже однажды был запущен и проносился по своей крошечной орбите сутолоки и забот дня; не то очередь приобщиться к этой редкой возможности была бы куда большей, чем на выставку Тутанхамона или на мимолетное свидание с Моной Лизой, привезенной в Москву на две недели из Парижа.

Это уходил год, в который американцы вступили на поверхность Луны. Шаг был дерзким. Мир прильнул к телевизорам. Земля была возбуждена, у нее появилась соперница, принявшая землян.

Сев в ракету, трое полетели на Луну; оставшиеся же на Земле желали жизни им, здоровья там, в мертвом мире, лишенном даже сквозняков, и ждали их обратно.

Первый гордый полет Юрия Гагарина всегда и всеми воспринимался не только как подвиг советского народа, но и как общечеловеческий подвиг. Не было газет и журналов в мире без его портрета, где бы не сияла его улыбка. Он был «наш», простой, российский, скромный. Но событие было столь огромно, что его никак не вмещали никакие территориальные, ни социальные границы даже такой сверхкрупной державы, как Россия.

И вот теперь мне подумалось: на каком бы языке они, эти

трое, ни говорили, им знакомы, понятны и близки слова: люблю, мир, дети, земля, мать, завтра, хлеб, весна, черемуха.

Не имея своего телевизора, я впился в него у друзей на соседней даче. Изображение хоть и не четкое, но захватывающее – это точно. Люди – на Луне! Взволнованный, бежал домой, делая большие прыжки, медленно, как бы зависая в незначительном притяжении Луны. Мою несколько необычную манеру двигаться по дачным дорожкам в тот день никто не принял ни за сумасбродство, ни за сумасшествие, хотя невольных свидетелей этого аттракциона было немало.

Время – бесстрастный блюститель лишь циклов, ритмов, как показалось, удовлетворенно отмечавшее, что дети этого его периода совсем недурны, и поэтому, может быть, их не следует баловать, впрочем, как и предыдущих, – продолжало свой мерный путь, жонглируя мирами в бескрайности Вселенной.

Лето того года подарило мне несколько свободных от съемок дней. Не знаю я, что такое королевский подарок, никогда его не видел, хотя и бывал на ленче у принцессы Маргарет – родной сестры английской королевы, – быть может, то, что я был приглашен, и есть королевский подарок? Очень может быть. Но те дни, что удалось мне побывать на юге, – поистине подарок королевский, иначе не могу о них сказать. И, получив эту возможность, почувствовал, как колыхнулась, заворочалась дремавшая, должно быть, до того охота – жажда к паразитическому существованию. И с воплем «к морю, фруктам, солнцу и…» я полетел к отдыхающей на юге семье. Мне удалось достать путевки в Дом творчества литераторов.

Море! Наша Машка, перед тем как полететь на юг, вдруг соотнесла себя в пространстве: «У моря, наверное, я буду совсем маленькая?» Ей тогда было четыре с половиной года. Как она удивительно права! У моря все мы дети. Вернее, все мы, взрослые, становимся детьми. Вдруг появляется желание играть, барахтаться в воде – кто дальше заплывет, кто нырнет глубже, достанешь ли со дна ракушки и, наглотавшись солено-йодистой воды до глухоты, позаложив ушные перепонки, забыв о мудрости веков «труд создал человека», будешь прыгать на одной ноге, как девочка, играющая в «классы», чтобы вернуть, восстановить связь, прерванную с миром, и вылить из ушей морскую воду, согретую твоим теплом.

Вспоминаю более сложное время – война, наша часть после форсирования Вислы в районе Непорента (помню точно лишь название, а что это – лес, селение или просто местность – не знаю) прошла маршем многие десятки километров на северо-запад, затем круто повернула на восток, и командиры сказали,

что через шесть-восемь дней, если мы будем двигаться все так же, как сейчас, мы увидим море. В это время, идя быстрым маршем, мы пленили многих – или пленяли, в общем брали в плен, пожалуй, так будет вернее, – немцев, каждый из которых серьезно и с тоской говорил: «Алес капут», «Гитлер капут», «Их бин коммунист, камраден». Все мы жили одним: близким концом войны, а теперь еще прибавилось какое-то праздничное и волшебное ощущение скорой встречи с морем. Это был март сорок пятого года. Два года чудовищной, изнурительной, изматывающей фронтовой жизни не смогли убить невероятного желания жить, радости весны, близкой победы… Должно быть, организм втянулся и привык, найдя вполне возможным жить и развиваться в окопах, в боях, в походах, сжиматься несколько, из окружения выходя, и радоваться любой минуте отдыха, и, спать ложась в окоп, благодарить судьбу за трудный день, что завершился жизнью и доброй темной ночью.

Какое счастье – мы побеждаем зло, фашизм. Мы будем жить. Мы дали людям жизнь. И мы спасли весь мир. Мы будем жить. Свободны будем мы. И так будет всегда. А там, за сопками, за тем горизонтом, будет море. Как выглядит оно? Всегдашняя загадка – почему оно так тянет к себе? Может быть, родившиеся у моря и живущие возле не испытывают этой власти. Тогда немало прекрасного никогда не изведают их сердца, и это горько. Но, думается, этот великий кудесник не мог обнести щедростью своих береговых домочадцев и посвящает их во что-то такое, чему трудно подыскать определение, что можно познать лишь с годами, с детства босоногого, и в существование чего мы, таежные, глубинно континентальные поселенцы, и поверить-то не могли бы.

До той поры я никогда не видел моря. Что это – просто много-много воды? И говорят, что берегов не видно никаких. Ну, это уж хватили – берегов не видно! Ври, но так-то уж зачем – они должны быть. А знаешь ли, что и вода соленая, и пить ее нельзя, и штормы баллов в восемь ломают любой вал и мол? Зимой оно не замерзает и способно прокормить всех живущих на берегу. А говоришь, что берегов не видно. Так кто и где же там живет? Кого кормить-то?

…Дальний наш переход к морю перемежался рытьем окопов, в которых занимали круговую оборону. Мы то уходили в лес, чтобы переждать короткую тревожную команду «воздух!», и через некоторое время над головами, прерывисто гудя, появлялась «рама», как в микроскоп рассматривая нас, то рассыпались кто куда мог – в любую щель, канаву – при страшных артналетах. Говорили, что это дело рук какой-то Большой Берты, которая до

удивления легко и просто в какую-то минуту-полторы превращала огромные массивы в кратеры воронок и в терриконы грубо вынутой разрывами земли. Из одной такой воронки в другую, по мере продвижения вперед, пришлось переползать и скатываться вниз и вновь карабкаться наверх. Смешного было мало. Осталось там много наших парней.

Так, помню, встретило нас море. С фашистских кораблей, стоявших в бухте, между городами Сопотом и Хилем, в нас швыряли «тракторами» – так говорили наши доморощенные остряки. Само же море увидели мы к исходу следующего дня. Кто-то закричал: «Смотрите, море!» Сквозь строй редких сосен и других каких-то великанов, изогнутых и искореженных, должно быть ветром с моря, просматривалось небо. Всюду было небо. Красиво, но и непривычно, словно ненароком набрели на край земли. И даже страшно почему-то стало. Где же море? Да вот же, перед тобой! Опять смотрю и ничего… замираю – смыв стык горизонта в одну голубизну с вечерним небосклоном, спокойно, величаво простиралось море, как зеркало огромное, положенное так, чтобы небо смотрелось лишь в него. Сколь можно глазом охватить, действительно и берегов не видно. Где ж тот парень – он был прав. Ах, да. Он никогда уж спорить и острить не будет. Он остался там. Тишина. Как будто не было той ужасной ночи и все мы вместе здесь пред жизнью вечною стоим – и никаких вопросов, все понятно; как в рот воды набрали; никто ни слова. Слишком уж разными вдруг показались война и мир. Нет, в войне не стоит жить, хоть ты и выжил, выстоял. Но то была не жизнь, а лишь борьба со смертью, злом, чтоб жизни быть достойным в мире, у моря, которому тихо прошептали: «Здравствуй».

Кто-то, вытянув руку, тихо указал: «Смотрите, в море огоньки и вспышки». Через какие-то мгновения мир кончился, и со сварливым воем, мгновенно и зловеще нарастая, взрывами вокруг вернулась война.

Потом, лишь через поход, Берлин и многое другое, был мир. Сначала он был пестрым очень. Полотен белых пятна отовсюду, тряпиц на головах и даже в челках лошадей, везущих домашний скарб, и простыни из каждого окна свисали белыми большими языками. Девчонки малые – так их пропаганда рейха напугала нами, что каждая из них махала белой тряпочкой, смотря на нас от страха огромными глазами, ожидая, когда же будут те, с рогами и хвостами.

Пестрый мир! Сколь долгим, непростым был путь к нему от Волги, и только так он мог быть завершен, иначе справедливостью не стала б справедливость. Мы победили, потому что не победить мы не могли. Другого выхода мы просто

не имели.

Так вернемся к морю.

Полон пляж народу. Смех, гомон, девчонок писк. Прибрежная полоса моря кипит, кишит от брызг. Насколько глаз хватает, направо и налево, кругом тела, фигуры, статность, здесь, быть может, излишнее брюшко, там тучность, здесь шоколад загара поражает, там белизна и бледность, нетронутая солнцем, под зонтиком ютится. Молодежь, бросающая мяч, преклонный возраст, под тент забравшись, в преферанс играет – забот приятных «полные карманы» у люда обнаженного на пляже. Где отыскать своих средь этого нагромождения тел, загаров, заклеенных носов, панам, купальных шапочек, зонтов, махровых полотенец, защитных очков и бесконечного движения, суеты, где очень важно все и ничего не значит уж следующий миг. На первозданном лежбище котиков, должно быть, легче вновь отыскать запрятавшегося среди камней и родичей намеченный заранее экземпляр.

– Они ушли на пляж со всеми вместе. Может, надо что-то передать? Кто вы?

– Я их отец и муж.

– Вы… Смоктуновский, что ли?

– Да, это я. А что – не надо?

– Да нет! В кино вы помоложе и не похожи вовсе. Вот только голос, пожалуй, ваш, а больше ничего.

– Ну что же делать, каков уж есть, не обессудьте.

– Что?

– Уж не взыщите, – говорю, – за то, что изменился и не таким предстал, как вы бы хотели видеть.

– А-а-а… Да ничего. Не вы же виноваты, что здесь один, а там – совсем другой.

– Не виноват, не виноват, ни в чем не виноват, – бурчал я, соображая, что же делать.

– Ну вот… И там в кино добрее много вы, а здесь, не зная что к чему, за дураков всех держите, наверное. «Не виноват», «не виноват» – никто вас не винит, заладил… Сказать хотела похвалу, но не скажу. Какой, однако же.

– Вы не совсем…

– Да что там говорить… На пляж они ушли. Все в добреньких играют… Детей погладить норовят и приласкать собаку или кошке за ухом почесать – все это «позитура», одна лишь «позитура», чтоб только кто-то видел, а потом сказал: смотрите, какой простой он, и добрый, с кошкой играет, и за ухом ей чешет. За ухом мы все горазды почесать. Вы делом, вы жизнью докажите.

Совсем не ожидал, что обернется этаким разрывом. Такая

въедливая попалась старушонка. Мне не хотелось говорить – немного подустал, после самолета шум в ушах, несколько тошнит. Она же засекла, должно быть, нежелание это, переведя все на себя. И, уходя, я долго еще слышал голос человека, восставшего и против лжи, и зла, и, как она сказала, «позитуры»… Нашла же слово! Нечего сказать…

Пошел на пляж. Вертолет то проносился над пляжем, то зависал над местом каким-нибудь и опять удалялся – служба безопасности купания вносила излишний шум в уютную людскую кутерьму, но пляжный люд к нему привык, не обращал внимания – летает, ну и пусть себе летает, а завис – пусть повисит; поднадоест – и улетит опять. Я был опознан сразу. «Филипп, Мария, смотрите – папа!» – «Где?» – «Да вон, у лестницы, в начале. Видите, рукой машет?» И вместо того, чтобы ко мне бежать навстречу, Филипп присел на камни, выставив лопатки, Мария также подошла к нему, присела, спина к спине, и они молча воззрились на меня, высказывая интерес, но вместе с тем и скрытость, что ли, чтоб не привлекать внимания к нам и ко мне.

Прекрасные минуты: бодрит прохлада моря, дышать легко, с Машкой на руках и в воду – отдых, такая благодать!

Что может быть прекрасней моря после долгих надоевших съемок, где давно смирились, что порох выдуман и звезд не ухватить – они идут, и фильм снимают, ну, в общем, так же, как могли б и не снимать. Итог давно запрограммирован, он – скучная ненужная средина, чтоб серостью ее не обозвать…

Так, теперь конец года. Декабрь.

Обычное, стереотипное, прескучное предновогоднее интервью.

– Расскажите, пожалуйста, чем для вас был знаменателен этот уходящий год, какое событие вы считаете самым ярким, важным для вас, запомнившимся вам надолго?

– Самым ярким, запомнившимся?.. Летом мне удалось быть на юге, и я с дочкой входил в воду. Кругом было так тихо, безлюдно. Море – и мы с ней. Она еще совсем крошечка и не умела плавать, боялась и хотела. Я держал ее за ручку, потом приподнял на руки, и она ножками колотила меня, было больно и вместе с тем было здорово. Вот, должно быть, это…

– Вы серьезно говорите это?

– А почему бы нет? Вполне. И даже более чем.

– Вы считаете самым важным событием…

– Да… Вы так спрашиваете, что я даже несколько испуган. Постойте, дайте подумать, быть может, я что-нибудь и упустил или перепутал. Мне не хотелось бы быть белой вороной – наверное, вы не одному лишь мне вопрос подобный задавали?

– Да, конечно.

– Ну, интересно, и что же отвечали?

– Прежде мне хотелось бы услышать, что вы ответите. Что важного случилось именно у вас?

– Понимаю, одну минутку. События… Год… Да, конечно, только это и больше – ничего. Извините, я прав: другого, большего события не знаю.

И корреспондент ушел. Каким-то скисшим, погасшим настолько, что его было почему-то жалко и хотелось наговорить ему с три короба всякой ерунды, каких-нибудь «банзай-ура-виватов». Но, как ни старался вспомнить более значимого события, которое бы оставило след во мне и как-то повлияло на ход дальнейшего, кроме той минуты – минуты удивления, счастья, самозабвения, солнца, жизни – не было события важнее. Но странно, когда уходил корреспондент, мне показалось, что ему было жаль меня. Никогда позже я не видел его, не встречал ни его, ни его столь бойкого интервью. Читал много подобных вопросов к Новому году и, может быть, много столь же бойких ответов. Но, читая эти ответы, вдруг очень четко осознал, чего он ждал от меня тогда, что так мучительно выспрашивал, чтоб я сказал, чтоб я отметил. На секунду, только на секунду мне стало неловко, что я забыл об этом, забыл, как вроде бы этого и не было, о том великом шаге человечества, когда ступили на Луну. А ведь это и было моим открытием огромного мира нашей жизни, полноты ее и цели, столь ощутимой и важной, необходимейшей, что лишь ради нее можно было и по-настоящему стоило драться у того безлюдного, мертвого, зловещего, несущего лишь смерть и разрушение прибрежья и моря. Мне кажется, и Армстронг, когда ступил ногой на лунную поверхность, он думал о Земле, о дочери и сыне, о всей Земле, о нас, о мире.

Три ступеньки вниз

Сын, будучи еще ребенком, часто столь глубоко сосредотачивался на каких-то своих мыслях, будоражащих его детское воображение, что вывести его из этой погруженности могло только прикосновение. Никакие звуковые сигналы не могли пробить броню его отгороженности от мира. Нас, родителей, это настораживало, и мы обратились к врачу. Диагноз был неожиданно обнадеживающим, и мы втайне не могли не испытывать гордости за свое дитя.

– Вашему Филиппу, должно быть, есть чем думать…

– Это у него наследственное… – на радостях неловко сострил я.

– Да, вы правы, ваша жена производит впечатление тонко думающего человека, так что передайте ей, пусть она успокоится. По поводу же его странного, как вы говорите, отсутствующего взгляда – здесь, я думаю, мы стоим у истоков формирования глубокой, интересной человеческой личности, которой уже теперь, я повторяюсь, есть во что погружаться. Он мыслит – он живет, это естественно.

Мы успокоились и даже в шутку такие моменты обретения ребенком возможности заглянуть в себя определили как «мысли, мысли пошли…»

Однажды Филипп так же самозабвенно «ушел в свою лабораторию», упершись взглядом в одну точку. Я несколько громче, чем позволяло таинство этой минуты, воскликнул:

– Во-во, мысли пошли, мысли…

Впервые услышав мой окрик, ребенок тоном маленького иллюзиониста, удачно закончившего свой фокус, пискнул: «Ушли!» – поясняя и то, что они были, и было их немало, во всяком случае не одна, а какое-то множество мыслей.

Что-то очень похожее происходит теперь со мной, когда я, преисполненный рвения, мыслей и решимости воссоздать некоторые отрезки моей жизни на бумаге, подхожу к столу, беру чистый лист, ручку и…

«Ушли!»

Почему? Что пугает их? Мое неумение? Белизна листа? Но я не собираюсь чернить его ни графоманскими вывертами, ни потугами на нечто оригинальное и, уж конечно, ни претензией на писательский слог и стиль.

Ничего такого я делать не умею, действительно, не хочу, не могу и не буду. Я попытаюсь лишь записать то, что происходило со мной, только это ляжет строчками на белом пятне передо

мной.

Ничего, что я буду говорить правду, а? И уж коль скоро я решил обращаться только к ней, то и начну с признания.

Я знаю, почему рой мыслей так поспешно улетучивается – причина во мне самом. Я хочу поведать о моих попытках поступить хоть в какой-нибудь московский театр в 1955 году, а даже самые облегченные воспоминания того времени вызывают теперь у меня самого сложную реакцию.

То хочется смеяться, хохотать и бить в ладоши над обилием нелепости происходившего тогда, и хохотать можно было бы довольно долго, смею предположить, что веселье это могло бы продолжаться до слез на глазах и колик в животе; то, напротив, – та неотвратимая безвыходность тогда даже теперь, по прошествии огромного отрезка времени, комком перехватывает горло, и светлая радость, что я вправе считать все осуществленное завоеванным и моим, наполняет все мое существо.

В период подготовки новой работы у артиста порой наступает кризисный момент, когда он не в ладах не только с ролью, пьесой, партнерами, собой, но больше всего с тем эгоистом, который прочно устроился в нем самом. И никакие разговоры, увещевания, обращенные к этому квартиранту, ни к чему доброму не приводят – они бесполезны. Меня довольно часто посещает этот товарищ. С каким бы распрекрасным режиссером ни работал в этот «час пик», едва ли не против своей воли обрушиваешь на него град неуважительных взглядов, мыслей, а порой и реплик, вспоминая которые через какое-то время буквально корчишься от стыда и раскаяния. А бедные родные – они герои-мученики. Я, например, едва ли не вслух убеждаю себя, уговаривая: «Ну держи себя в руках», и в это время у себя дома кого-то из домашних уже стригу глазами и закатываю долгие монологи по поводу холодного чая, что, впрочем, совсем не исключает более повышенных тонов, когда чай горяч и я поношу всех жаждущих сжечь мне горло. Виноваты все, во всем, всегда и всюду. Эти мои вывихи дома терпят, стараются не замечать, но все равно это зло не украшает нашей жизни, отнюдь.

Видя, что метод поглаживания по шерстке еще больше ощетинивает меня, жена попыталась однажды погасить этот ненужный пламень путем подбрасывания сухих веточек в него:

– Да-да, конечно, жизнь не удалась, ты несчастен, у тебя все плохо, и с тобой все ясно и кончено.

– Перестань паясничать, какая ты, право…

– Да, я такая… а ты… посмотри, посмотри на свой пиджак.

– На какой еще пиджак я должен смотреть, когда я сижу в халате и ем совершенно сырые яйца… просил всмятку, всмятку, я

просил… так нет же, еще я должен озираться на какие-то сюртуки. Что за дикая фантазия!

– Ты сам почему-то взял сырые, вареные вот.

…Никогда не пойму этих женщин, право, никакой последовательности.

– А на пиджак посмотри… не лишнее, я сейчас принесу…

Все посходили с ума. Там режиссер требует: подавай ему жизнь человеческого духа, видите ли. Причем смотрит на меня так, словно готовится проглотить зонд для пробы желудочного сока, здесь пиджаки какие-то должен высматривать… все сговорились довести, добить…

– Где газета сегодняшняя?

– А что, там сказано, как ты должен делать своего Иванова? Вот она.

– Там не сказано, как я должен делать Иванова, но там, может быть, я смогу найти ответ, на какой пиджак и зачем я должен глазеть.

– Ты напрасно злишься… Даже в самых дерзких своих мечтах ты не мог и предположить, что грудь твою будет украшать премия Ленина, что ты станешь Народным, что будешь необходим, с тобой будут считаться, хотеть работать, встречаться, говорить, видеть. Вспомни, дорогой…

Притащила пиджак и держит на вытянутых руках этакой ширмой передо мной… И молчит!.. Нет, жены – невозможный народ. Знает же прекрасно, что это лауреатство составляет тайную и явную мою гордость. Так нет же, выставила ее и держит вот уже минут семь как живой упрек: не заслуживаешь, не достоин. Выходит, так. А, бог с ними, с женами… такая нечуткость… никогда не пойму их. Да, газета… «В Центральном комитете КПСС»…

– Что такое? Что-нибудь случилось?

«Постановление о работе с творческой молодежью». О, давно бы надо… а то сладу нет… Ну вот, взволнован до того, что простые серьезные вещи не могу понять с одного раза – читаю дважды. Ну наконец-то!..

– Где Филипп, опять гуляет?

– Он в институте, на занятиях…

– Какая жалость… то есть… ладно, потом… Ну вот же… прекрасно: «Содействовать становлению творческих индивидуальностей, а не серой безликости»… «о профессиональном росте и занятости выпускников… не уделяют должного внимания молодежи, не состоящей в союзах».

Не могу спокойно видеть: слишком много для одного утра… До начала репетиции еще полтора часа: хлопнув дверью, «пошел в

разгул».

Если действительно дать ход этому постановлению, сколько молодых сердец учащенно забьется в щедрой благодарности за его реальные возможности, сколько удивительно живых умов, светлых мыслей и творческих дерзаний найдут себе поле деятельности… прекрасно… Совсем не предполагал, что утро 21 октября будет таким радостно-взволнованным.

Может быть, мой друг и режиссер Олег Николаевич Ефремов прав, требуя от меня повышенной диалектичности движения в «линии» Иванова. Не может же, в самом деле, Иванов все время быть с застывшей маской обреченности вместо живого лица, он же не монумент, не памятник, как вот этот, например.

Вот уже в который раз в состоянии душевного смятения оказываюсь здесь, у памятника. Люблю Гоголя и по возможности перечитываю. Вот он и прост, и понятен вроде, но даже в манере глядеть, сидеть – безмерен и загадочен. Да-а-а, этот мог писать… а тот, на Гоголевском бульваре?.. Должно быть, мог – тоже ведь Гоголь. Оба они, хотя схожи лицом, но нравом разные и оттого совершенно непохожие. Мне лично больше по душе этот Николай Васильевич, тихий, мудро созерцающий остановившихся возле него.

…Гоголевский бульвар… Этот Гоголь иной, совсем иной. Если тот думает и пишет, то, в отличие от своего уставшего двойника, этот уже все написал и теперь лишь наблюдает и проверяет – оттого всегда он прям и бодр.

Вот такое необходимейшее для жизни и будущего нашей творческой молодежи постановление – кто из них двоих мог творить? Этот, оказавшийся много лучше при более пристальном и долгом осмотре, но все же… занятый самим собой: «как выгляжу». Надо будет действительно стоять «гоголем», чтобы уж никто не усомнился, что это я и есть, тот самый Гоголь, написавший… Или тот, сникший, мыслитель, тихо сидящий в садике своего дома, самозабвенно вникающий в тревоги соотечественников – в их радости и боли?

Бульвар… По сторонам редкие островки старой патриархальной Москвы.

Кропоткинская… С нежной взволнованностью бываю в этих местах. Здесь, именно здесь, в тихом переулке в течение полумесяца на высоте седьмого этажа… я когда-то размышлял над своим «сегодня» и составлял «проекты» на будущее. Это, должно быть, глупо, во всяком случае – напыщенно звучит. Однако вынашивались, грезились наивные планы сложных психологических ходов, тактических уловок и приемов, возводили ажур «воздушных замков», разрабатывались

чудовищные по своей несуразности «прорывы», призванные взять измором, тупой назойливостью. Какое счастье, почти ничему этому не суждено было стать реальностью…

Место это было выбрано мною из нескольких: оно было надежным, удобным и оттого довольно продолжительным пристанищем. От верхней лестничной площадки с квартирами вела еще выше узкая лестничка с полным поворотом в обратную сторону, то есть на 360 градусов, так что, выходя из своих квартир, жильцы не могли видеть меня, и я мог спокойно возлежать на подоконнике замурованного окна у громыхающего, астматически шумящего лифта. Внезапный грохот его поначалу пугал меня, и я, нервно ощетинившись, вскакивал, но потом привык и пробуждался по ночам иногда оттого, что слишком уж он долго не тарарахает, и тревога – «не сломался ли он?» – овладевала мной. Я спускался на шестой этаж, жал кнопку лифта – он громыхал, и я, успокоившийся, поднимался по лесенке «к себе». Ну это ночью, все спят, и нигде никого нет. А днем? Не всегда спустишься и не всегда нажмешь. «Что вы тут делаете, гражданин?» – мог последовать вопрос. У меня же ни прописки, ни работы, и вид не так чтоб уж очень обычный. Лето, жара, а я в лыжном костюме. Так что при каждом раздававшемся внизу далеком стуке входной двери я с напряжением вслушивался в шаги, голоса, готовый в любую минуту ринуться по лестнице вниз, чтобы мастера, пришедшие чинить «моего сломавшегося сиплого соседа», не застали меня…

На Арбате именно такое уже было однажды. Меня спустили вниз, и я долго объяснял, что я хороший и никаких вещей у меня нет, и что я там ничегошеньки не прячу. Они хотя и обошлись со мной не грубо, но не поверили, а пошли проверить, оставив меня в красном уголке на попечении какой-то маленькой, сухонькой старушки. Я спокойно сидел, тая в груди мощные удары сердца Гамлета, и всем своим видом показывал, что смиренно жду их возвращения. Старушка оказалась на редкость любопытной и пыталась что-то спрашивать у меня, но я продолжал сонно сидеть, вроде бы и не слыша ее вопросов, а когда она взобралась на стул возле меня, чтобы включить репродуктор… я «рванул» в дверь так, что только во дворе, напугавшись, подумал, не сорвало бы старушку воздушной волной со стула. Смею предполагать, что оставил и этого престарелого стража, и тех двоих бдительных, которые должны будут вернуться с далеко не простым ощущением: «А был ли он вообще?» Лишь тот небольшой сверток с рубахой, с бельем и зубной щеткой, который я оставил там, вернул их, я надеюсь, в нормальное восприятие окружающего.

Всякие мистические бредни и суеверия меня не коснулись. Я

здоров душой и телом. Поэтому совершенно спокоен к перебегающим дорогу кошкам, вещим снам, ни малейшего трепета не испытываю ни перед какими числами, а всевозможные надтреснутые зеркала, вой собак и разнообразные спотыкания вместе с внезапно зачесавшимся носом и пресловутой кофейной гущей вызывают у меня досаду, не более. И вместе с тем я не мог бы поручиться, что этот подоконник у самого чердака шестиэтажного здания был простым, нормальным подоконником и вокруг него не гнездились порой своеобразные биополя и всякие там ауры. Иначе чем можно объяснить хотя бы то, что человек на подоконнике, заложив руки за голову, одиноко вытянуто лежит, вроде спокойно созерцая потолок, благо тот здесь рядышком, и не надо напрягаться, высматривая что-то где-то вдали. Но вдруг человек этот ошалело вскакивает и громко начинает выкрикивать обличительные монологи о неправде и близорукости. Все это было бы легко объяснимым, присутствуй здесь еще ну хоть один человек, все равно кто, а то вокруг ни души, а он орет и руками машет. Подоконник тот был на уровне седьмого этажа, что само по себе уже не низко. Однако, даже сидя на нем, совершенно невозможно было вообразить себя выше жильцов, живших тогда во всех этажах того дома, начиная с первого по шестой. А вместе с тем все они были где-то там, внизу. Я пришел тогда к совершенно определенному выводу, что существует, должно быть, какая-то малоизученная закономерность, которую я не в силах объяснить, а проанализировать ощущение ее, пожалуй, попытаюсь. Состоит она из двух, как мне кажется, частей. Вот они: во-первых – не ори, что ты выше всех, если сидишь всего-навсего на подоконнике; а во-вторых… располагая таким определенным «во-первых», совсем не обязательно иметь «во-вторых». Вот так, пожалуй. Здесь есть некоторая витиеватость мысли, но это-то меня и заботит, так как она навеяна именно тем чердачным помещением – просто омутом на седьмом этаже.

Но я хочу рассказать о совершенно непонятном, доселе мне неведомом, обнаружившем себя там, наверху, властно, вдруг и неотвратимо.

После одной из неудачных вылазок в очередной театр поднялся я к своему подоконнику. Ни мыслей никаких, ни возбуждения – хорошо помню – не было, только усталость. Да время от времени грохот и усыпляющий шум поднимающейся кабины лифта. Ничего особенного в звуке этом не было, но необходимость… еще и еще раз слышать его вытеснила на время все другие мысли и ощущения. Еще раз… и мерный скрип… скрип «санных» полозьев успокоил меня.

…Дыхание сквозняка снизу донесло запах чистого снега. Отбросив душную тяжесть дохи из собачьих шкур, щурюсь ясности празднично высокого неба, величаво плывущего вместе с нашими розвальнями. Как много снега! Узкий след полозьев, быстро выскакивая из-под саней, убегает резво прочь, но, сливаясь воедино, вскоре вовсе теряется в белом пиршестве зимы. След этот кажется ясной приметой радости, к которой уносят меня низкие сани. Она где-то. Она будет! Но скоро ли? И какою будет она? Ответа не могло быть. Только скрип полозьев…

Сани вдруг с силой качнуло, они вздыбились, и полость, резко хлестнув в лицо, перекрыла собой и без того робкую связь с миром. Пение полозьев смолкло, сани стали, и было слышно лишь тревожное фырканье лошади. Бесконечное множество мельчайших белых искр, пронизывающих морозный воздух, заполнило мир.

Неловко придавив меня сверху, заворошился возница, что-то прокричав над толщею шкур. Ему, помедлив, ответил высокий голос издали. Страшно и хорошо. Что будет дальше? Почему остановились? Пытаюсь сбросить мех совсем и, лишь слегка высвободившись, застываю пораженный…

Сани стояли у края огромной, теряющейся в солнечной синеве котловины. Дух перехватило от высоты. Хотелось отползти прочь, но сила, обратная, упрямо удерживала на месте, заставляя неотрывно глядеть в завораживающий, тянувший к себе край земли. Совершенно ясно осознаю тут, что это же все было под Томском, зимой, много лет назад: меня, пятилетнего, увозят из Татьяновки в Красноярск к тетке Наде… Причем само осознание было столь стремительно несущимся, что появилась боязнь – все вот-вот может исчезнуть совсем, навсегда. Неприятным суховеем тоски обдало сердце. Стало страшно до безысходности, и душа старалась уцепиться за то, что все это было давно, а сейчас лишь грезится мне… только грезится. Я словно вновь оказался на небольшой горушке в окрестностях Томска, на краю обрыва, который разверзся на том зимнем пути из моей деревни в город.

Гулкая пустота. Никакой опоры – провал бесконечной тьмы. Хрупкое, до страха непрочное равновесие. Но и оно вот-вот нарушится, и сознание, не выдержав, угаснет… Был короткий миг, в который промелькнула мысль, что нужно держаться, держаться, не дать этой последней, ничтожно слабой зацепке уйти… иначе уйдет и этот миг.

Рядом грохнуло… с настойчиво нарастающим сипом поднялась кабина лифта… и остановилась передо мной… юркнуть наверх, к подоконнику, – не успею, заметят… Остался на месте… Дверь лифта, кем-то задерживаемая, тихо закрылась, и

все замолкло. Ничего не понимаю, померещилось, что ли? Никого нет. Прошло много времени. Только тишина… и мой вопрос. Слегка выдвинулся вбок, чтобы увидеть пространство за металлической клетью… показалось чье-то плечо… хотелось остановиться, но не смог… Он стоял и ждал, когда я появлюсь из-за края лифта. Я знаю его; в этом подъезде дома я всех знаю… Он пенсионер и не любит проигрывать в шахматы на «скамеечных турнирах» Гоголевского бульвара. Я онемело уставился ему в лицо. Осмотрев все справа и слева от меня, он быстро, бесшумно оказался у перил и цепко обшарил глазами площадку этажом ниже. Он не заметил меня, хоть и был в трех метрах, я даже видел, как он покрылся красными пятнами. Косо улыбнувшись и прогремев связкой ключей, он ушел к себе… но странно: прикрыв дверь, он не защелкнул ее засова, как делал это всегда. Пойти и сказать: «Вы оставили дверь открытой»… Может не так понять… Дверь вдруг с силой рванула вперед, ударило об стенку, прогремел угрожающий вопль вконец перепуганного человека, лихорадочно пугающего других, и все смолкло, только серая пыль разбитой штукатурки, разрастаясь огромным одуванчиком, медленно оседала вокруг.

Вскоре я был внизу, наслаждался солнцем, свободой, предоставляя людям, быстро пробежавшим в подъезд, убедиться, что чердак тот действительно не без странностей.

…К этому времени я побывал уже в четырех или пяти театрах, но все это было как-то глухо, вроде это и не происходило вовсе. Эти похождения из одной двери в другую были долгими, утомительными и, как теперь я понимаю, просто напрасными – бесплодными. Они ничего не могли изменить тогда, но бередили, ранили душу, озлобляли; многочасовые ожидания изматывали, унижали; все это я чувствовал и в следующий кабинет входил не таким, каким мог и должен был бы войти, то есть самим собой. Не ропщу, ни единого упрека ни в чем и никому, кроме одного, но и тот самому себе: в тридцатилетнем возрасте нужно бы уже знать себя и уметь владеть собой в разных обстоятельствах. Хорошо это или дурно, но временами мне кажется, что и сейчас-то не очень знаю, кто я такой есть. Если же порой и померещится нечто, то и тогда не сразу сообразишь, что это-то и есть я. Сложно.

Когда же вдруг на улице, у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки или читаю полные тревоги письма с просьбой совета – как попасть на сцену, стать артистом, – я знаю наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только, что я шел, зная, чего

хотел и что мог. И единственным советом, багажом в этом прекрасном, но и тяжелом пути к самому себе были Вера, Надежда, Любовь.

…Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького, шумно подхватывая воздух, наслаждаясь когда-то удачно найденной манерой говорить, совершенно не затрачивая себя на это, мимоходом промямлил:

– У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришлых всевозможных приезжих… и о чем, собственно, вы хотите говорить со мной?

– Я хотел бы, чтоб вы меня посмотрели, послушали…

– Я и так на вас смотрю и слушаю и, простите, ничего не могу сказать вам утешительного… прощайте…

Другой режиссер, главный в другом театре, был с виду тих и завидно флегматичен. Должно быть, зная эту его черту, секретарша впустила меня к нему в кабинет одного. Режиссер, очень аккуратный, хорошо выбритый седой человек, в очках с металлической оправой, сидел посередине своего кабинета в совершеннейшем одиночестве, и я не мог бы сказать, что он с повышенным интересом ожидал возможности познакомиться со мной. Нет. Совсем напротив, никакого интереса к входившему не было вообще. А когда я уже вошел и сказал «здравствуйте», он все еще пребывал в решении каких-то своих глубоко психологических проблем и только спустя минуты две, перестав следить взглядом за чем-то движущимся между ним и стеной, хотя там абсолютно ничего не было, мельком посмотрел на меня и, подперев лицо рукой, теперь уставился в деревянный подлокотник своего кресла. Он скользнул по мне взглядом так мимолетно, что, казалось, не заметил меня. Тогда во второй раз, но все так же бодро, как и в первый, я прокричал свое «здравствуйте». Все ведь зависит только от своего настроения, а оно у меня было таким, что это самое «здравствуйте» я готов был выкрикивать до вечера и позже, и все так же бодро… К тому же, будучи здоровым человеком, я люблю, чтоб и вокруг меня всех распирало от здоровья и хорошего настроения. Ничего не помогло.

Режиссер уныло продолжал изучать подлокотник, и я решил тогда пустить целую гирлянду «здравствуйте», в надежде все же вывести его из состояния душевной задумчивости, и только я это подумал… как он, не оставляя, однако, научно-исследовательских изысканий по древесине, выдал вдруг такое количество этих самых «здравствуйте», что я опешил: «О, да с ним надо ухо держать востро, дядя-то, как видно, телепат». Он словно прочел мои мысли и посмотрел на меня очень строго, в упор.

– Да-да… Вы из Сталинграда. Как там Фирс?

– Фирс Ефимович ра…

– Да, небось он все кричит и так же рушит?

– Немного есть… Н…

– Сталинград возрождается, а?

– Строят… М-м…

– Спектакли посещают?

– Ну, в общем… С…

– Я побывал недавно в вашем театре от ВТО и видел ваше «Укрощение строптивой». Смешно вы это делаете, Смоктуновский, лихо. Это Токарев поставил?

Обрадовавшись, что меня знают и наконец есть возможность дельного, вразумительного разговора, я открыл рот…

– О…

– Вы что, так вот просто взяли и приехали в середине сезона, ни с кем не списавшись, не разузнав?

– Я получил приглашение от Софьи Влади…

– А Токарев больше ничего не ставил у вас, как актеры его приняли?

– А… Я…

– Забито все, голубчик, забито, и ничего не поделаешь.

* * *

А ведь как все было просто и в общем недурно…

Русский театр драмы в Махачкале летом 1952 года вяло заканчивал свой сезон. До отпуска оставалось десяток дней. Скорей бы. За год работы в этом театре я успел «испечь» пять основных ролей, не принесших мне, однако, ни радости, ни истинного профессионального опыта, ни даже обычного умения серьезно проанализировать мысли и действия образа. Многое, что составляет неотложность нашего труда, за этот год я не изведал. И причина, как мне кажется, была не только во мне самом, хотя было и это. Никаких накоплений не происходило, может быть потому, что большинство актеров театра были обеспокоены куда больше обилием кавказского базара, нежели творчеством в театре. Я это чувствовал, видел, мне был не по душе этот гастрономический ажиотаж, но быть судьей тех актеров я не мог, хотя бы потому, что сам после пяти лет работы в Заполярном театре на Таймыре, получив вместе с робкими ростками профессиональных навыков полный авитаминоз, ринулся на юг – к морю и фруктам. Пляж, базары – хорошо, кто спорит. Но я тогда еще не знал, что это опасно, очень опасно: что это конец. Само помещение нашего театра стояло (должно быть, и до сих пор

стоит) на самом берегу моря, просто на городском пляже, так беспощадно тянувшего к себе из репетиционного помещения, в котором по углам иногда бегали огромные портовые крысы.

Оказавшись здесь, у моря, и привыкнув к нему, я совершенно неожиданно для самого себя был покорен красотой гор Северного Кавказа и в свободное время уходил туда, растворяясь в их мощи, волнуясь настороженностью и загадкой их величия. Жизнь актера периферийного театра меня вполне устраивала. Единственно, что хотелось, – и это ощущение было ясным – объездить как можно больше городов, театров, и чем отдаленнее, экзотичнее и неведомее уголки нашей огромной страны – тем лучше.

Именно это желание в свое время побудило меня поехать в Норильск, затем в Махачкалу и неотступно призывало махнуть на Южный Сахалин. Скорее всего, оно бы так и было, не окажись у нас на спектакле брата и сестры – Леонида и Риммы Марковых, актеров Московского театра Ленинского комсомола. Они приехали в отпуск к родителям в Махачкалу, и профессия потянула их вечером в театр. Такие зрители для наших будней редкость невероятная, и, что говорить, мы были взволнованы, но каково же было мое удивление, когда я увидел значительно большую взволнованность этих двух красивых, стройных молодых людей, зашедших после спектакля к нам за кулисы. Не стесняясь этой своей взволнованности, они, мягко и мило перебивая и дополняя друг друга, растревожили меня уверениями, что все то, что я делаю на сцене, интересно и что мне непременно нужно работать в Москве по той простой причине, что моя манера (оказывается, у меня есть своя манера) существовать и действовать на сцене своеобразна, неожиданна, а что самое главное – современна.

Неожиданно оказавшись владельцем всего, о чем не смел даже предполагать, я был смущен и все же пригласил этих замечательных зрителей приходить и на другие мои спектакли. Они пересмотрели все с моим участием – мы подружились, нам вместе было о чем говорить, молчать и спорить. В конце концов они заявили, что по возвращении в Москву непременно будут говорить обо мне со своим главным режиссером, Софьей Владимировной Гиацинтовой.

В то же время в йодистых водах Каспия в утренние часы можно было наблюдать огромного, рано поседевшего, красивого человека, который, наслаждаясь спокойствием моря и одиночеством, то медленно погружался в воду, то вновь появлялся над ее гладью, оглашая при этом набережные кварталы трубными звуками, подобными реву морского льва. Львом этим оказался Андрей Александрович Гончаров – замечательный

режиссер из Московского театра на Бакунинской. Он сбежал в свой отпуск из шумной Москвы. За неделю-полторы, утолив голод в тишине и одиночестве, он ощутил, видимо, потребность в общении, забрел к нам в театр и пересмотрел все наши спектакли. Окруженный тесным кольцом актеров, переходя изящно взглядом от одного разгримированного лица к другому, вроде бы все еще досматривая спектакль, он как-то симпатично в голос смеялся и говорил почти каждому из нас те или иные оценки, замечания. Посмотрев на меня, ничего не сказал, но так же в голос засмеялся. Не зная чему, я тоже захохотал, однако наши актеры неодобрительно скосились в мою сторону, и я, сообразив, что сделал что-то недостойное, умолк. И опять мы безотрывно глядели на «пришельца» из того, другого, непонятного нам мира, мира высокого искусства. Благоговейнейшая тишина чередовалась лишь с переливами грудных обертонов высокого гостя. И только когда в тоне режиссера прослышалось «я все сказал» и он действительно умолк, кто-то из артистов-старейшин, робко осмелев, выявил заботу:

– Удобно ли вы сидели, у нас такой скверный зал?

– Мне всегда удобно. А зал действительно у вас плох, и какие-то кошки бегают по ногам.

Поднялся хохот. Теперь уже смеялись все. После этой прекрасной минуты мы, наконец, стали сами собой, и Андрей Александрович поинтересовался, нет ли среди нас любителей уплывать в море. Не осознав, что он разумел под «уплывать в море» и не владея никаким стилем в плаванье и лишь умея держаться на воде, я изъявил готовность плыть.

– Прекрасно, завтра утром мы это и проделаем, там и поговорим…

Утром, мощно рассекая воду, он уплывал далеко вперед и ждал меня. Не успевал я доплыть до него, как он вновь торпедой уходил к горизонту, явно намереваясь для начала переплыть Каспий поперек! Видя, наконец, что вместе с силами я теряю и плавучесть, он улегся на воду, как в постель, и явно был обрадован, когда я, вытянувшись не хуже его, глубоко задышал рядом.

– Вы на удивление живой артист, Кеша…

Всех этих славных признаний за последние дни было бы с излишком и для сильного человека на суше, но здесь… в открытом море… Я уже было начал свое большое погружение, и только его вторая фраза: «Где вы учились?.. Что кончили?..» – заставила меня всплыть.

– По актерскому ничего… ничего… не кончал…

– Ах вот откуда эта самобытность… Ну что ж, бывает и так. Нужно работать в хороших театрах, где-нибудь в центре. Поезжайте в Москву, здесь ничего не достигнете. Здесь прекрасны вода, утро, пляж и солнце, но театр оставляет… Пяток достойных актеров, а добрую половину труппы нужно будить, остальные вообще… отговорил – и в горы. Нет, конечно, в Москву. Легко, вероятно, не будет – манны не ждите. Но Москва – жизнь, ритм, споры, возможности, борьба – прекрасно, Кеша. Такое количество театров, да хотите, приезжайте в наш – пока молоды, надо. Поиск, творчество – прекрасно.

И, издав мощный рев, шумно ушел в воду. Онемевший, я некоторое время щепкой болтался на воде, потом тоже попытался издать львиный рык, но, по-моему, ничего не вышло, и я начал озираться по сторонам в надежде определить, к какому горизонту мне предстоит плыть теперь.

После вялой двухлетней переписки и переговоров с Московским театром Ленинского комсомола вся несостоятельность моих притязаний стала, наконец, очевидной и для меня. Я вроде очнулся от завораживающего, долгого сна, и мои друзья в Волгограде, где я работал уже два года после Махачкалы, вдруг увидели меня совсем отличным от того, каким привыкли видеть. «Если за пять лет я не смогу сделать ничего такого, ради чего следует оставаться на сцене, – я бросаю театр», – заявил я. Решив, я освободился от тяжести ожиданий, сомнений и послал в Москву телеграмму: «Уважаемая Софья Владимировна готов приехать постоянную работу тчк сообщите когда в чем сможете предоставить дебют тчк уважением Смоктуновский». Ничего скромного в этой телеграмме нет – она, собственно, так и была воспринята. Только думается, что послание это не столько удивило, сколько напугало – ответ пришел на следующий день. «Не ссорьтесь театром тчк приезд дождитесь отпуска тчк сообщите чем хотели бы дебютировать тчк уважением Гиацинтова».

Через три дня, совершенно и навсегда порвав с Волгоградским театром, я предстал перед несколько потерявшейся Софьей Владимировной.

– Как, вы приехали?..

– Да, я приехал.

– Совсем?..

– Разумеется!

Никакого дебюта, конечно, не было, да и не могло быть, а был показ, обычный показ, какие практикуют во всех театрах, с тем чтобы руководство театра имело большее основание заявить навязывающимся в театр актерам: «Извините, вы нам не

подходите».

На показ пришло человек двадцать актеров. Я был полон сил, решимости, настроение было прекрасным – я знал, что и как я должен делать, и даже не очень волновался. И вот уж не знаю, чем объяснить, но по ходу этого домашнего показа раздавались аплодисменты и не раз вспыхивал дружный смех. Это – единственный удачный мой показ в Москве, вселивший в меня уверенность, что мой приезд вполне оправдан и что меня обязательно возьмут.

Софья Владимировна, тряся мою руку, взволнованно и как-то безысходно повторяла:

– Дорогой мой, дорогой… Что же делать? Что ж? Да, да…

– Что делать… брать надо, Софья Владимировна, брать, – под видом шутки протаскивал я затаенную, страшную жажду.

Софья Владимировна, милая Софья Владимировна – она была первым и единственным человеком, просто и заинтересованно разговаривавшим со мной. Узнав, что мне не только негде жить, но и не очень есть, чем платить за жилье, она предложила, чтобы я снял комнату или угол за ее счет.

Буквально на следующий день я был довольно радушно встречен директором театра, медленно разговаривавшим человеком, из чего создавалось впечатление, что каждое произносимое им слово он взвешивал на каких-то своих внутренних тяжелых весах.

– К подбору актеров мы должны подходить фундаментально, – тяжело качнул он кистью руки, как бы определяя вес актеров, а заодно и вес того фундамента, который собирался брать за единицу измерения необходимости в актере. И тем не менее наш разговор шел довольно гладко до той поры, пока я не произнес слово «прописка».

И вот здесь все пошло значительно быстрее и без всякого дополнительного взвешивания. Выяснилось, что он готов взять меня в свой театр, но не может в силу того, что у меня нет московской прописки, прописку же я мог получить, только имея постоянную работу в Москве, и наоборот…

Этим вот милым разговором и начался тот самый, удивительный путь по театрам Москвы, где, воображая, что я иду вперед, я уже шагал по строго замкнутой окружности. Не отчаиваясь, однако, и памятуя наши утренние морские «марафоны», я с легкой душой побежал в театр на Бакунинской. Андрей Александрович, широко разведя руки, с радостью встретил меня: «Ах, вот куда завела вас ваша… самобытность… Ну что ж, бывает… Работать можно в любом театре, если работать, разумеется… а здесь переизбыток прекрасных актеров…

поезжайте куда-нибудь в Среднюю полосу России – замечательные театры, насущный спрос на современного актера… в Россию, конечно в Россию, – легко, вероятно, не будет… манны не ждите, но – ритмы, спор, творчество, поиск, перспективы… пять-шесть премьер в год, вдумайтесь только – прекрасно… возможности, каких просто не сыскать здесь… прекрасно…»

* * *

…Когда все ступени этой долгой лестницы были исхожены и впору хоть начинай сначала, кто-то обмолвился: не попытать ли счастье в Московском театре-студии киноактера. Делать нечего – пошел «пытать». И довольно скоро выяснилось, что «пытать» буду не я, а пытать будут меня. Но этому всему суждено было происходить несколько позже, а пока, ничего не подозревая, я шел в этот театр-студию, полный светлых, радужных надежд. Люди, у которых я оставил ящик со своими вещами, уехали в отпуск, не сказав мне ничего о своем отъезде, и вот уже целую неделю я хожу по испепеленной солнцем Москве в лыжном костюме. Стеснен ужасно. Несвеж, весь мятый, хоть бы пасмурный день, а то жарища дикая. Москва давно не помнит лета с такой жарой. Теневые стороны улиц столицы битком набиты москвичами. Приезжий люд, стесняясь и теснясь, заполнил все солнечные стороны. Я был на солнечной стороне, разумеется, – там было проще – по-свойски, никто не замечал моего лыжного костюма и того, что я нездешний.

А вот и это неуютное нагромождение здания Театра-студии киноактера на улице Воровского. Совершенно не представлял, что этим днем начинаю свое нашествие на кино.

Внутри помещения тихо и прохладно – боже, как хорошо. Вот здесь бы и работать. Прислонясь воспаленно нагретым лбом к холодному глянцу стены, почувствовал, что пришел к своим. Так хорошо и тихо может быть только дома. Не выходной ли у них сегодня? Что-то никого не видно.

– Эй, ты там, хватит подпирать стенки, иди подержи лестницу, – раздалось вдруг нагло громко. Молодые ребята-монтеры наверху тянули какие-то провода. «Вот я уже и работаю здесь, – пронеслось во мне, – неплохое начало». Разузнав у мастеров, где кто, и прихватив кусок изоляционной ленты, которую удобно было наматывать на палец одной руки, с тем чтобы здесь же перемотать на другую, приятно преодолевая наивное сопротивление ее клейкости, отправился в директорский кабинет. С такой непроизвольной моталкой рук перед собой меня

и застал голос секретарей (дом тишины и внезапных окриков):

– К директору… по какому вопросу?

– По вопросу найма.

– Нам электрики не нужны…

– Я не электрик, я – артист…

– Да?! А артисты тем более… и вообще директора нет.

Бросило в жар и на секунду стало тесно, как только что на солнечной стороне. Я ждал, ждал эту фразу и вместе с тем глупо надеялся, что хоть здесь-то она не прозвучит. Нелепо предполагать, что секретари всех театров созвонились между собой: «Мы должны быть едины, отвечая ему, иначе нам конец, – директора нет, и все тут – он уехал».

Поэтому я не удивился, что меня не принимают, его же нет. Что тут удивляться? Вот если бы вдруг сказали: «Он у себя и ждет вас», вот тут, я думаю, какая-нибудь кондрашка меня могла бы хватить совершенно запросто.

У вас директора нет – понятно, а у меня удивления нет. Это уж вам понимать, но мы квиты.

Я поблагодарил и ушел, ясно слыша голоса из полуоткрытой двери кабинета директора.

Я ушел. Надо было что-то менять, и менять основательно, конструктивно, но что именно и как – придумать не мог. Кара, должно быть, действовала, а может быть, многомесячное хождение по театрам Москвы сказалось, голова была вялой, инертной… В общем, чувствовал я себя, прямо скажем, не шибко. А здесь еще моя дурацкая взбалмошность. Вдруг ни с того ни с сего вздумал худеть. Мода, видите ли. Но здесь я не совсем искренен, признаюсь. Было иначе. Кто-то сказал, не помню: «Познай себя – и обретешь мир». Хоть и не совсем представлял себе, что я буду делать и как подобраться к такой громоздкой недвижимости, как вселенная, все равно это показалось мне заманчивым: мало ли – обретешь мир. И я решил начать с покоя в себе, а через это приручать уже и все остальное, то есть всю нашу планету. Я пришел к этой мысли исподволь. Забот особенно никаких, времени свободного – пруд пруди. Истина через познание самого себя, через самоограничение завладела мной целиком, просто поглотила меня. Уж очень хотелось ощутить: я и вселенная, и больше никого, ни одного директора. Начал постепенно урезать себя в пище. Не то чтобы на научной основе – институт голода там, диета, и за месяц пузо втягивается, глаза проваливаются и начинаешь ходить вприпрыжку с лихорадочным блеском в глазу, удивляя всех своей повышенной общительностью, желанием рассказывать всем и все, как славно и легко себя чувствуешь. Пугая ежеминутной готовностью

продемонстрировать свой ввалившийся живот, предварительно и незаметно, разумеется, еще больше втянув его в себя. Нет, у меня тогда была своя метода. Никаким врачам я не показываюсь – в деле похудания они ни к чему. Я просто начинаю мало есть. Способ доморощенный и примитивный до смешного, но эффект поразительный. Вот пить в это время нужно больше, и хорошо бы дистиллированную воду, освобожденную от всяческих солей и кислот. Нет ее – на каждом углу торгуют газированной водой. Нет – тоже не следует отчаиваться. В некоторых цоколях домов есть краны для поливки улиц в летнее время: открываешь этот кран и пьешь сколько твоей душеньке угодно – вода чистая. Ну, правда, это сопряжено с некоторым неудобством. Желательно, чтоб рядом не случился дворник… А я не знал… пью себе преспокойно, и вдруг меня за руку цап – и давай кричать истерически, словно я пил не воду, а соляную кислоту. Я попытался было объясниться – так дворник тот еще и свистеть отрывисто стал, призывая на помощь. Смешно просто. Обо мне мать никогда так не беспокоилась. У нас в Сибири просто принято пить сырую воду во время обеда. Бывало, ешь-ешь, захотел пить – зачерпнешь ковшиком из бочки, и прекрасно. Ни крика, ни шума, а здесь – крепко так держит, видно, боится, что упаду, – заботливый такой. Ничего бы этого не произошло, будь этот кран вмонтирован несколько повыше, а он был низко, у самого асфальта, и мне пришлось довольно долго быть на коленях. Положение не из завидных, неудобное положение. И стоило мне подняться, как кругом все поплыло, – и лихорадочная слабость с мелкой дрожью внутри. Видно, с диетой дал лишку. В общем, одно на другое. Здесь бы и подышать свободно, поглубже, самое время, а он со своим участием. Ни дать ни взять – медвежья услуга, а сказать неудобно, человек, видно, от чистого сердца – боишься обидеть. А он, продолжая свистеть, все сильнее сжимал мою руку выше локтя, даже больно стало. Я, помню, сказал ему:

– Знаете, больно…

И вот здесь он покорил меня совершенно. Он вдруг улыбнулся легко, просто. И еще сильнее своей клешней сжал мою руку. Мне тогда и невдомек было, что этим болевым ощущением он стремился отвлечь мой организм от тошноты и головокружения.

А выглядел, между прочим, тот дворник совершенно обычно, никогда б не заподозрил в нем ни глубины той, ни гуманности, ни ума. Есть такие обманчивые лица. И что самое поразительное, что делал он все это ну без всякой показухи, сантимента. И вообще москвичи это умеют, надо отдать им должное – никакой аффектации. Все просто. Молодцы.

Придя однажды опять в Театр-студию киноактера, я оказался в гуще популярных и просто знакомых по кино лиц. Такого скопища «звезд» я не видывал никогда раньше и, потерявшись несколько, тем не менее жадно вслушивался в сигналы этой удивительной Галактики. В общем-то это было нечестно, бессовестно – я подслушивал, но узнать тайны творчества, их жизненные устремления, приведшие к возможности так полно и явно выявлять себя, – упустить этот, может быть, единственный случай я не мог. Поминутно удаляя испарину со лба, я беспрепятственно переходил от одной «галактики» к другой. Здесь говорят о каких-то катерах, там рассказывают о забавных, острых ситуациях, просто смешно и весело острят; в общем, вели они себя, как обычные пришедшие на профсоюзное собрание люди, но… лишь с той простотой и полной раскрепощенностью, которую могут позволить себе лишь избранные – баловни судьбы. Они просто источали уют, удобство и взаимопонимание. Для них, казалось, не существовало невозможного, напротив – все легко и безбольно. Секретарь директора, которую я всегда видел с лицом замкнутым, как томагавк (и другой ее даже представить себе не мог), здесь улыбалась приветливо и мило, была общительна и стала даже привлекательной. А когда кто-то из знаменитостей бесцеремонно шлепнул ее по… ну, по этому… в общем, пошутил с ней довольно грубо и она не обиделась, не оскорбилась, а лишь кокетливо вскрикнула: «Ох вы, препротивный шалунишка этакий!» – я вмиг понял, что веду себя совершенно неверно. Не надо ничего из себя изображать – ни воспитания, ни повышенной вежливости, тем более что ничего этого во мне, в общем-то, нет и никогда раньше не было, – а нужно быть только самим собой, и больше ничего. Захочется шлепнуть – давай, шлепай. Это будет только мило и симпатично. И в тот самый момент, когда я воображал, что ухватил наконец нить, столь необходимую мне сейчас, их всех вдруг попросили в репетиционное помещение… «Второй акт с выхода гостей и до конца!» – прокричала женщина, распахивая двери. Вот те на. Оказывается, все они пришли на репетицию?! А никто из них ни словом не обмолвился ни о ролях, ни о каких-то там творческих соображениях, вроде тех и не существовало. Нет, как я ни вслушивался, как тихо и осторожно ни переходил бы я от одних к другим, из меня, конечно, никакой шпион никогда не получится. Смотреть во все глаза и не увидеть главного – такое надо уметь. Расстроенный, я не заметил, как вместе с ними подошел к тем дверям, но странно – казалось, они тоже были чем-то вроде расстроены, во всяком случае большинство из них. А некоторые актеры совсем сникли и нехотя, не спеша входили в двери. Общая перемена в их настрое была

разительной, и ее-то не заметить было просто невозможно… И я вдруг все понял: ай-яй-яй-яй… вот это да-а. Это в их уже завоеванном положении? Невероятно!

У нас, у актеров, существуют всякого рода поверья, и поверий этих, тайн – превеликое множество. У каждого актера они свои, так сказать – индивидуальные. Призваны же они для одного – помогать нам, оберегать нас от провала. Но есть и расхожие общие, и одна из таких общих тайн кроется в простой с виду фразе: «Роль слезу любит». О, значит это многое: не болтай о роли, а приготовь ее как следует, не жалея себя, как если бы роль эта была единственная и последняя возможность разговора о необходимом, о жизни. И – молчи. Молчи. Если уж невтерпеж и тебя распирает от желания поделиться, как это у тебя все здорово, талантливо получается, то – плачь, хнычь, но не смей похваляться и предвосхищать то, чем ты собираешься завоевывать и поражать зрителя, иначе – провал. Молчи, и только таким жестоким самоограничением сможешь уберечь грядущий успех…

«Звезды» уходили за дверь погасшими, молчаливо – я был поражен. Это был ритуал перед началом работы, требовавшей жертв, дани от своих жрецов. Пораженный, я уставился в дерматиновую пухлость двери, ревностно оградившую их от меня.

Войти вместе с ними я не смел, но побыть хоть где-то рядом было до взволнованности приятно и даже немножечко гордо – вроде я тоже из их среды и имею отношение к их судьбам, к их всегда праздничной, полной поэтической прелести, загадок работе и жизни.

Что происходило на репетиции, к каким пластам глубин человеческих добирались они там?

В стороне от той заветной двери у стены сиротливо стояла яркая двустворчатая заставка от какой-то декорации. Подумалось: а есть что-то общее со мной – тебя выставили, меня не впустили, и вот мы оба здесь: ты у стенки, я – тоже. Сперва неосознанно, спотыкаясь, я то и дело задерживался взглядом на ее намалеванной праздничной мозаике. Заставка служила, должно быть, входом во что-то – на лицевой ее створке был вырезан дверной проем, в который откровенно, не стесняясь своей наготы, глядела мешковина тыльной стороны другой смежной створки. Вокруг этого дверного проема надменно-иронической рукой бойкого художника была выведена вся прелесть летней сказки: какие-то фантастической величины и формы цветы, травки, лепестки, цветастые стрекозы и бабочки парили над праздничной свежестью цветов. И все это было сдобрено обилием щедрого солнца… А по еле угадываемой тропинке вглубь уходила девушка в светлом платье. Уходила быстро, едва касаясь ногами травы. В

ее порыве уйти угадывалось, однако, желание оглянуться и, может быть, даже позвать с собой вдаль, и она уже повернула голову и приоткрыла рот… но ветка дерева досадно перекрывала собой ее глаза. Женщина вроде дразнила: «Ну что же ты, входи… ты так настойчив, – вот дверь, видишь?..» – и, не сказав самого важного, неудержимо удалялась, готовая в каждое последующее мгновение произнести окончательное «идем».

Передо мной две двери: настоящая, добротно утянутая, как молодой лейтенант, портупеей, крепкими, крест-накрест, узкими полосками дерматина, – не впустившая меня, и другая, впрочем, даже не дверь, а вырез, обнаживший серый холст мешковины, за которой была стена – тупик, но до чего огромный, щедрый мир сулил мне этот лишь кистью намалеванный вход в жизнь, он был открыт, звал и был прекрасен. Чудо.

Москва вместе с отверженностью подарила мне и друзей, которые верили в меня, несмотря на мое затянувшееся созревание. Проводив меня сегодня до самого здания театра, она сказала: «Все будет хорошо, вот увидишь». И сейчас, стоя перед этими дверьми, я вслух засмеялся – она уже говорила это месяцем раньше, но хорошего все не было.

Жила она в переулке «Посланников», у серой громады Елоховского собора. Время от времени я бывал у них, и всякий раз перед моим уходом она вместе с матерью приглашали заходить снова, не забывать, говоря, что дом всегда открыт и мне будут рады. Я каждый раз обещал появиться вновь тогда, когда уже чего-нибудь добьюсь, изменю этот нескладный, отбрасывающий меня в сторону ход событий. Но время шло, а перемен не было, и я вновь появлялся у них, снедаемый стыдом и тоской в желудке. И вот, размышляя, как-то я с неотвратимой ясностью увидел вдруг, что за все это долгое время я не только ничего не изменил к лучшему, но еще больше, глубже увяз в этом глухом непонимании, и что выхода, пожалуй, и нет. Эта простая мысль меня поразила. Может быть, я впервые увидел себя со стороны – и потом долго сидел терзаемый стыдом: как мог я обременять собой, своими неудачами добрых, милых людей, и я решил больше никогда не приходить к ним.

Да еще острым укором припомнился мой первый приезд в Москву, когда я ввалился к одним норильчанам, которых едва знал, но которые совсем не знали меня, если не считать того, что раза два видели меня на сцене Норильского театра. Три дня я пробыл у них и понял, что если тебе дают адрес и мило говорят, что-де, мол, будешь в Москве – заходи, то это еще совсем не значит, что ты так же мило можешь заходить. Тебя пригласили, с

тобой были любезны, ну и будет. Тогда я ничего этого не понимал и пожаловал к ним с вещами. И впечатление, которое я на них произвел тогда, было куда более волнующим, я думаю, чем то, которое они испытывали, ранее глядя на меня из зрительного зала. Должно быть, творчески я уже здорово окреп и мог запросто потрясать обычным своим появлением в дверях.

Я уже полмесяца не был у них, не видел ее, и теперь она пришла навестить меня у наших общих друзей Марицы и Валентина Бегтиных-Ганцовских. Очень ясно, до четкости, вспомнилось выражение ее лица. Сама она, я думаю, не пришла бы, но по телефону Марица ей сказала, что я попал в беду… приходи, мол, проведай. «Да что случилось?» – мягко домогалась она. Марица, жена Валентина, приютившая меня в эти дни, хохоча в трубку, сказала:

– Ничего особенного, но это лучше видеть!

– Хорошо, я приеду.

Марица осторожно подносила трубку телефона к моему опухшему, ставшему разноцветным, бесформенному лицу – и я все слышал…

Накануне вечером мы с Валентином ехали в троллейбусе. Зная, что у меня был нелегкий день, он спросил меня, почему не сажусь. Я стоял около какого-то дремлющего парня в очках, у окна рядом с ним место было свободным. Нам скоро нужно было выходить, и я, совсем не желая обидеть или, боже упаси, оскорбить этого молодого человека, ответил Валентину, но, наверное, несколько громче, чем следовало: «Вот сейчас попрошу этого очкарика подвинуться и сяду. Подвиньтесь, пожалуйста. Пожалуйста», – повторил я, но молодой человек моих излияний вежливости не услышал или не оценил, зато слово «очкарик» в него запало, должно быть, глубоко. И, воодушевившись, он кликнул своих товарищей – их оказалось в троллейбусе человек шесть, они избили меня. Причем били долго, дружно, не стесняясь, все – в очках и без очков.

И вот теперь она пришла. Через оплывшие щелки век я немного видел, но ей, очевидно, было непонятно – вижу я или держу лишь лицо кверху, чтоб не свалились примочки. Она молчала и, постояв, как в почетном карауле перед скончавшимся, ушла в прихожую, откуда донеслось: «Марица, руки помыть можно?» – «Конечно, ну, как ты его нашла?» Ответа не было. «Да-а, славно поработали ребята», – выдохнула она, вернувшись, и наконец улыбнулась.

– Ничего, мы молодцом, глаза и зубы целы и прекрасно, – проговорила Марица бодрым тоном врача, скрытно знающего, что с этим пациентом все кончено. Не сообразив, что возражает

Марице, она осторожно сказала: «Да нет – все будет хорошо… все будет…» Наивность этой домашней самодеятельности рассмешила меня, но вместо смеха вырвались какие-то клочья рваных всхлипываний. Она отпрянула, улыбка сошла с лица, и, странно кривя губы, она медленно выговорила: «Ты опустил бы голову, тебе неудобно».

Едва не физически я ощутил, что все страшное позади, что есть, есть она – человечность, есть любовь и ее так много в этом худеньком человеке, что она буквально заливает, топит меня, она пришла: столь долго отыскиваемое мною человеческое внимание, тепло клокотало в ней болью, тревогой за меня. Хотелось спросить и сказать, но, прохрипев, я замолк и, ничего не видя, стал неотрывно глядеть в пол. На все обращения ко мне я упрямо молчал, стараясь как можно больше прикрыть лицо руками. Если даже я пытался бы, то не смог бы сказать ни слова – я выстоял, нашел, нашел, может быть ценой слишком непростой, долгой и жестокой, но нашел, и теперь ничего не страшно. Она пришла.

Взволнованный ее сегодняшней мягкой решимостью и знакомством с людьми, скрывшимися за черной дверью, я стоял и улыбался. Было хорошо.

Москва-то и вправду добрая, уютная, и никакой я не чужой в ней. Никто, оказывается, не замечает моего зимнего лыжного костюма. Неужто я и впрямь мог злиться на белоснежную легкость рубашек москвичей. Да-а-а, значит уж действительно было нелегко. Дошел, как говорится, до ручки. Все хорошо. Я решил. Мир – стал иным. Свежая нежность утренней дымки. Выходя из тени дома, окунаешься в плотность лучей июльского солнца и хочется лечь на них. Останавливаюсь у нагретой этим чудным утром стены, задрав голову, подставляю солнцу лицо с закрытыми глазами. Мыслей?.. Никаких! И сожалений нет. Скорее ощущаю, чем слышу, мчащуюся рядом, ставшую вдруг тихой и своей Москву.

Как хорошо, до удивления хорошо просто жить, дышать, видеть в прикрытых веках собственных глаз спокойно-розовый отсвет с падающей и вновь вверх подпрыгивающей вязью кружков и паутинок. Как знать, была бы эта радость жизни сейчас, если бы пройденное не набросало на глаза этой плавающей «вуали», стремящейся оградить окружающее от моего не совсем еще осознанного «я», но ни это, ни что другое не могло огорчить меня – я был растворен в робкой радости утра, в солнце, в воздухе, в теплой стене за моей спиной – во всем. Я был страшно малой, но все же составной частью этого огромного, напоенного солнцем мира, и со мной не считаться нельзя – я есть, я буду, потому что пришла она.

В Московском театре имени Ленинского комсомола, где она работала, шел какой-то спектакль. Дверь из ложи отворилась. Я тогда впервые увидел ее. Мгновение задержавшись на верхней ступени – двинулась вниз.

Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных тяжелых волос. Шла не торопясь, как если бы сходила с долгой-долгой лестницы, а там всего-то было три ступеньки вниз. Она сошла с них, поравнялась со мной и молча, спокойно глядела на меня. Взгляд ее ничего не выспрашивал, да, пожалуй, и не говорил… но вся она, особенно когда спускалась, да и сейчас, стоя прямо и спокойно передо мной, вроде говорила: «Я пришла!»

– Меня зовут Иннокентий, а вас?..

Должно быть, когда так долго идешь, а он, вместо того чтобы думать о будущем, занят всякой мишурой, вроде поисков самого себя, стоит ли и говорить-то с ним.

И она продолжала молчать.

– Вас звать Суламифь, это так? Я не ошибся?

– Да, это именно так, успокойтесь, вы не ошиблись. Что вы все играете, устроили театр из жизни – смотрите, это мстит.

Ну вот поди ж – узнай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший, однако, уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни – меня самого…

С недавнего времени я стал желанным и едва ли не обязательным объектом работы репортеров, художников, фотографов, фотокорреспондентов, фотографов-любителей, просто любителей автографов и не совсем простых любителей.

Каюсь, некоторое время я наивно предполагал, что все это происходило с моего доброго согласия и порой даже желания, но вскоре обнаружилось, что это был самообман, да, тот благостный самообман, которому не могут быть ведомы его последствия.

И ростки этого моего заблуждения дали вскоре обильные всходы, вызрев в совершенно удивительные плоды, при одном взгляде на которые может швырнуть в состояние легкого нокаута.

– Эта рубаха не пойдет – я снимаю цвет… есть что-нибудь яркое, броское?

– Яркое, броское… такого, пожалуй, не найду…

– Позволь, позволь, а это что?..

– Нет, это кофта жены…

– Прекрасно, это то, что надо…

– Да, но…

– Одевайся… О, я уже вижу, это будет прекрасное пятно…

– Пятно-то будет…

– Минуту… разговорчики в строю… грим есть?

– Какой грим? Обычный актерский?

– А что, существует еще и режиссерский?

– Э… э… э… а…

– Минуту, всякие ля-ля потом, за рюмкой коньяку! Стань сюда, вот на этот сочный колер, лицо к звездам, к звездам… космос… летишь, в звезды врезываясь, как там, у Володи… ни те ресторанов, ни пивной… скучища – скулы ломит. Шире глаз… вот… нет, не вижу рта… Грима, говоришь, нет, давай губную помаду жены!

…Неделю живу, поджариваемый недобрыми предчувствиями. И вот он, черный понедельник. На ядовитом фоне какой-то рыжий странный мужчина с накрашенными губами осатанело намеревается лбом прошибить потолок. На оборотной стороне этой фотокарточки с ужасом обнаруживаю свою фамилию. Значит, это все-таки я… Таким я еще никогда не был. Выходит, что человек действительно неисчерпаем. Он – многолик.

Или вот еще визит, который тоже не принес мне особой радости, хотя пришелец был иного масштаба и вкуса, это виделось сразу. Судя по тому, что и как говорил этот товарищ, – он был тонким, вдумчивым художником и недюжинным знатоком света, формы и ракурса. Когда у кого-нибудь так много всяческих талантов, гибкости и знаний, то одно количество всех этих чудес уже обескураживает и чувствуешь себя вроде в чем-то виноватым. Правда, я все время порывался спросить: а что же у вас, товарищ, основное? Но, обжегшись на предыдущих упражнениях в цвете и патетических разворотах, я должен был быть настороже в другом – и промолчал. Бог с ними, с талантами. Он же по-прежнему являл собой полное смирение, согласие и уют, даже добровольно ботинки снял, чтоб не натоптать в комнате, где я уже почему-то двигал шкаф. Он, между тем, скромно, без аффектации поведал, что редко кто может делать портреты. Что это трудоемкая операция, требующая не только передвижения мебели, но умения, времени и терпения. Я узнал также, что каждое лицо, оказывается, имеет свой стиль и абрис и если эти качества в лице не найдены и не выявлены – то будет не портрет, а очередное «тяп-ляп». Лицо же, нашедшее свой единственный стиль, обретает власть, легко источает ее обаяние. Не переставая открывать одну истину за другой он скромно попросил отцепить веточку вьюна от стены, чтобы перенести его в ту комнату, где будут происходить изыскания моего истинного лица. Обдав неприятным теплом стыда, пронеслась мысль: как мало я знаю, надо что-то делать со своим невежеством и, конечно, нужно больше читать. А то вот ведь человек – и ничего-то в нем сверхъестественного вроде и нет, а светится, искрится, излучает и к тому ж еще и двигает. Его

тихий голос упрямо расползался по всем уголкам нашего дома и немного давил на виски. И я поймал себя на том, что, как дятел, обалдело твердил: да, да, да. Дескать, все это я тоже знаю. А честно говоря – ну ни в зуб ногой. Я, может быть, и не догадался бы так вот «дадакать», но мне не однажды приходилось видеть, как люди, пытаясь скрыть свою необразованность, принимались так усердно, с проникновеннейшими лицами поддакивать, что это, должно быть, осело во мне дурным примером.

Значок ракурса и стиля был по-прежнему тих, спокоен и миролюбив, не выявляя никаких своих превосходств; он усадил меня перед собой, как врач – больного пациента, сказав:

– Ну что же, давайте посмотрим…

Не понимая, что мы должны были смотреть, и от неловкости, что ничегошеньки-то не знаю, я как можно шире открыл рот. Дескать, у вас знание, мастерство и творчество, ну а мне уж ничего другого не остается, как держать рот варежкой.

Он это не принял, вроде даже не заметил моей выходки, а стал серьезно изучать тайны моего лица, прищуром своих глаз оказываясь то у левого моего уха, то у правого. Найдя что-то, он вдруг застыл, молча, не шевелясь оценивая открытие. И наконец завершил этот процесс словом: «Ага!» Воспитанный по системе Станиславского, призывающей к чуткому восприятию жизни партнера, собеседника, я чуть было не выпалил: «Угу!» – но вовремя спохватился. Творческий процесс есть творческий процесс, и здесь уж лучше сидеть себе каждому со своим «угу» и помалкивать.

– Запомните это положение головы, юноша, – тихо сказал он, совсем, не смущаясь тем, что я был лет на пятнадцать старше его, – и смотрите сюда, еще, еще, еще. Взгляд глубже, пожалуйста. Ага! Та-а-а-ак, так, так, тактактактактактактактак, – уже сплошняком кудахтал он, напоминая курицу, собирающуюся снести яйцо.

Из другой комнаты вбежала жена, недоумевая, что здесь такое может происходить. Это его как-то немного поуспокоило.

– Вот так… – закончил он свои трели, – пожалуй, что-то появляется.

Я был убежден, что это «что-то» он обнаружил много раньше, а оказывается – только сейчас: всегда я ошибаюсь.

– Так! – сказал он вдруг отрывисто и окончательно. – Принесите, пожалуйста, стакан воды…

Думая, что он хочет пить, я предложил ему хлебного кваса.

– Нет, от кваса волосы слипнутся и не будет того величия в общем контуре.

– Какие контуры… где слипнутся?

– Дорогой мой, человек приходит в мир жалким полуфабрикатом, болванкой, из которой не многим удается прорезаться остроносым Буратино.

Незаметно я прикоснулся к своему носу – он был туп, как картошка.

– Человека надо делать, вырезать. Если позволите, я буду вашим папой Карло – несите, пожалуйста, воду.

Поразительное дело: ну болванка там, не болванка, это, очевидно, зависит от общей социальной установки, но побежал за водой я какой-то деревянной походкой и, помню, подумал: значит, еще не прорезался из полена.

Вскоре голова у меня была мокрая, и он выкладывал на ней разные завитушки и хвостики, которые, впрочем, совсем не поубавили моей болванистой задеревенелости. Скорее, напротив. О фотографиях этого творческого поиска говорить не стану – не надо, но долго, ожесточенно долго рассматривал снимки…

И вот этот своеобразный, многоликий народ – репортеры, их неуемное желание творить и вытворять со мной и из меня как бы явило собой негласный ответ фразе, некогда брошенной директором Московского театра-студии киноактера, которого я, в конце концов, дождался-таки.

Директор тот, оказывается, говорил короткими броскими фразами с неожиданными паузами, которые он расставлял так странно и по-своему, что определить, закончил ли он говорить вообще или это только перерыв в его мыслях и монологе, было далеко не просто. Директор говорил со мной на ходу. Начал он у двери своего кабинета, куда я, увидев его, подбежал, и закончил на лестнице – вот той самой удивительной фразой, заставившей меня многое переосмыслить в моей жизни.

– У нас театр… – здесь он сделал свою первую паузу, а мог бы и не делать, я и без того знал, что у них театр, а не конюшня. – Студия киноактера, понимаете, киноактера, – продолжил он, давя на «кино», и поднял при этом указательный палец вверх, да так, что исключил малейшую возможность пребывания кино в другом месте – оно должно было быть только где-то там, в высях. Я доверчиво задрал голову вверх в надежде увидеть, понять, каким это образом оно там оказалось, – зеленоватые разводы от сырости прохудившейся крыши, и никаких кино там не увидел.

Но директор продолжал так пронзительно смотреть, а один глаз его вдруг начал вроде приближаться ко мне!.. Невероятно… самостоятельно, едва ли не выкатываясь из глазницы. От неожиданности я взглядом онемело впился в это феноменальное, самодвигающееся око – не выплюхнулось бы на ступеньки

лестницы между нами. Палец по-прежнему застыло указывал вверх. Лицо директора не шевелилось, однако глаз, судорожно дернувшись в сторону, стал вбираться обратно, восвояси. Казалось, око уходит холодно, безразлично, ни разу не обернувшись. Так, я думаю, удалялась тень отца Гамлета прочь от своего рефлексирующего сына, по ходу бросая в бездну вечности: «Прощай, прощай и помни обо мне!»

Время остановилось – я обомлел. Только вспоминая этот его вид сейчас – меня и то бьет озноб, а тогда я просто стоял и смотрел, не смея звука молвить, не то что слова вымолвить.

Неделей позже, когда оторопь прошла, я вновь появился этаким зыбким силуэтом на его пути, но теперь уже в кабинет. Надо было как-то варьировать обстановку, чтоб не надоело одно и то же из месяца в месяц. Я решил! И вот в этом уж не варьировал. Вид, наверное, был у меня довольно жалкий, но и наглый одновременно. Второе, вероятно, у меня происходило со страху, по совместительству. Я немо, взглядом кричал:

– Ну что же там еще новенького в наших потолках… а?! Так же ль все течет, плывет и каплет, а?? – На этот раз я, должно быть, переострил, и оторопь с меня перебросилась на него. Так мы стояли и смотрели: я на него, он в меня. Да так долго и не шевелясь – мне стало казаться, что он вспоминает, где же это он мог видеть меня раньше, – столь пристально смотрел он. В нем, правда, угадывались и совершенно иные, но вполне определенные мысли.

Но я оставался на месте. И с какой это стати я должен был куда-то такое идти! Нет. Я решил. Это мое решение было окончательным. Он только напрасно тянул время. Разговор должен был наконец состояться, не могли же мы так вот молча стоять и пялить друг на друга глаза. (Мысли-то, слова-то какие хорошие – один друг выпялился влюбленно на другого друга.) Я утром даже первую фразу заготовил для начала разговора, которой намеревался расположить к себе директора, она, правда, невесть уж как умна, но ведь друг же, товарищ и брат! Фраза эта добрая и светлая, я остановился на ней только потому, что она каким-то странным образом напоминает наш прекрасный лозунг: «Мы за мир». Просто его я сказать не мог, потому что это и так понятно, иначе зачем бы это мы львиную долю всего бюджета страны убивали на гонку вооружения? Не согласны? Ну хорошо, скажи я: «Мы за мир». Ну и что? – это никак не развернуло бы наши отношения, поэтому я перевел эти добрые слова в личные. Вот эта фраза: «Я рад вас видеть, здравствуйте, вы сегодня так хорошо выглядите».

Но я никак не мог сообразить, удобно ли человеку, стоящему

столбом, говорить, что сегодня он выглядит много лучше, чем вчера. Значит, как же он выглядел двумя днями раньше? Я и представить даже не хочу. Вот это меня останавливало, и я молчал.

Тихо, доверительно, но уж слишком четко, он выговорил, отчего вынужден открыть мне глаза, почему он так долго не принимал, да никогда и не примет меня в Театр-студию киноактера. (Правда, через месяц я уже работал в этом театре, но это уже скучная деталь.)

В этот раз он удивил меня, говоря сплошняком, без своих пауз, на которые я надеялся, и мне с превеликим трудом удалось вставить лишь:

– Видите ли, я актер…

– Что вы все заладили: актер да актер, у нас кинопроизводство – понимаете? – И опять кино оказалось в высях. Наверное, между перстом и глазом существовала какая-то тайная связь – палец полз вверх, глаз выкатывало вперед. Я незаметно изготовил ладонями двойную пригоршню – ловить око.

– Ну а ваше лицо разве можно снимать?

Стоя с ковшичком рук и совершенно перестав что-либо соображать, я все же нашел в себе силу и основание выхамить фразу:

– А почему нет?

И вот он, апофеоз моих хождений и тревог. Я думаю, все верно. Верно, стоило ждать, терпеть, надеяться, чтобы услышать такое.

– Лицо у вас не то… не киногеничное, – здесь он сделал наконец свою паузу, – лицо.

Все, конец. Дальнейшее – молчание. Не надо утруждать себя и задавать вопросы: быть или не быть – все ясно. «Не киногеничное лицо». Я слышал этот технический термин и раньше, но никак не мог предположить, что именно ему суждено будет обрушить на меня всю современнейшую армаду советского кинематографа, с дотошными фотографами, художниками, операторами и гримерами, чтобы как-то бороться или хотя бы временно противостоять этому злу на моем лице, року, этой, честно говоря, совершенно мне ненужной и неизвестно откуда взявшейся некиногеничности.

Не думаю, чтобы он уж слишком долго стоял надо мной и втолковывал, какое у меня ненужное лицо; наверное, он вскоре ушел – я не видел. Хотелось пить, только пить… Странно: сейчас, должно быть, полдень, а сумерки. Вверх угадывались ступени лестницы, каждая ступенька затянута каким-то толстым войлочным материалом, прочно прижатым светло-желтой

полоской меди… Не просто, должно быть, пришлось потрудиться, чтобы долгую лестницу эту одеть… полоска медная, а винты в ней из обычного металла – стальные, вроде некрасиво, не сочетается.

Холод внезапный завлажневших рук… Нехорошо. Однако сколько воды в реках утекает в разные моря и водоемы, а они все не выходят из берегов – наоборот, даже мельчают. Какое уймище воды в Байкале, а Ниагарский водопад – тьма! И домик наш – флигель на пригорке… К воде спускаться нужно очень осторожно по крутой, неровной тропинке – оступишься и в крапиву: не смертельно, а больно – жуть как. И никакой там не водопад, а река Енисей и собор огромный, белый собор, в нем еще контору «Сибпушнины» сделали. Летом, после того как вода спадет, можно бегать по полянке в одной рубашке, и никто ничего тебе не скажет, а хочешь – в мелкой, мутной Каче пескарей лови…

Это откровение директора о моем лице меня прямо-таки подкосило – дня два я мучительно соображал, как же быть теперь? Но ответа не нашел. Видя мое раздумчивое состояние, она через друзей своих сделала возможной встречу и разговор с Иваном Александровичем Пырьевым, кинорежиссером и в то время директором «Мосфильма». Проводив меня до студии, она вдруг деловито, конкретно сказала:

– Будь прост, серьезен – это многое решит.

Раздосадованный, что она видит во мне какого-то фигляра и обращается как к недоразвитому, я спросил:

– Как ты думаешь, очень будет неудобно, если, заволновавшись, я вдруг забуду, как меня зовут?

– На неудачи не жалуйся, не прибедняйся и не скромничай – ты одаренный человек и нужен им, нужен много больше, чем они могут предположить пока.

– Так ему и сказать, что ли?

– Хватит игрищ, будь самим собой, наконец! – И, увидев выворачивающий из-за угла троллейбус, не простившись, не сказав ничего больше, она побежала к остановке.

В самых важных, ответственных моментах жизни человека – все от него бегут, и он остается один как перст, и не на кого ему положиться.

И поэтому я был поражен и чуть не вывалился из окна приемной студии, увидев, что она ждет, вышагивая у проходной «Мосфильма».

Серьезно, как врач, смотря на меня, время от времени записывая что-то, слушал меня Иван Александрович. Сейчас-то я понимаю – выкроить полчаса из управления сложным, эмоциональным организмом «Мосфильма», даже в конце рабочего

дня, мог только человек или умеющий думать о завтра, или безмерно добрый. Совершенно не зная его, но лишь ощущая в неторопливом, сухощавом человеке силу и масштаб, я, хоть и говорил все дельно и по существу, взмок весь, и когда Иван Александрович, дав мне письмо, предварительно запечатав его, протянул на прощание руку, я – даже страшно вспомнить – подал ему холодную, как лягушка, мокрую свою длань. Кошмар!

Что написано в письме? Мы вертели, крутили, стараясь прочесть его на просвет, смастерив для этого из настольной лампы подобие рентгеновского аппарата, строили различные предположения о содержании письма, и, чтобы, наконец, покончить с неизвестностью и домыслами, кто-то посоветовал распечатать письмо, осторожно прогладив его горячим утюгом… но эта «великая идея» была тут же отметена.

Так и не узнав, что там в письме, я отнес его в Театр-студию киноактера той самой, хорошо знакомой мне секретарше, сказав:

– Иван Александрович просил вот передать вашему директору…

– Какой Иван Александрович?..

– «Какой Иван Александрович»?!

И вдруг мне пришла шальная мысль воспользоваться ее перепуганно-наивным вопросом и посмотреть, как это может выглядеть:

– Как, вы не знаете, кто такой Иван Александрович, дядя Ваня?

– Дядя Ва… позвольте, вы что же… что, Иван Александрович Пырьев ваш…

– Да-да-да, вы правы, Иван Александрович Пырьев, наш именно он… и именно наш… – перебивал я, стараясь избавить ее от излишней конкретности толкования моей родословной, тем более что я и сам-то ее точно до этой минуты не знал.

Бедная женщина – мне было жаль ее, однако отступать было поздно, и скромно, как делал это раньше, еще не будучи племянником, сказал:

– Днями я зайду опять, до свидания. – Только издали демонически зыркнул в ее сторону.

Дня через четыре по телефону меня пригласили оформлять документы. Все вокруг оказались милыми, отзывчивыми людьми, полными внимания и чуткости. Но, правда, с меня взяли слово, что я никогда не только сниматься, но даже стремиться сниматься в кино не буду, а только работать на сцене. Памятуя о своем лице, я с легкостью согласился никуда не стремиться. И честно держу это слово до сих пор.

Свет

Детство – пора неосознанного богатства золотого запаса времени, пора игр, драк, сборищ и шалостей на пыльных улицах сибирского города, беззаботно-веселого катания с горы на санях или лыжах до испарины, до приятного утомления. Детство неразумное, когда азарт набить карманы, пазухи ранетками из соседнего сада много выше спокойной возможности иметь все то же самое из своего. Детство бездумное, в чем-то сложное, но почти во всем бездумное, может быть, этим прекрасное, но и страшное…

Сначала ласково будит мать: «Кешутка, вставай, блинов поешь, потом опять ляжешь!..»

Потом настойчиво воспитывает среда.

Затем властно призывает жизнь. Но это все будет еще не скоро, где-то там, далеко впереди.

А пока, просыпаясь, уносил парное ощущение блинов и вместе с недосмотренными снами шел на уютную, согретую утренним солнцем завалинку дома, у которой играли в бабки и пристенок; с огорода еще несло свежестью росы, и горластые сибирские петухи своими нагло-пронзительными криками упрямо напоминали, что день настал и жизнь продолжает катить по своему привычному руслу. Дядя Вася, уходя на работу, бросал:

– Ну чего сидишь, как старичок? Взял бы книгу – впереди жизнь!

Днем учился: писал в тетрадях, листал книги, неосознанно, должно быть, готовился к жизни, которая впереди. После школы бегал купаться в мутной, прогорклой воде небольшой речушки Качи, которая, разливаясь в весенние паводки, покрывала собой всю полянку на старом базаре Красноярска, и наш дом на косогоре каким-то чудом превращался в «хижину на берегу», в которой легко проклевывались первые ростки смутных надежд и познаний. Что-то читал, что-то видел, много слышал, хотел узнать. Одно уходило и забывалось, другое оседало, оставляя след.

И однажды вдруг был схвачен чем-то, о существовании чего и не подозревал, но оно существовало, оказывается, и до того дня, до меня. Наверное, то было в классе седьмом или восьмом, следовательно, в год 40-й или 41-й.

Кто-то из одноклассников дал мне, едва ли не по секрету, историю быстрой гибели Раскольникова и долгого-долгого его воскресения.

Полного, точного впечатления вызвать сейчас заново

невозможно, боюсь нафантазировать; вспоминаются же лишь обрывочные, смутные, холодные по безысходности и тоске ощущения, сходные разве что со зловещим сном, столь страшным, что даже уютный зов матери: «Кешутка, вставай, блинов поешь…» – не в силах был вырвать из оцепеняющего состояния горя, единственная возможность избавиться от которого – это сей же миг проснуться самому.

И, напротив… чувство раздирающего трепета радости в конце романа, когда в висках стучит и слезы в счастливом смятении не мешают проглатывать страницу за страницей и вновь возвращаться к ним, к тем страницам, где несчастный Раскольников обретает наконец истинный смысл бытия и валится на колени от нахлынувшего открытия, что он человек, человек и любит ее, Соню, и будет любить всегда. Зачем пересказывать?

«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг, она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье: она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута…

Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь…»

Наверное, некоторые страницы эти я перечитывал по многу-многу раз, потому как, вернувшись к роману в работе над фильмом «Преступление и наказание», я встретился с ними не только как с чем-то знакомым мне ранее, но едва ли не знал их наизусть. Чем был просто поражен. Но более был удивлен, что плакал точно так же, как когда-то в далеком детстве под высоким небом Сибири. И был совершенно раздавлен, когда Соня испугалась, помертвев от обнажившихся перед ней истинных человеческих чувств. Такого она не испытывала никогда раньше, и теперь только бы выстоять, выдержать эту непомерную ношу выстраданного счастья, о страшном желании которого даже в помыслах невозможно было позволить признаться самой себе. Федор Достоевский щедро одаряет тех, кого так долго водил дорогами испытаний ради их обновления, ради чувства человеческого достоинства, но много щедрее наделяет он читавших и читающих те строки.

…Та книжка «Преступление и наказание» была истрепанная, и, как припоминается, в этой ее ветхости-старости таилась вечная

жизнь этой книги. Своим детским воображением я не мог представить, что это все было сочинено когда-то человеком, похожим на нас, – представлялось, что все заключенное в ней существовало всегда, как воздух, настолько это не походило на знакомую мне уже в ту пору литературу, на хрестоматию; просто казалось, что был вызван к жизни человек, который уже готовое взял да и записал.

Я говорю о Достоевском не потому, что благодарное человечество периодически отмечает его юбилеи, а потому, что не могу не говорить, и знаю, что скажу это и через много лет, так же как просветленно станут плакать над теми же страницами наши дети и – убежден! – внуки. Ведь он был, есть и будет всегда. Время, жестокое время, призванное сокращать сроки жизни, здесь лишь помогает завоевывать поколение за поколением, отдавая дань всегда сущему набату человеческого в человеке.

* * *

Не знаю, как бы сложилась моя творческая жизнь и вообще моя жизнь, если б меня не столкнуло с наследием Достоевского.

Мое истинное познание Достоевского, его властное вторжение в мою взрослую жизнь началось с момента работы над образом князя Мышкина и продолжалось во всех последовавших за Мышкиным работах, сколь бы отличны и далеки они ни были по сути, драматургии, эпохе и социальным воззрениям.

Моего Гамлета во многих рецензиях называли *добрым Гамлетом – это, мне кажется, справедливо. Добро было лейтмотивом Гамлета, идущим через весь образ, а вместе с ним – и через весь фильм. Тогда как Гамлет взял лишь малую долю того, что составляет человеческую сущность Льва Николаевича Мышкина (правда, эти зерна упали на благодатную почву драматургии Шекспира).*

Именно в этой-то доброте многие видели новое, современное прочтение. Трудно предположить, каким был бы Гамлет в нашем фильме, если ему не предшествовал бы князь Мышкин (в моих работах, я имею в виду). Несомненно лишь одно – он мог быть каким угодно, но только не таким, каким он состоялся, то есть обогащенным влиянием Мышкина Достоевского.

Появление на свет наивного, чудаковатого честняги Деточкина было бы просто немыслимо без первозданной простоты, непосредственности, самородной мудрости Льва Николаевича.

Илья Куликов из «Девяти дней одного года» многими еще при чтении сценария был «обозван» скользким типом, не по-

настоящему мыслящим человеком, отрицательным персонажем. Я читал сценарий, допустим, в хорошем настроении или в пору больших надежд и упрочения настоящего, но подобная оценка Ильи Куликова вызывала у меня лично недоумение и сожаление по адресу тех «дальтоников», которые светлое путали с… более темными тонами. И эта моя экранная работа тоже была последствием соприкосновения с высоким по духу и чувству князем Мышкиным. И не мне об этом говорить, но едва ли не во всех отзывах о фильме звучало: Илья Куликов оказался одним из светлых и добрых, если не самым добрым персонажем картины. Быть может, у меня не получился в заданной степени теоретик-физик, но не увидеть человека, человека емкого, тонкого, не лишенного чувства дружбы, добра и любви, просто, по-моему, невозможно…

Сейчас некоторые склонны думать (и писать), что-де, мол, моя актерская принадлежность имеет совершенно конкретную направленность – к добру, к человечности. Мне не хотелось бы оспаривать это по причинам, человечески вполне понятным, – не буду же я рубить сук… Но если уж это и есть, то истоки такой направленности могли зародиться и зародились лишь у доброго и могучего родника, которым для меня всегда останется Федор Михайлович Достоевский.

Доказательством тому – случай, жизнь.

Театральный режиссер Г. Товстоногов, работая над инсценировкой романа «Идиот» в Большом драматическом театре имени Горького в Ленинграде, случайно посмотрел в то время фильм с моим участием. У него тогда был уже свой исполнитель на роль князя Мышкина. Как рассказывает сам Товстоногов, посмотрев фильм, он не мог отделаться от ощущения, что где-то видел этого актера. Но оттого, что никак не вспоминалось где, когда и что именно (да и не могло вспомниться – мы никогда в жизни не встречались с ним), назойливое перерастало в изрядно надоевшее, а уж это последнее – в противно-навязчивое. Что-то, от чего хотелось отделаться, отмахнуться, сбросить с плеча и, освободившись, решить нечто крайне важное для себя; и тогда многое, если не все, станет ясным, понятным, привычным, жизнь войдет в нормально-обыденную колею и мания уступит, наконец, место норме.

Немало времени прошло, и вот однажды на репетиции совсем иной постановки он вдруг воскликнул (очевидцы утверждают: заорал):

– Глаза!.. У него его глаза!

– У кого? Чьи глаза?

– У него глаза князя Мышкина!

– У кого глаза князя Мышкина?

– У него!

– У кого «у него»?

– У актера, как его… ну из этого, фу ты… ну из фильма… Иванова. Глаза!!! Его глаза. Вот прицепился, а? Два месяца не отпускал…

Присутствующим при этом было на что смотреть. Скучно не было, но и веселого-то тоже было немного. Главный-то режиссер заговариваться стал.

Попозже, через месяцы, я был приглашен на эту роль, и хотя глаза у меня оставались Мышкина, не менее полугода со мною было невыносимо трудно всем партнерам и режиссуре; едва ли не на протяжении всего репетиционного периода меня можно было снять с роли, и подобные пожелания настоятельно высказывались многими окружавшими меня в ту пору товарищами по работе, друзьями-актерами, да и сам я с превеликой радостью и благодарностью отказался бы от нее. Тогда это было бы равносильно освобождению. Обретению себя.

И лишь теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, какой бы то был страшный шаг и для меня, и для моих слишком уж мышкинских глаз. А ведь все сулило такую легкость, со всех сторон слышались «добрые» напутственные указания: «Вам ничего не надо играть, верьте своим глазам, глядите – и все пойдет». Другой (перебивая первого): «Ну, это просто написано для вас. И нечего вымучивать ни себя, ни нас». Что я мог ответить на это и на многое подобное другое?

Вспоминаю ту дрожь, которая охватывала меня, то первое соприкосновение с миром мысли и чувства Достоевского. «Да-да, конечно», – отвечал я вслух на внимание и заботу. Но вел я себя крайне нечестно, потому как в это время думал: «Позвольте, что же здесь такого, способного трясти и потрясать, открывать новый мир, и не только открывать, но и вовлекать в него – я же знаю себя, не мог же Достоевский прослеживать свои идеи через личность масштаба, подобного мне. Не случайно в первых редакциях романа он именовал своего героя «князь Христос», явно обобщая этим именем все светлое и самозабвенное в человеке ради окружающих его. И вот в этой сгустившейся творческой, совсем нелегкой репетиционной атмосфере непростых человеческих взаимоотношений Достоевский вел меня к выявлению всего того доброго, что дремало во мне, что нужно было еще только вызвать к жизни, пробудить. Потребовались работоспособность, которую невозможно выявить в словах, терпение и терпимость не только моей режиссуры, но и значительно в большей степени мои собственные, а главное, твердость (несмотря на опасно участившиеся делегации актеров со стенаньями и требованием

снять эту «киношную немощь» с роли) Георгия Александровича, чтобы, тем не менее, сообща мы могли сперва постичь, уверовать, а лишь затем преподать со сцены всю глубину человечности, доброты и масштаба личности Льва Николаевича.

Лед дал трещину и двинулся…

И я обрел тогда то, что теперь может показаться как само собой разумеющееся и едва ли не врожденное. Мой Мышкин стал входить в мир людей, откровенно и несколько бесцеремонно всматриваться тихо в их лица, даря взамен на эту кажущуюся бестактность тепло своего сердца и безраздельно всего самого себя. Вся первая половина спектакля, несмотря на некоторую затемненность сюжетного драматургического материала, была напоена трепещущей светлой надеждой, едва ли не уверенностью в прекрасном исходе начавшегося пути к людям, к лицам. И как эта надежда вместе с ее проводником постепенно рушится, вовлекая в обратный, гибельный путь всех тех, кто не поверил, не помог ее реализации и оставил «камни за пазухой», лишь соприкоснулся с ней. Сполохи той светлой уверенности то и дело озаряли значительную часть этого трагического похода к людям, но именно эти сполохи, освещающие тьму, говорили, что жертвы исполнены смысла и после себя оставляют надежду, обещают новых ее проводников.

Спектакль давно прошел, но и поныне слышу ту, около двухсот раз повторявшуюся, настороженно-взволнованную, на грани крика, тишину в зрительном зале, ту тишину, единственно способную увести весь зал вместе с героями в тот высокий мир простоты и искренности, доверчивости, населенный Достоевским таким удивительным существом и личностью, как Лев Николаевич Мышкин.

Мне довелось присутствовать при довольно некрасивом, если не сказать более остро, споре о Достоевском. Хотя суть спора, вызвавшая повышенные тона и затаенную раздраженность спорящих, была весьма и весьма конкретна – Достоевский и его труды, разговор был беспредметный. Спорящие, как показалось мне, были больше заняты выявлением своей классовой, социальной неприязни друг к другу, чем Достоевским и его местом в нашей жизни. Да и Достоевского-то та и другая сторона этого эмоционального дерби знала, думается, недостаточно для защиты и гордости им или для порицания и отрицания. Спор был глупым, неловким до стыда, потому как он был нечестным.

Она. Как можно проходить мимо того, что составляет нашу гордость, делать вид, что его нет, а если есть, то не надо, не наше, видите ли, не о том и не теми средствами!.. И это об истинно русском писателе, книги которого должны быть

настольными в каждом доме!

Он. Мрак, задворки, изнанка, где все нравственные уроды копошатся в грязи и вроде бы гордятся своим падением, – недурная рекомендация для повседневного чтения…

Она. Нет-нет увольте, я не могу позволить себе цинизм рекламировать то, что в рекламе не нуждается. Его читает и боготворит весь мир!

Он. И уволим, не беспокойтесь, все в свое время, а читают потому, что на этом самом Западе именно такими-то и хотят нас представить: видеть нас уродами, не способными постоять за себя, воспитать нового человека, построить свою жизнь, выстоять в борьбе.

Ее повышенная эмоциональность выглядела средством защитить нечто обладающее сомнительными достоинствами. Это в то время, когда творческое наследие Достоевского проверено временем, стало неотъемлемым достоянием мировой культуры, нашего национального самосознания, основой духовного мироздания одного из великих народов, который может себе позволить щедро делиться со всем человечеством своим всечеловеческим. «Ибо что такое сила духа русской народности, как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности?» – говорил Достоевский в речи о Пушкине, подтвердив это собственной судьбой.

…И совсем уже не хотелось выслушивать притянутую вульгарную социологию, за которой невозможно было не слышать лжегражданственности, замешенной на неумении отличить Достоевского от наносного – достоевщины. А она никоим образом не относится и не может относиться к писателю. Как ничего общего не имеет Антон Павлович со скучной и нудной чеховщиной, которая довольно долгое время заполняла театральные подмостки России. Может, с моей стороны тоже самонадеянно заявлять так, но опыт, трудный опыт обстоятельной работы над двумя романами Достоевского, право же, позволяет если не обобщить, то просто высказать, что уже есть: сила светлого начала в Достоевском столь непомерна, аккумулировала столь мощный заряд стремления к доброму, что это может ослепить и порой ослепляет не выдержавших этого яркого потока стремлений; нужна адаптация. На солнце легче смотреть через темные очки. Но, привыкнув, победив первый момент непривычного ослепления, узришь здоровое, доброе начало, борющееся с болью, болезненностью и мраком.

Может, то другая крайность, но мне представляется: сам Федор Достоевский, его труды призывают противостоять достоевщине.

Наше актерское самомнение поистине безгранично, и в этом мы уступаем, пожалуй, лишь отдельным сценаристам и, безусловно, едва ли не всегда, кинорежиссерам. Только здесь мы смущенно можем стоять в сторонке, наблюдая за ошеломляющими аттракционами-рецидивами препарирования великих: Шекспира, Толстого, Чехова. Просто диву даешься… Неужто последуют еще? Что греха таить, мы тоже очертя голову беремся порой за то, кое к чему и на расстояние не должны бы подходить, если б мы реально оценивали свои возможности.

Телефон из далекой Москвы донес усталый голос режиссера, друга:

– Приезжай, дорогой. Попытаемся осилить…

До меня доходили слухи, что он начал подбор исполнителей для «Преступления и наказания». Я не задумывался, не стар ли я для Раскольникова. Раз это не смущает режиссера – пожалуйста. Мыслями и сердцем уже давно готов для финальной сцены этого юного героя.

Слышимость была недурной, спутать я не мог; режиссер спросил:

– Кто тебе больше по душе?

– Ну как – кто?!

– Что ж ты мычишь там? Порфирий или Свидригайлов?

Я даже мычать-то был не в состоянии. Поделом тебе, старый лапоть.

…Казалось бы, по тем изведанным путям-дорогам, по которым мне привелось пройти в предыдущих работах, я должен был бы остановиться на Свидригайлове, коль скоро позволен выбор. Так ведь нет же, хотелось нового, неизведанного, едва ли посильного. Актерский эгоизм и самоуверенность не знают пределов.

И как ответ и предупреждение касательно моего выбора был случай: в комнате съемочной группы всюду по стенам были развешаны эскизы персонажей «Преступления и наказания». Тонко знающий и, главное, тонко чувствующий материал, художник по костюмам демонстрировал одежду персонажей, но не это привлекло мое внимание, а то, что каждый персонаж был изображен, написан в яви своего характера, с точным выделением особенностей психологии каждого, вплоть до самых эпизодических лиц. По понятным причинам я рыскал взглядом по стенам, отыскивая Порфирия Петровича. Там были все…

– А где же он?

– Ничего не получилось, как ни старалась. Будто студень, мокрое мыло, ускользает, невозможно уцепить, задержать.

Казалось, что может быть проще – ведь все написано,

написано столь ярко, до предметности… И только потом, когда начали репетировать, я понял всю опрометчивость своего выбора и тщетность представления в конкретности этого лица, его оплывающей изменчивости. Как ни бились мы вместе с режиссером Львом Кулиджановым, выискивая контрастные ритмы, которые так легко предлагал Достоевский в этом образе, увы, выявить их я не смог. И как мне представляется сейчас, они в своей неровности выявления и широте выброса доступны кому-то сверхъестественному. Дьявольские ритмы!

И мы исподволь, сами того не ощущая, уклонились преимущественно к логическому началу Порфирия. Оно в нем есть, безусловно, но не в той степени, в какой Достоевский прослеживает Человеческое в каждом персонаже – его особенности, его характер, его привычки, его мироощущение, его самобытность. Но в том-то и сложность образа Порфирия, что его самобытность – в переливчатости, это разоружило Раскольникова, тщательно подготовившегося к борьбе со следствием, но отнюдь не ожидавшего встретить в следователе такого человека, который говорит ему: «Ведь общего-то случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены и с которого они рассчитаны и в книжке записаны, вовсе не существует-с, потому самому, что всякое дело, всякое хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай-с…»

И не странно ли, что следователь, который призван профессиональностью, законом лишь изобличить, поймать, изолировать, тут старается натолкнуть на пути возрождения, раскаяния, то есть обращается к совести? Не поборник ли это светлого начала? Не того ли самого добиваются Соня и ее любовь к Раскольникову?

Достоевский преподал прекрасный урок: не профессиональная принадлежность, не повседневная функция важны в выявлении сути характера, но прежде всего, и только, душевная самобытность – человеческое в человеке.

…Как бы я ни формулировал влияние Достоевского на мои работы и как бы неумело я ни говорил о своем отношении к его творчеству, и влияние и поклонение мои есть, и пока они есть – я богат. Что ни произойдет потом, огромная полоса жизни, освещенная его героями, останется незыблемой, светлой полосой жизни, к которой постоянно будешь возвращаться памятью и сердцем, как возвращаются к самому дорогому, что у тебя было.

И я счастлив оттого, что не только не одинок, а просто разделяю общую любовь всего просветленного Достоевским

человечества.

Дни осени

1 октября 1973 года

Утро предпоследнего спектакля Малого театра «Царь Федор Иоаннович» в Ленинграде. Мой довольно просторный для одноместного номер в гостинице с окнами во двор то утопал в неожиданном тепле осеннего солнца, то погружался вдруг в неуютную серость утренних сумерек. Смена этой световой тональности была резкой и неприятной. Похоже, что светило за окном изо всех сил старалось привлечь к себе внимание назойливым подмигиванием. Приподнял занавесь на окне: солнце пронизывало мчащиеся над крышами огромные клочья тумана, в который ночью был укутан северный город.

Вставать не хотелось. Ощущение бремени вечернего спектакля странно уживалось с радостью, что их осталось только два – сегодня и послезавтра. Как худо, что незавершенную работу нужно подавать как готовую. А я только-только начал ощущать, куда нужно направить себя в этой махине. Ну, правда, это всего лишь одиннадцатый или двенадцатый спектакль, и если учесть, что по «Федору» не было ни одного прогона, то и эти оставшиеся спектакли в Ленинграде можно причислить к прогонам на зрителе.

Какое-то непонятное состояние: хорошо и пусто до тоски. Еще было немного времени оставаться в постели. О, опять стало темно, впору хоть свет зажигай… На задернутом светлом занавесе с подоконника пробивался красный цвет гвоздик, нежный дар ленинградцев. На тумбочке у кровати тоже цветы… Мои друзья упорно продолжают провожать меня после спектаклей до гостиницы. В общем-то, это было бы недурно, если б не усталость, да еще иногда к нашей дружной ватаге по ходу присоединяются «новенькие» и порой задают такие ненужные, глупые вопросы, что сразу же ловишь себя на мысли: нет, надо будет все же воспользоваться машиной, которая после каждого спектакля терпеливо ждет меня у подъезда театра… Красное размытое пятно на белом тюле. Красиво и страшно. Знаешь, что цветы… но все время почему-то думаешь, что напоминает кровь. Солнце опять проглянуло, вырисовав четкий красный силуэт гвоздик. Вот так-то лучше – это не вызовет ни тяжелых, ни дурных ассоциаций. Это гвоздики, цветы.

Вспомнились дети. Как они там? Филипп очень худой, плохо провел лето, не закалился, мало купался, много раз уезжал с дачи в город, надолго оставаясь там. Говорит, был у друзей. Что они там делали, чем были заняты – бог их знает. Надеюсь на лучшее.

Да что же это такое… общее, недурное настроение исподволь

упорно подтачивалось чем-то, от чего хотелось побыстрее уйти, не думать, не осознавать. Хотелось снова заснуть, чтобы предотвратить приход этой вползающей тоски, готовой вот-вот обернуться конкретным, разящим горем. Что такое? Даже задохнулся. Неужто оттого, что непривычно долго валяюсь в постели? Должен же когда-то и отдыхать. Перевернувшись со спины на бок, стараюсь отогнать ощущение из давно прошедшего детства. Было ли вообще оно, это самое детство? А может, это только лишь кажется? Нет, вроде было. И радостное, но с темными родимыми пятнами тоски. И вдруг все вспомнилось.

Дядя Вася, муж моей тетки Нади, подарил мне свой велосипед. Велосипед большой, хорошо смазанный и очень легкий на ходу, хотя и старый. Дядя Вася работал механиком на старом базаре в Красноярске, в церкви с поверженными крестами и с проросшими молодыми тополями на крыше. Он что-то варил автогеном, разбирал и смазывал какие-то моторы и, судя по тому, как был легок подаренный им велосипед, знал во всем этом толк. Всем был хорош новоявленный друг нашей улицы, кроме одного: он был велик, и приходилось пользоваться им, стоя на педалях, скособочившись и просунув одну ногу с доброй половиной торса под раму. О легкости управления этим великаном в ту давнюю пору детства сейчас, наверное, можно говорить, даже спорить, но тогда – тогда это была радость невероятная. Первое ощущение скорости, управления техническим аппаратом, поглощающим большие расстояния города, как казалось тогда. Предмет такой зависти всей детворы улицы, что и не выговорить. И пока я выстаивал очередь за хлебом, велосипед угнали. Радость ушла, ее убили. Детский организм как мог боролся с этим нахлынувшим горем.

Мне снились сны, полные ликующего счастья, снилось, что никогда не замышлялось это зло. И стоило лишь завернуть за угол, как я весь буквально тонул в отсветах и бликах, лучах и сияниях, исходящих от прислоненного к белой стене церкви моего старого друга, который каким-то удивительным образом превратился в хрустально-прозрачный, отливающий новизной и свежестью велосипед. Это было полное счастье.

За ним следовало пробуждение.

На меня действительно светило солнце, было утро, обещающее добрый светлый день… Но отчего так тоскливо, отчего хотелось опять закрыть глаза, уснуть?.. Да… Это… там, у белой каменной стены старой церкви, его уж никогда не будет больше. Никогда.

Гнетущее чувство потери, невосполнимости теперь, по прошествии более сорока лет, нахлынуло вдруг и плотно обволокло всего, как терпкой теплой ватой. Стало трудно

дышать. Поспешно вскочив, стоял, недоумевая, почему это все вдруг теперь. Спектакль? Федор? Ленинградцы, видевшие меня в мудром Достоевском… И отношение их к «Федору»? Может быть, это? Но я уже давно убедил себя не вламываться в открытую дверь. Полгода назад, во время одной репетиции, когда стало уже совсем ясно, что спектакль не получается, я сам сознавался в своей полной творческой немощи, пытаясь подобной хитростью заставить артистов, у которых, на мое разумение, уж совсем было худо, отказаться от своих ролей. Настаивал на горьком, но честном и высоком шаге – закрыть все это безобразие, списать за счет требовательности, творческого подхода к теме и тем самым сохранить доброе имя старому Малому театру. Спектакль не получился так, как того требует время, сегодняшний, выросший и высокообразованный зритель, перед которым мы, разумеется, всегда в долгу. Так будем же и впрямь верны этой обязанности быть достойными внимания такого зрителя и не станем довольствоваться показом жалких полумер и полумыслей.

Борис Иванович Равенских меньше всего ожидал такого откровенного выплеска. Для него был важен лишь процесс режиссирования, он настолько был увлечен им, что перестал замечать то, что понятно было непосвященному. Он переработал. Но, впрочем, так же, как переработал и я, и рассчитывать на сострадание и жалость ко мне моих зрителей я не только не хотел, но и не мог. Это было бы полным падением, провалом, позором. Я высказал все, что думаю об этой затее, о себе, о режиссуре, о товарищах в трагическом этом походе. Наступила тишина. Товарищи молчали, и это не было согласием, увы… Борис Иванович на некоторое время тоже онемел от неожиданности, но, впрочем, довольно быстро пришел в себя, а по лицу его было видно, что принято какое-то конкретное решение.

– Да, закроем, конечно, но закроем двадцать третьего, прогоним раз и закроем. Тогда уж совершенно будет видно, что не получилось. Без прогона нечем будет мотивировать.

Спектакль давно идет и в Киеве, и в Ленинграде… и каждый спектакль я все больше и больше убеждаюсь в своей правоте. Успокоенности, однако, это не принесло. Но то, что сегодня вдруг пришло и захватило всего, – совсем иное. Здесь не спектакль и не игра. Здесь жизнь взахлеб и смерть, как памятник в веках. Я вспомнил, я вспомнил все…

…Звонок с предложением был неожиданным, а само предложение невероятным – это не могло не быть шуткой, розыгрышем. Я это понял сразу. И разговаривал лишь с тем, что вскоре, наконец, последует признание самого автора этой развеселой выдумки или, может быть, по голосу удастся узнать

столь неумного остряка. Времени же свободного для подобных занятий не было, и, не скрывая досады, но пока еще все спокойно ответил:

– Ну, довольно валять дурака, выдумайте что-нибудь поумнее. Я хохочу, смеюсь, улыбаюсь. Все в порядке. Будем считать, что вы своего достигли, и довольно. Что вам надо и кто вы, в конце концов?

Полное молчание. Хоть трубку рукой собеседник не закрыл, никакого шепота с партнерами по этому глупому заговору. Ни смеха, ровное дыхание. Ничего не понимаю. И только через зависшую минуту тишины опять тот же с худо сделанным акцентом женский голос, с сожалением:

– Вы так быстро и много сказали, что я не поняла – можете вы лететь или нельзя.

– Могу, могу! И я могу, и вы можете, сейчас все всё могут. – И бросил трубку. Надоело.

Через мгновение звонок и тот голос, но только радостный:

– Извините, нас разбили. Как хорошо, что вы согласились, спасибо. Значит, я сообщаю, что вы будете прилетать. Это крайне важно. Нужно будет заранее говорить с департаментом в Сантьяго-де-Чили. А господин Славнов здесь, в Москве, уже понимает… знает. Пожалуйста, пишите мой телефон для связи обратно… Как я рада, что вы нашли согласие. Алло, вы слушаете? Алло!

– Да, да…

– Пишите: 4-49-02-61. Гарсиа.

– …Что, так можно и просить?

– Да, Гарсиа – это я. Делаю визы в посольстве… консул…

– Простите, синьора Гарсиа, а почему именно меня – здесь не могло быть никакой ошибки? У меня телефон плохо работал, и я не совсем расслышал… – начал было сочинять я, стараясь выкрутиться из нелепости, начиная и взаправду волноваться.

– Да? Ах так!.. Подождите, я сейчас, я повторю. Теперь слышно? – продолжал после зуммера «занято» тот же неутомимый женский голос. *– Отлично! Наш новый президент Альенде очень любит Шекспира. Здесь все очень просто. Фильм «Гамлет» широко известен в Чили. Он его смотрел. Его друг, некто Флер, сочувствующая Народному единству, демонстрировала долго этот ваш фильм. И он в частной беседе говорил ей, что вы прекрасный актер.*

«Прекрасный актер… Нет, вроде все правильно – речь обо мне», – сыронизировал я про себя.

– И теперь она очень просит приехать вас, говоря, что для Альенде будет очень большая радость, сюрприз.

Все это выглядело совсем неправдоподобным, но голос был серьезен, прост и совсем, видимо, не понимал ни моего сомнения, ни моего настроя обратить все это в уже кем-то ранее, как мне казалось, навязанную мне шутку. Прямо снег на голову… Несколько ошалело и довольно долго соображал – что же теперь делать, принимать это все как данность или… У меня был телефон Славнова Александра Александровича, ведавшего отделом внешних сношений в Госкомитете по кинематографии, и, обрадовавшись этому как исходу, я позвонил туда. Было занято.

Опять и опять набирал я номер комитета, но там кто-то сел на телефон и не собирался, как видно, уступать его кому-нибудь другому. Совершенно потеряв надежду дозвониться и загадав, что делаю это самый последний раз, я поднял трубку и без всяких звонков вдруг услышал вроде знакомый баритон:

– Иннокентий?

– Я!

– Ну, брат, ты и разговариваешь! Все утро звоню, и все занято. С кем это ты так? Это Виталий, из комитета.

– О, а я вам звоню.

– Кому?

– Секретарю Славнова.

– Так я отсюда и говорю с тобой… Фантастика… Слушай, мы получили из Чили запрос, сможешь ли ты прилететь на церемонию вступления Альенде на пост президента. Туда слетаются со всех концов земли. Из деятелей культуры они почему-то просят тебя. Нам бы очень хотелось, чтобы ты был там. Как у тебя со временем?

Вот те на! Ну и ну! А у Николая Васильевича Гоголя есть еще и такое: «…французский посланник, немецкий посланник и я».

Все оказалось значительно серьезнее, значимее, чем это представлялось полутора часами раньше. Выяснили сроки возможного моего свободного времени, для этого сдвинули и уплотнили мою занятость и стали ждать, когда, наконец, будет подтверждена точная дата торжественной церемонии вступления Сальвадора Альенде. Выяснилось, что и время остается свободным, и документы оформлены, и даже установлено, какой будет погода в это время в Сантьяго, и что, исходя из этого, надо брать с собой из вещей, и зарезервировали места на всем протяжении полета, и чуть ли не каждую неделю мы созванивались с милой синьорой Гарсиа, оказавшейся тонким, интеллигентным человеком, влюбленным в русскую классическую музыку. О Скрябине и Мусоргском она могла говорить и говорила много дольше, чем позволяло время занятого человека. Все было за то, чтобы быть там, в Чили. И только внезапное обострение болезни глаз не

позволило мне присутствовать при этом высоком акте воли народа Чили. Было грустно и оттого, что заболел и опять нужно будет травить себя лекарствами, и оттого, что неизвестно, когда в другой раз представится такая редкая возможность, да и представится ли вообще когда-нибудь. Жизнь катила своим путем. Много времени спустя я видел хронику с торжественно серьезным Альенде, опоясанным лентой президента Чили. Слышал его спокойный голос и был тихо рад, что есть такие люди на земле, есть народ такой, дерзающий и гордый.

Этим и могло бы закончиться все то неожиданное и непривычное в моей жизни, что так щедро, обнадеживающе пообещал тот утренний звонок из посольства Чили. Продолжение ну никак не ожидалось. Я работал и лечился. Много времени забирали быт, дом, друзья, росли дети, а с ними и заботы. А Чили совсем забылась.

И уже не знаю почему, но каким-то периферийным уголком памяти, а может быть сердца, удерживалось сожаление о несостоявшейся встрече с той пробудившейся незнакомой страной где-то там, на Американском континенте, должно быть, это еще и потому, что помимо радости, связанной с получением в Чили приза лучшего иностранного актера года (о чем мне сказала госпожа Гарсиа), во мне едва ли не впервые начало вдруг теплиться и крепнуть сознание не только необходимости моих работ, но их доброго влияния на окружающих. А это уже само по себе немало. Если быть судьей в споре скромности с актерским эгоизмом в самом себе (как тот, так и другой – не лучшие помощники актера), то я предпочту все же последнее, как ступень, основу для голода, азарта желания творить, искать, рисковать и пробовать.

Я уже давно заметил, что как только работа идет валом, косяком и нет, кажется, никаких возможностей для встреч, вояжей и представительствования, именно в это время почему-то зарубежные фирмы проката очень хотят видеть меня у себя на премьерах моих фильмов или устраивают Неделю советского фильма, где добрая половина фильмов – с моим участием. Именно в такой момент пик я и оказался в Чили после первой неудавшейся попытки.

В это время в Чили шли выборы в местные органы власти. Страна бурлила, была взволнована. Стены домов, заборы, трамваи, троллейбусы, витрины частных и государственных магазинов, даже асфальт пестрели надписями «Голосуйте за родину! Голосуйте за свободу! Голосуйте за кандидатов Народного единства!» Всюду висели портреты кандидатов различных направлений, партий. На одних портретах кандидаты были строги

и серьезны. Другие, словно их фотографировали врасплох, смотрели на вас испуганно. Третьи дарили улыбки. Были портреты, которые ничего не выражали. Они просто скучно висели, как бы говоря: мы здесь ни при чем. Я наблюдал, как группа уже немолодых людей с рулоном «своих» кандидатов заклеивала ими «противников». А через некоторое время того же примерно возраста люди, но из другой, по-видимому, партии широкой кистью черной краской накрест перечеркивали свежие портреты, а какому-то холеному лицу пририсовали огромные усы с редкой бородкой Дон-Кихота и вывели круглые глаза, похожие на оправу очков без стекол. И когда все это закончили, отойдя в сторону, любовались проделанным и хохотали от души.

В посольстве нас предупредили, чтобы мы не очень-то говорили по-русски, как, впрочем, и по-английски, и вообще держались бы осторожней и подальше, особняком, от люда, занятого предвыборной кампанией. Я испытывал неудобство односторонней связи – видеть, все слышать, хотеть и ничего не сметь: ни говорить, ни делать.

Предупреждение наших друзей не было необоснованным. Отнюдь. Всюду можно было увидеть шагающих по двое – по трое военных и полицейские патрули. Машины городской полиции с яркими мигалками на крышах медленно плыли по запруженным народом улицам. В них сидели мужчины, и по их лицам было видно, что заняты они были далеко не праздничным делом. По всем каналам телевидения было только одно: «Голосуйте, голосуйте, голосуйте!» Причем едва только заканчивалось эмоциональное выступление одного представителя, как эта же самая программа, из другой лишь студии, начинала передавать не менее эмоциональное выступление представителя противоборствующих сил, который начинал примерно так: «Вы только что видели и слышали, сколько пообещал вам синьор такой-то. Излишне говорить, что все это демагогия, ложь, неправда, это вы и сами поняли отлично, и я не стану на этом задерживаться. Я только хотел обратить ваше внимание на ту красивую обертку, ширму, за которой он прятал истинное лицо, интересы тех, которые его прислали говорить это. Я призываю вас голосовать за свободу, за право жить, говорить, за право оставаться людьми. Остались считаные часы. Никто не спасет Чили, кроме вас самих. Я предлагаю вам голосовать за вас, за ваших детей, за будущее нашей родины, за Чили!»

В общем, недостатка в высоких словах и выражениях не было.

После ночного перелета через Атлантику и трудного первого дня в незнакомой стране мы ехали по какой-то очень широкой улице Сантьяго и тихо разговаривали. Шли в общем потоке

машин. Было душно. День был на исходе. Было бездумно и хорошо за уютной предупредительной заботой сотрудника из нашего посольства и представителя Совэкспортфильма, прилетевшего вместе со мной, который работал здесь довольно долго двумя годами раньше. Из машины, идущей несколько впереди, в соседнем с нами левом ряду, время от времени выбрасывали листовки нежно-желтого цвета, и они неровным веером разлетались в разные стороны, пара из них на короткое время задержалась на переднем стекле нашей машины и, вспорхнув, затем исчезла где-то за нами.

– Сейчас мы узнаем, к чему они нас призывают, – сказал наш водитель, высунув из машины руку и стараясь на лету поймать порхающего в воздухе «агитатора».

Внезапный вой взревевшего мотора, истерический визг тормозов – и низкая спортивная машина справа от нас буквально ринулась наперерез той, мирно выбрасывающей свои прокламации. В одно мгновение встала впереди впритык, лишая ее возможности какого-либо маневра. Четыре молодых человека, находившихся в этой открытой машине, устроили буквально бумажный фейерверк из листовок. Казалось, этому не будет конца. Это было нашествие, извержение. Нужно было видеть лица этих четырех. Они мне не понравились.

Две машины, идущие одна за другой, выявляли два непримиримых, противоположных мира, готовых, казалось, ценой жизни отстаивать свои взгляды, а может быть, и саму жизнь. Это было непривычно до ощущения какого-то страха. И чтобы скрыть эту свою неловкость, я потихоньку, неуклюже что-то замурлыкал. Товарищ из посольства понял мое состояние и успокаивающе сказал:

– Это у них довольно часто можно наблюдать. Скачут один перед другим, как петухи, а потом чуть ли не вместе идут пить вино или тянуть кока-колу.

Машина выехала из короткого тоннеля, стало светло. Она вдруг замолчала. Это было редко с ней. А я, к своему глубокому удивлению, вдруг услышал, что пою – да, пою! В последнее время у меня довольно часто бывают подобные приступы хорошего настроения, и я так «подвываю» слегка. Но голоса нет никакого.

…Та сторона мостовой, по которой двигалась наша машина по улице Сантьяго, была более свободной, чем соседняя, где произошла стычка. Мы уехали, так и не узнав, чем же все кончилось, но сейчас-то я знаю, что там были враги. И теперь, когда уже трагедия разразилась и многих наших товарищей попросту нет в живых, я знаю, что это не прыгающие один перед другим петухи и не игра в политику, а борьба – борьба жестокая, без полумер, без компромиссов: они или мы, мы или они. В тех двух машинах это

понимали – там были враги. И мне совершенно ясно видится, чью сторону взяла стройная продавщица с застывшей ненавистью во взгляде на крупном мужеподобном лице. Меня буквально пронизало недобрым предчувствием, которое, увы, оказалось пророческим.

Моя жена, художник по профессии, – совершенно неистовый колорист по восприятию всего окружающего нас в жизни. Может быть, и на мне-то она остановилась, как на одной из красок, которой не хватало в ее цветовой палитре жизни. Но это меня не печалит вовсе, скорее, напротив: как хорошо быть чем-нибудь, а краской – замечательно, даже красиво, поэтично. Иной раз мне сдается, что когда я совершаю что-нибудь не совсем, скажем, значительное в работе (или сомнительного достоинства – так, очевидно, вернее будет), то, переживая вместе со мной эту неудачу, смотря на меня, она видит не меня, а сплошную краску стыда, принявшую мои форму и контур. Так же как цвет праздника и победы являю ей собой при удачном выступлении или всерьез сделанной роли (что в последнее время много реже, к сожалению, чем обратное). И здесь вроде бы должны начаться противоречия во всем том, о чем я говорю. Как же так, цвет красный – цвет стыда, и тот же красный цвет – он цвет победы. Противоречий нет, не будет. Потому как в том, так и в другом случае она расцвечивает меня в красный цвет, это правда, и умудряется находить в нем, однако, столько тонов, переходов, нюансов, переливов, оттенков и даже температурных различий (теплый, холодный), что нельзя не позавидовать уменью видеть в одном лишь красном цвете так много и так розно. Любит, очень любит красные тона моя жена. Она называет их ласково праздником душевным, радостью безмерной. Но, надо сознаться, в определении самих цветов, то есть каждого в отдельности, она не очень разнообразна, этот абзац, когда я стану читать ей эту статью, я выпущу, не надо злить домашних. Говорят, на красный цвет не только лишь быки бурно реагируют.

И вот этот домашний колорист просит привезти бусы аборигена, разумеется, если будет финансовая возможность. Бусы должны быть крупными и круглыми. Бывают, правда, и другие, но круглые лучше выявляют цвет. По блеску в ее глазах цвет этих бус должен был быть вроде красным, но для точности, для того чтобы потом не было бы никаких «ну что же ты, право, никогда ничего попросить нельзя», я решился уточнить:

– А какого цвета, красного, что ли?

– Естественно! – И опустила глаза, должно быть для того, чтобы ощутимее представить себе красоту этих красных бус.

Это была ее единственная просьба, и мне хотелось ее выполнить. В одном из частных, богатых, судя по витрине,

магазинов, проходя мимо, я усмотрел нечто подобное. Но цвет был иной – салатный. Я запомнил этот магазин и назавтра утром, еще до программы, уже был там.

– Были красного цвета, но сейчас, к сожалению, нет, – последовал любезный ответ смуглой продавщицы. – Попытайтесь узнать в основном нашем магазине – это филиал, а фирма – через две улицы, здесь недалеко.

Я без труда нашел магазин – уж лучше бы я его и не находил!

Высокая стройная испанка с крупными чертами лица столь же любезно выразила сожаление: красных бус нет, есть желтого цвета, еще какие-то цвета…

– Да, это действительно жалко, – видя, что меня понимают, упражнялся я в английском языке.

И вдруг, как показалось мне, она насторожилась, секунду изучала меня и спросила с той степенью интереса, которую я должен был бы разгадать здесь же, стоя перед ней. Но такой открытой враждебности я никак не мог предполагать в только что любезном человеке. Я ответил искренностью и правдой, хотя, разумеется, должен был вспомнить предупреждения наших товарищей из посольства и «затаиться», как говорит наша дочь Машка, и уж, во всяком случае, уйти от разговора:

– Простите, откуда синьор?

– Из Советского Союза, – ответил я скромно и просто.

Ее массивный подбородок сделался еще большим, от красивых глаз не осталось ничего, кроме цвета, но их застлала пелена, они враждебно-пусто смотрели на меня из глубины. Так мог смотреть мертвец на своего убийцу. Она не сделала никаких движений, но именно эта неподвижность выдавала напряжение и силу непримиримости ее вражды и ненависти. Я еще не совсем понимал, что же, собственно, происходит, лишь недоумевал, видя столь разящую перемену в человеке. Какой-то страшный смысл таился в ее ответе, да она и не старалась его скрыть, и если не говорила впрямую, то только потому, что считала, должно быть, достаточным взгляда, холода тона:

– Скоро будет много красного, и бусы будут… Обязательно будут бусы, их будет много, обещаю вам. Тогда приходите, и вам мы дадим много красных бус.

– А когда, простите? – извинялся я, все еще не понимая, чем же огорчил ее.

– Скоро. – Улыбка пробежала по ее большому лицу.

– Как скоро?

Она не ответила. Мне могло показаться, что она превратилась в соляной столб, в манекен из Музея восковых фигур мадам Тюссо, что в Лондоне, если б ее не позвал другой покупатель

и она, не оставляя ни тени того, что только что было ее столбняком, отвечала, мило улыбаясь покупателю, ни разу не взглянув в мою сторону, словно она не только никогда не говорила со мной, но и никогда меня не существовало в природе вообще! Было страшно. Не помню точно, не хочется выдумывать, но вроде, уходя, я пятился, оставаясь лицом к ней. Ощущение не из приятных. Вспоминаю, когда на фронте попал в полное окружение, тошнило немного и совсем не хотелось есть. Вот что-то подобное пережил и тут, во всяком случае, скорее хотелось уйти…

Ничего никому не сказав, весь день возвращался мыслью к тому окаменевшему бронзовому лицу. Страшный, зловещий смысл ее слов постепенно зрел и становился столь очевидным, что я не мог спать и позвонил своему товарищу, с которым вместе прилетел в Чили. Был поздний час, и он, очевидно, не очень понял суть. «Да-да, да, да-да. Знаешь что, давай все завтра. Встретимся и решим тогда. Наверное, показалось».

Назавтра, связываясь с посольством, я случайно напал на наших журналистов, аккредитованных в Сантьяго. Для меня уже не было никаких сомнений – должно произойти страшное, непоправимое, взгляд и ответ той женщины открыто кричали об этом. Журналисты были настроены трезво и поэтому не нашли в моем подозрении чего-то необычного и нового.

– Да, эта мелкая буржуазия, если только затронут их интересы, устроит резню, не остановится ни перед чем. Для них холодильники, дверные ручки, ковры и ванны дороже всех социальных преобразований. Будут резать.

– Может быть, сказать об этом послу?

После того как они отсмеялись, а смеялись они и долго и основательно, один из них «подбодрил» меня, сказав:

– Он встречается с этим чуть ли не каждый день, а может быть, даже еще и с худшим.

Сложная, непростая жизнь Чили продолжалась. Наша программа шла своим чередом. Выборы в Чили кончились. И стало много спокойнее. Мы – Ани, милая девушка-испанка, когда-то учившаяся в нашем ГИТИСе, добровольно предложившая свои услуги переводчицы; синьора Флер, президент фирмы, прокатывавшей наши фильмы, и я – поехали через всю страну, пересекая ее, правда, лишь поперек. Чили очень длинная страна, словно кто-то долго тянул и вытянул ее по побережью Тихого океана, но очень узко вытянул, так что в глубь материка она не так уж и обширна. Проехав длиннющий и оттого плохо проветриваемый тоннель, в котором трудно было дышать, мы через несколько часов оказались на берегу Великого океана, в Вальпараисо, что означает «виноградник в раю», или «райский

виноградник», в общем, что-то в этом роде. Мы пробыли там двое суток, и сутки эти были довольно жестко и плотно запрограммированы.

В маленьком кинотеатре, вмещавшем 500–600 человек, не более, показывали «Гамлета». Кругом в районе этого кинотеатра было пусто, вернее, безлюдно… И, идя на встречу со зрителями, не верилось, что где-то могут сидеть люди и смотреть фильм, что вообще может собраться какое-то количество людей вместе в этом звенящем безлюдье, а затем еще и разговаривать о фильме, о Советском Союзе, о Шекспире, Чехове и о нас, советских людях. В этом мнении я окончательно укрепился после того, как представитель киноклуба Вальпараисо с гордостью указал на афишку, написанную от руки, правда печатными буквами: «После просмотра фильма состоится встреча и беседа с исполнителем роли Гамлета, советским актером Иннокентием Смоктуновским». Формат афишки был небольшой, прямо скажем, совсем неброский, маленький формат. И этот листок сиротливо висел на стене около закрытых билетных касс. Мы прошли какими-то длинными коридорами, пропахшими сигаретным дымом, где у стен лениво стояли пять-шесть обросших юношей, которые не обратили на нас никакого внимания. Я еще подумал, какая, однако, завидная сосредоточенность на самом себе, а может быть, то были какие-нибудь йоги. В конце этих коридоров нам сделали знак пальцем – «тише», мол, и мы вошли в зал. Было совсем темно. Гамлета выносили из стен Эльсинора. Мощно и торжественно звучала музыка Шостаковича. Странно, раньше она не казалась мне такой, не мог же Шостакович писать ее для совершенно темных, неосвещенных помещений. Мы адаптировались в темноте и с удивлением обнаружили переполненный людьми зал. Многие, так же как и мы, стояли у стен. Такого форума ну никак не ожидалось. Представитель местного киноклуба, очевидно человек не без юмора, сделал лицо: «А что я вам говорил? Реклама – великое дело!»

Затем прекрасная трехчасовая беседа. Было серьезно и смешно, задумчиво и просто, весело и во всем человечески. Три часа жизни были подарены им, они подарили их нам. Эти три часа пролетели как вздох. Но и этого еще не хватило, и славной оравой, человек в сорок, прошумели почему-то до порта, где синьора Флер вдруг объявила всем, что мне нужно побыть одному, хотя я ее об этом и не просил. В окружении было хорошо. Но я был признателен Флер – ритм и многообразие этого доброго вечера не могли пройти без напряжения, и оно вдруг сказалось легкой дрожью. А может быть, то была ночная свежесть и близость океана. Скорее всего, и то и другое вместе. Меня облачили в теплое, народного изготовления

пончо, в котором ну просто невозможно было выглядеть неэлегантно, и через короткое время с усталостью, легким ознобом и всеми другими интеллигентскими штучками было покончено раз и навсегда. Для полного и абсолютного искоренения всех этих изъянов мы втроем забрели в ночное кафе. Там было шумно, людно и очень грязно. И не солоно хлебавши мы ушли в ночь.

Неожиданным и оттого крайне радостным оказалось, что нас ожидала машина. Как она очутилась в этом месте – просто непонятно, так как, помню, плутая по порту, я был заводилой и без руля и ветрил шел, куда хотел. Счастливая случайность, должно быть. Сев в машину и проехав по городу какими-то петлями два-три километра, мы остановились и, как показалось мне, кого-то ждали. Но никто не приходил. Флер что-то тихо сказала водителю, еще раз оглянувшись по сторонам. Машина стала подниматься в гору по уснувшему городу, и вскоре мы приехали к тому безлюдному дому, где утром встретила нас женщина с ключами и тихим изучающим взглядом. Тогда я отнес это к национальной черте: ох уж эти испанцы – взгляды, ключи и должны быть интриги. И теперь, выходя из машины, я вдруг вспомнил об этом. Женщины с ключами не было, но ее отсутствие с лихвой заменила полная темнота.

Наша машина последние кварталы шла без освещения. Шофер, Флер и Ани говорили вполголоса. Было занятно, но расспрашивать показалось неудобным. Уж очень все походило на заговор. Флер шла впереди, за нею я. И Ани – за мной. Я обратил внимание – входную дверь не захлопнули; судя по звуку, машину или отгоняли в другое место, или разворачивали, скорее всего последнее – дверь-то ведь не закрыли. Я был убежден, что свет не включен, и чуть не вскрикнул от неожиданности, когда он вспыхнул и осветил узкую лестницу и поднимающийся по ней силуэт Флер. Просто тактичные люди, не хотят шума, кто-то спит, должно быть, в доме…

Значит так, подытожил я, стоя в коридоре на втором этаже, опять в темноте. Взгляды пристальные. Машина без фар. Говорят шепотом. Ключи тоже есть. По всему выходило: должны быть интриги, тайны. Впереди позвали, в спину подтолкнули. По нежности прикосновения – Ани. Пошел вперед. Флер не было. Вскоре пришел шофер, мы с ним вместе в ванной мыли руки. Он делал это очень сосредоточенно, как если бы думал о чем-то страшно важном. Он по-английски не говорил совсем, и мы молчали. Говорить же «на эсперанто» – показывать друг другу что-то руками – не очень хотелось: было поздно, да и устали. Собрались все на кухне. Женщины уже переоделись, но были такими же несвежими, как и мы. Советовали переодеться и мне. Ани

спросила, найду ли я комнату, в которой оставил вещи, и добавила: «Пожалуйста, не зажигайте свет, если можете найти в темноте».

Значит, я не ошибался, здесь какие-то тайны. Ани же сказал, в надежде что-нибудь выяснить:

– Но здесь же он горит?

– Здесь окон нет, – просто сказала она. Действительно, окон не было. Вернее, были, и большие, но тщательно заделанные темной материей. И я припомнил, что и на лестнице, где зажигали свет, их нигде не было видно, тоже, должно быть, были завешаны.

Несмотря на поздний час, ужинали долго, почти молча – каждый со своими мыслями. Остановила на себе внимание наполненность холодильника: если дом пустует, зачем столько яств? Для нас? Тогда кто это сделал? И, как бы услышав мои вопросы, хоть я их не высказывал, Флер вдруг все прояснила, попросив меня подписать завтра мою фотографию и оставить хозяйке дома, другу ее детства, а в настоящем – жене генерального секретаря Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана, который в этот момент находился как раз в Москве. Она пояснила также, что очень боялась за сегодняшнюю встречу, так как положение в стране неспокойное, могло всякое случиться, но, слава богу, пронесло. И что именно поэтому, из-за соображений безопасности, мы и остановились не в гостинице, а здесь, в доме у ее друзей, и, мило улыбаясь, добавила: «надеюсь, и ваших», чтобы местопребывание гостя из Советского Союза было неизвестно. Сразу вдруг вспомнились застывшие глаза той мужеподобной из магазина бижутерии. И стало несколько тоскливо при мысли, с какой легкостью и беспечностью проводил я встречу в кинотеатре, хотя что я мог бы сделать или предпринять заранее – ума не приложу. Должно быть, мудрая эта самая Флер, если сказала мне это все после встречи, а не до нее. Иначе и настроение у меня было бы иным, если оно вообще бы было.

Еще Флер добавила, что на встрече были два самых реакционных корреспондента, причем один из них был не местный, а из Сантьяго. Это тот самый, который задал вопрос о том, кого имел в виду постановщик в том месте фильма, когда Гамлет говорит: «Но играть на мне нельзя!» Я помнил его хорошо. Он сидел справа в третьем ряду и единственный вставал (нет, еще какая-то женщина тоже вставала), когда задавал вопросы, и был в высшей степени предупредителен. Когда он поднялся в первый раз, я попытался со сцены усадить его обратно – отдыхайте, мол, сидите. На что он очень серьезно, как о чем-то важном, сказал, глядя поверх меня, хотя находился в партере и был где-то внизу: «Может быть, вы позволите поступать так, как мне удобно?» И

через паузу, набрав полную тишину, не торопясь, задал вот этот вопрос о Гамлете. Переводчица Ани, глядя на него, тихо и быстро прошептала, так, чтобы слышал только я один: «Разве вы не видите, что он хочет показать, как он строен, как он чудно сложен?»

Невероятно, но он уловил и понял смысл ее шепота и, переждав мгновение, посмотрел на меня, как бы говоря: «Я переживу и эту бестактность. Мне легко, я выше этого».

Он был действительно высок и строен. Но все портило лицо: нижняя часть лица (в ней угадывалась развращенность) и очень узкий подбородок никак не сочетались с красивым и крутым лбом, тонкие губы были неприятно и чрезмерно подвижны – даже с его достойной манерой говорить. Глаза, впрочем, были глубокими и спокойными. Глаза эти были просто какими-то говорящими глазами. Я о нем пишу подробно потому, что именно он должен будет стать моим оппонентом, судя по всему, что рассказывала о нем Флер, на предстоящей пресс-конференции. Не скрою, это меня насторожило. Как бы там ни иронизировала Ани по его адресу, в нем чувствовались сила, ум, он владел собой.

Не ожидал от себя подобной прыти, но всю эту ночь хорошо спал. И утром был готов «ринуться в бой», если того потребуют обстоятельства.

Совсем по-другому я осматривал свою комнату утром. Это была детская спальня. Игрушки в углу и детские рисунки на стене. Они позволяли легко предположить воинственный характер мальчика. Ракеты и танки с красными звездами. Танки и пушки, видимо, стреляли, судя по снопу красных рваных черточек из их стволов. Я много раз видел такое на выставках детского рисунка у себя на родине. И здесь то же. Между шкафом и стеной в углу стоял огромных размеров прекрасный лук. Тетива звенела. Но стрел не было. Не знаю, куда и во что я стрелял бы, но, не найдя стрел, я расстроился.

До пресс-конференции было еще достаточно времени, и мы с Ани поехали в огромный по размерам прибрежный район Вальпараисо – порт, куда рыбаки свозят свой улов продать его или сдать в артель и выйти в океан за новой добычей. Чтобы проехать в сам порт, нужно пересечь, несколько раз меняя направление, большой поселок рыбаков. Здесь поселилась нищета и ее спутники: грязь, нечистоты, запустение. Было несколько неловко за свой выутюженный, отвисевшийся за ночь костюм и начищенные ботинки. Над поселком нависло нескончаемое нервное тремоло. И как только показались порт с причалами и океан, сразу стало ясно, что это крики многих и многих тысяч чаек, огромной, все время меняющейся волной взмывающих над небольшими судами.

Ани указала пальцем на точно такие же суда у другого мола, над которыми не было никаких птиц.

– Как ты думаешь, почему это?

Я не знал, что ответить, но суда, на которые она указала, легко колыхались на волне.

– На тех, должно быть, нет уже рыбы, что ли?

– Да, уже все продали, и с них ничего не возьмешь, чайки это знают, они очень умные. А эти, – продолжала она, – полны, и сейчас их будут готовить к отправке в Сантьяго. Вон везут ящики. Подойдем поближе, это интересно! Сейчас ты увидишь, как это происходит! – кричала она мне, стоя рядом.

Океан и чайки своим валом, толщею звуков буквально прибивали, пресекали все попытки какого-либо другого проявления звуковой жизни. Стало как-то нервно, словно на тебя надели большую-большую кастрюлю и колотили по ней палками. Хотелось крикнуть: «Прекратите! Я ничего не слышу!» – и если не кричалось, то потому только, что этого никто бы не расслышал.

Ани быстро шла впереди, оборачивалась, манила меня рукой – дескать, не отставай. На расстоянии трех-четырех метров это был единственный способ общения. Ускоряя шаг, я побежал, неосознанно стараясь вырваться из плена воя, лязга, крика. И вдруг все отошло, перестало быть, затихло. Стало невыносимо пусто, и лишь рой чаек огромной рваной тенью замедленно ворочался в этой провалившейся в омут воя тишине. Не хотелось ничего. Только уйти бы, и больше ничего.

…Мальчики сидели неровной копошащейся кучкой. Их было немного… Кому – лет десять, самое большее – двенадцать-четырнадцать, но были и восьми-, девятилетние; должно быть, не больше семи-восьми человек их было. Сидя на корточках, они время от времени точили свои ножи о гранит бортика причала и затем, орудуя ими, вспарывали серебристую опухоль рыбьих животов – потрошили их легко, как заправский парикмахер удаляет неугодный ему вдруг откуда-то взявшийся торчащий волосок, отрезали последнюю спайку кишок, выбрасывая их в воду. Мальчики были грязные, они работали наклонившись, и первое, что виделось, – их шеи и плечи. Все были босиком, с разъеденными соленой водой цыпками. Одеты были все просто в рвань. И создавалось впечатление, что штаны их, рубахи, майки никогда не были новыми вообще. Во всех мальчиках мало что оставалось детского, может быть, только рост. Это были маленькие, молоденькие мужички с хорошо развитыми, недетскими плечами. Плечи были совсем недетские, и этим они привлекали глаз и, как ни странно, вызывали сожаление – в своей развитости они были едва ли не уродливы. Мальчишек мало занимало, что на них смотрят. Они

умеют на лету схватить выброшенную с борта рыбу, вспороть ей живот, выбросить потроха в портовую муть океана и, положив очищенную рыбу в ящик, лязгнув лезвием ножа по бортику гранита, ничего никому не сказав, не улыбнувшись ни друг другу, ни жизни, ни ораве чаек, их собратьям, присесть на холод портового асфальта и вспарывать и вспарывать рыбьи животы.

Рядом с ними не совсем трезвая, как показалось, женщина готовила место для подобной же операции с рыбой с другого судна и струей воды из легкого шланга смывала грязь и мусор мостовой. Грязные брызги нагло били мальчуганам в лицо. Было совсем не жарко, но, должно быть, это было повседневной нормой их жизни, и поэтому никто из них этого не замечал. Так же как никто не замечал маленькую худую женщину, которая, тоскливо погрузившись в свои мысли, как-то безысходно провожала взглядом струю воды. Если все это кругом, как говорили, – чрево Чили, то кто эти маленькие старички и это худое без времени поникшее и опустившееся создание? Они копошатся здесь для того, чтобы где-то там вкусно ели. Они у порога здоровья Чили, они его творцы. Два года власти блока Народного единства – огромный срок, но он оказался недостаточным для преобразования экономики страны. Не успели еще, не смогли. Босые обветренные ноги мальчишек, разъеденные соленой водой, их труд – тому достаточное доказательство.

Еще долго, наверное, шквал шума из порта преследовал нашу машину и нас, тихо сидящих в ней. Но он все-таки кончился. Я не помню когда. Но до сих пор помню тех мальчиков, тех маленьких работяг. Знают ли, изведали ли они хоть раз, что у них сейчас золотая пора жизни – детство? Не прошла ли она мимо них, не проходит ли она и сейчас мимо, совсем? Играют ли они в какие-нибудь детские игры, стреляют ли из луков, или на долю их выпало лишь точить о гранит ножи? Кто их родители, и вообще есть ли они у них? Стало грустно-грустно при мысли, что матерью одного или двух этих сынов порта могла быть та худая женщина с лицом спившегося безвольного мужчины. Читают ли они, умеют ли вообще читать? На все эти вопросы ответов не было – их не могло быть. И поэтому всю дорогу обратно к тому дому на горе ехали без единого слова (Ани сидела рядом с шофером, и это было очень удобно). Я сделал вид, что сплю, забившись в угол машины, и она не видела моих слез.

О пресс-конференции забылось напрочь. Какое значение имеет, что кто-то что-то спросит, а потом, не поняв или не расслышав перевода, а скорее всего сознательно, напишет все наоборот, – никакого.

Может быть, поэтому пресс-конференция прошла вяло, скучно,

неинтересно. Если такая, то уж лучше никакой. Но долг есть долг. Я приехал сюда не переживать, а работать. И я работал. На все вопросы, касающиеся моего пребывания в Чили, о проблемах кинематографа, актерского мастерства и режиссуры я ответил сполна, хотя понимал, что мог отвечать более интересно и более емко. Вопросы, касающиеся моей личности, моих настроений, оставляли меня равнодушным и даже пустым. Тот предполагаемый оппонент сидел в первом ряду, забросив ногу за ногу, и маленькими глотками пил горячий кофе. Уже под конец пресс-конференции он, видимо, захотел узнать причину перемены во мне со вчерашнего вечера и, не вставая, как это делал вчера, спросил:

– Хорошо ли вы себя чувствуете? Как вас обслуживают в гостинице, где вы остановились?

Мне было не только все равно, но даже неприятно. Я ощутил полную ненужность этого вопроса, касающегося лично меня, и ответил совсем коротко, односложно, и не испытал неловкости при этом.

– Да, прекрасно.

Одна девушка (я видел, как ее «агитировали») спросила:

– Многие из присутствующих были вчера на встрече после вашего «Гамлета» и находят, что вы были совершенно иным. Не могли бы вы, если сочтете нужным разумеется, ответить: почему такая разительная перемена за столь короткий срок?

И она осталась стоять с предупредительным легким наклоном вперед, прикусив немного край нижней губы, этим самым как бы говоря: если скажете «нет», я смогу это понять и тут же сяду.

Ход был рассчитан точно, хоть и создавался наспех и сообща.

Журналисты – это, наверное, еще и психологи, если не искать другого, более острого и более точного определения. Помню, она располагала к себе и манерой говорить, и тактом, с которым она это делала, – не хотелось ей врать. Но первое, что пришло в голову, – это «тот, вчерашний, остался в порту на мокром асфальте вместе с босоногими мальчишками». Этого нельзя было говорить – это их беда, их боль, и своим «уставом» я не смог бы выстроить клиники для исцеления. Поэтому соврал:

– Я актер и точно, надеюсь, чувствую настрой аудитории. Вчера она была праздничной, и мне не хотелось ее менять.

Она почувствовала мою ложь и, естественно, не была удовлетворена ответом, тем более что вопрос ее предполагал и разрешал просто молчание. И за такой нечестный ход, не оценивший ее такта и прямоты, как бы показывая, каким должен был быть мой ответ, она, уже сидя, холодно спросила:

– Вы неверно поняли меня или вам неточно перевели. Хотелось

бы узнать о сегодняшнем вашем «я». Я уточню: если это так, как вы только что сказали, не значит ли это, что многое из того, что вчера говорили вы, было не правдой, а лишь «подстройкой» к залу, выходом из положения?

Предполагаемый мой оппонент с улыбкой обернулся к ней, как бы извиняясь за то, что до сих пор «держал ее за дурочку», а она – смотрите-ка… И тут же, но уже без всякой улыбки, вернулся взглядом ко мне.

– Боюсь, как бы это не выглядело хвастовством, но найти общий язык с залом, почувствовать его дыхание – одно это уже немалое искусство. Отвечая же так, я не имел в виду сути вчерашних вопросов и ответов, а лишь их тон, общее настроение…

И здесь была тишина, которая странным образом сроднилась с тем беснующимся хаотическим ревом в порту…

Не дождавшись конца пресс-конференции, та девушка поднялась, лишь мельком взглянула на меня, повесила до сих пор лежавший на полу фотоаппарат через плечо и, не прощаясь, не извиняясь, ушла. Если это и была демонстрация, то нужно отдать ей должное – она была достойной и в чем-то справедливой. Атлет проводил ее взглядом и прямо воззрился на меня. Его глаза говорили – и это наделали вы! Лгать вообще нехорошо, а тем более женщине…

Я был смущен, но скрыл, старался скрыть это за безразличием. Кто-то в голос хохотнул, наблюдая эту немую дуэль, и я понял, что меня разоблачили и в этом, но не шел на попятную, не хотелось предавать ни мальчишек, ни свое детство, которое вдруг стало близким; и я упорно молчал – мальчишки не давали говорить, они комом перехватывали горло, тянули к себе, на тот мокрый гранит в порту Вальпараисо.

…В один из первых дней пребывания в Чили, в Сантьяго, сразу же после просмотра «Чайковского», была устроена пресс-конференция. Журналистов было человек тридцать-сорок. Переводчик запаздывал; ожидая его, мы мирно болтали, шутили. Какая-то женщина сказала, что большая радость ждать, а потом видеть мою новую работу, и представила мне трех-четырех человек, которые в конкурсе прессы на лучшего иностранного актера года назвали меня в «Гамлете». Они дружно и мило кивали головами.

– И вот теперь «Чайковский», – продолжала она, – скажите, вы, должно быть, очень любите свою профессию?

У меня от радости, что напал на знакомую и бесконечную тему, как у той вороны, в зобу дыханье сперло, и я стал объяснять, что люблю, но вместе с тем и ненавижу, так как нет второй такой же специальности, профессии, где человек сам, по доброй

воле стал бы себя взвинчивать, накачивать, истязать – это же ненормально. Не случайно, продолжал я, по статистике ООН, одно из первых мест по душевным заболеваниям из всех профессий мира держат, увы, актеры.

…О том, что Альенде будет на премьере «Чайковского», мы узнали всего лишь за два-три часа до сеанса. Были предположения, разговоры, но конкретно – ничего. Флер смотрела своими огромными, немигающими глазищами и была завидно невозмутима, как при «нет, он не будет», так и при «он будет обязательно». Ее глаза были столь огромными, что, видя их впервые, все время хотелось спросить владелицу их: а что, собственно, удивительного я говорю? Я позавидовал ее умению владеть собой, вернее, быть собой. Накануне премьеры за столом в ее уютном доме она тихо сказала мне, что звонила Ортенсия, жена Сальвадора Альенде, и они выделили время для встречи с фильмом о великом русском композиторе. Флер также сообщила, что фильмом «Чайковский» начнется большая, по всей стране, кампания по сбору средств на обувь для бедных подростков. «Ни одного ребенка в Чили без ботинок», – сказала она тихо и вопросительно посмотрела на меня, понял ли я ее; а я долго не отвечал, потому что вслушивался в простые, без какого бы то ни было пафоса слова «Ни одного ребенка в Чили без ботинок». «Было бы неплохо, – продолжала она, – если бы, приветствуя Сальвадора со сцены, вы как-то отметили это обстоятельство, потому что в зале будет ведь дипломатический корпус и пресса столицы. Хорошо бы, чтобы эта кампания была подхвачена всеми присутствующими».

Затем пришла переводчица и стала, в свою очередь, настаивать, чтобы я, обращаясь к Альенде, непременно бы называл его не иначе, как «товарищ президент». Вся страна кишит синьорами, господами, сэрами и кабальерами – и вдруг на тебе, «товарищ»!

– Не будет ли это выглядеть нескромно, этаким панибратством?

– Нет-нет, Альенде настаивает, чтобы все его единомышленники обращались к нему и между собой со словами «товарищ».

Флер, смотря на меня, несколько прикрыла глаза – дескать, хоть это и большой человек, но, пожалуй, беды большой не будет, и, открыв их, бессловесно закончила мысль: да, так будет, пожалуй, лучше.

Переводчица, чилийка, знавшая русский много хуже, чем Ани, была взволнована и все время просила сказать ей, что же я буду говорить, чтобы она примерно знала, что и как ей переводить. Мне

это не нравилось. Взволнованности у меня у самого хоть отбавляй. А мне хотелось быть свободным, простым и умным не только перед Альенде, но и перед фильмом «Чайковский». И я, скрывая злость, сказал:

– Как что? То, что я скажу. И будешь переводить.

Ее растерянность была явной. Это не могло подбодрить меня.

И вот мы все в огромном неуютном фойе кинотеатра в центре чилийской столицы. Много наших, советских, с некоторыми уже встречались ранее в посольстве, в советской колонии.

Широкие стеклянные двери фойе выходили на широкий тротуар и были гостеприимно раздвинуты. Люди входили и выходили, стояли снаружи и внутри. Всюду было людно. Улица жила своей вечерней уютной шумной жизнью. За стеклянными дверями и витринами и просто за оконными стеклами сидели, стояли, пили, ели, жестикулировали, просто глазели, курили и громко, обязательно громко, говорили; чилиец обнимал свою не менее громкоголосую подругу.

Пестрота одеяний, нескончаемые разнотонные сигналы машин, на которые, впрочем, на этой узкой улочке не очень обращали внимание, шоколад загара лиц, мелькание, мигание и бег электрической рекламы, теплый воздух летней улицы, пропитанный перегаром бензина с дразнящим запахом специй, приправ и жареного мяса, – все это и многое другое составляло живую колоритную мозаику вечернего душного города с пронзительным, неприятным криком продавца газет на углу.

Вдруг вся улица как-то насторожилась, еще больше заполнилась народом и стало тесно даже здесь, в фойе, где особняком, почти у самого входа в зрительный зал стояла наша маленькая группка. Она казалась изолированной непонятно откуда взявшимися людьми. Такое впечатление, что они вышли из стен, выросли из-под пола, и это не были люди из охраны президента (впрочем, были и такие, они угадывались по быстрым и цепким взглядам). В основном же в нахлынувшем потоке были люди из дипломатических кругов Чили. Их всегда легко определить по вечерним платьям, костюмам, по манерам и по их лицам, не только всегда бритым, свежим, холеным, но и несущим этакую дипломатическую стать. Позже переводчица объяснила их столь внезапное появление в фойе: оказывается, кинотеатр своими входными и выходными дверями связывал чуть ли не три улицы, и весь этот народ стоял на тротуарах у кинотеатров, дожидаясь приезда президента.

Президент Чили Сальвадор Альенде шел из глубины улицы, от машины, улыбаясь, и время от времени отвечал на приветствия простым, домашним поднятием руки, как бы говоря: ну как славно,

что и вы пришли. Перед ним тут же образовывался, вырастал и протягивался, откатываясь в гущу ожидавшего его народа, живой коридор из устремленных добрых взглядов, улыбок, протянутых рук и полунаклоненных фигур.

Я не каждый день встречаю президентов и поэтому, когда стоявшие передо мной расступились, открыв тем самым мою несколько потерянную фигуру в свежеотутюженном летнем смокинге, начал было тоже пятиться, но, больно стукнувшись спиной о стену, остановился (следует отметить – стена стене рознь, здесь была хорошая, умная стена; как важно вовремя получить тумака!) и, ощутив ее, довольно быстро обрел себя и уже достойно стоял, ожидая приближения президента. Он подошел, скользнул по мне взглядом, как, впрочем, и по стоявшим рядом со мной, и… бодро развернувшись, как бы желая проделать весь этот путь обратно, к машине, пошел. Не думаю, чтоб я смутил его. Нет. Даже в этом коротком проходе чувствовалось, что человек этот давно привык к подобному изъявлению симпатий к нему, ощущались уверенность и сила. Он уходил. Переводчица ринулась за ним, схватив его за локоть, громко, в голос, крича при этом: «Сальвадор, Сальвадор, он здесь, вот он!»

Президент Сальвадор Альенде не выразил неудовольствия, не отбросил ее руки, а, повернувшись, посмотрел туда, куда она показывала. Приветливо улыбаясь, он шагнул ко мне, я немного быстрее, чем это позволял протокол и вечерний костюм, бросился к нему, схватив обеими руками его огромную протянутую руку (но хорошо помню, что не тряс – просто спокойно держал). Простота общения, взгляды его не предполагали повышенных степеней излияния радости или уважения. Нужно было только, по возможности, быть самим собой, что я и постарался сделать. Он, среднего роста, приветливо и изучающе снизу, и я, разумеется, не свысока, но сверху, радостно взирали друг на друга. Я чувствовал, что нужно было что-то сказать, но удобно ли первому? И тем не менее робко начал:

– Я очень рад, господин президент…

– Как ваши глаза?.. – не дав договорить мне, спросил он. – Здоровы ли ваши глаза? Вылечили ли вы их?

Вопрос был прост, ясен, но я настолько был не подготовлен к проявлению не только заботы с его стороны о моих глазах, но просто никак не ожидал, что последует подобное, и поэтому никак не мог свести этот простой вопрос к реальности. И когда, наконец, мне это удалось, тихо сказал:

– Да, благодарю вас, дорогой друг, благодарю, я здоров, я вижу.

– Ваши многочисленные друзья в Чили были встревожены, узнав о вашем заболевании.

Маленькая, уже немолодая женщина с красивым разрезом больших глаз стояла возле Альенде и тихо, как-то впитывающе, смотрела на меня, и лишь я взглянул на нее, как она слегка кивнула головой в такт окончанию слов Альенде, дескать, да, так и было, да ведь вы и сам все это знаете, и продолжала молча, изучающе глядеть на вконец смущенного «премьера». Это было так ясно, что она именно это говорила, думала, что, глядя на нее, я так же тихо наклонил голову и, по-моему, шептал: «Благодарю… благодарю вас».

Администрация театра просила всех пройти на просмотр фильма.

– Увидимся позже, – бросил как-то удивительно молодцевато Сальвадор Альенде, отпустив мою руку, и пошел за расчищающими ему дорогу взволнованными администраторами и работниками министерства культуры, среди которых я с радостью узнал одного из заместителей министра культуры, синьора… к сожалению, забыл фамилию… столь просто и гостеприимно принявшего нас в президентском дворце Ла Монеда четырьмя днями ранее, сопровождавшего нас в экскурсии по этому дворцу и в заключение поделившегося с нами радостью – выходом в свет его книги о жизни и творчестве нашего Федора Михайловича Достоевского.

Нужно было спешить на сцену.

– Товарищ президент! Дамы, господа, друзья, товарищи! Я горд возможностью представить вам советский фильм о нашем великом соотечественнике Чайковском. Статистики утверждают, что почти из трехсот часов чистого звучания всей музыки Чайковского каждую минуту в мире где-нибудь обязательно звучит музыка Петра Ильича. Значит, и здесь у вас, в Чили, звучание ее естественно и правомочно. И совсем не потому, что это подсчитала кропотливая и объективная статистика. Это право завоевала у времени и у народов мира сама эта музыка. И по великому врожденному стремлению человека тянуться к прекрасному, вечному. У нас на родине, в России, под Москвой, в небольшом городе Клину, стоит дом, где жил последние годы Чайковский. По его неуютным комнатам бродят сквозняки и туристы, и становится грустно при мысли, как непроста, как нелегка была его жизнь, прошедшая закоулками одиночества и отрешения. Над домом идут дожди, шумят сосны и на входной двери медная табличка. Ею он пугал неугодных ему посетителей.

«Хозяина нет дома».

Его действительно нет дома. Он ушел. Ушел, оставив нам поистине бесценное наследство – время, в котором мы можем слушать его музыку. Более щедрого завещания не оставляют. Оно – людям, оно – вечно. Не потому ли и выбран фильм «Чайковский»

как начало пути по сбору средств тем маленьким чилийцам, кто все еще не имеет ни школ, ни ботинок?!

Хорошо летом, после дождя, босиком бродить по мелким теплым лужам. Но однажды, поймав меня за подобным занятием, моя жена сказала: «Ты как ребенок, право. Будь хорошим и не промочи ноги». Как я мог промочить ноги, если я был босиком?.. Пусть в Чили идут теплые дожди, пусть босиком бегают по теплым лужам маленькие чилийцы, пусть время и забота взрослых подарят им одну из самых больших радостей детства – обновку, пусть пойдут они в школу, сопровождаемые скрипом новых ботинок и материнским напутствием: «Иди, будущее Чили! Учись! Учись жить, побеждать, слушать музыку, быть всегда хорошим и – не промочи ноги». Благодарю вас.

Дотошные эмигранты, свято сохраняя все русское, а особенно слово, сокрушенно сожалели после, что перевод был не только неточным, неполным, но многие мысли, фразы упускались вовсе, вроде их никогда и не было. Очень жаль. Во время перевода я почувствовал его краткость, еще подумалось – какой емкий испанский язык, но что так по-варварски меня сократили – никак не ожидал. Жаль. Очень жаль.

Мое собственное отношение к фильму «Чайковский» более чем сложное. На подобную тему, да с музыкой, полной невысказанной тоски, и с той нежной любовью к композитору, с который мы работали над картиной о нем, мы должны были снять великий фильм. Но ни режиссер, Игорь Таланкин, ни тем более мы, артисты, не могли, были не в силах противостоять немощи, ограниченности и бескрылой заданности сценария, и ожидать другого, лучшего фильма, было бы просто самообманом.

И тем не менее мы прилагали в работе максимум усилий, чтобы хоть как-то выйти из того, как казалось тогда всем нам, безвыходного положения. Впоследствии, когда я бывал на просмотрах нашего фильма, я заметил, что время жестоко оголило все несовершенства того сценария, казалось, оно даже замедлило свой ход и едва ли не останавливалось, чтобы только как можно пристальнее обратить внимание на сценарную несостоятельность… Увы, и это не были те прекрасные мгновения в вечности, которые так тщетно искал, ждал и хотел бы остановить доктор Фауст у Гёте…

Как ни долго тянулось время того просмотра, фильм все же кончился, и сотрудники нашего посольства предложили мне подойти к центральной ложе в надежде поговорить, обменяться впечатлениями. Во время просмотра я не столько смотрел фильм, сколько наблюдал за залом и ложей, и мне казалось, что Альенде оставался равнодушным к происходившему на экране. Желая

освободить его от возможной неловкости в оценке фильма, обратившись к нему, я сказал:

– Боюсь, что отнял у вас много времени, товарищ президент.

– Напротив, музыка и живые глаза Чайковского сделали это время прекрасным. Спасибо, товарищи.

Последние слова Альенде сказал по-русски. Мы пошли провожать его и Ортенсию до машины. Я шел за ними и был поражен тем, что он был совсем иным, до странного. Хотя так же приветливо улыбался и отвечал на приветствия, но тяжесть забот, значимость своего высокого, непростого долга перед избравшим его народом вдруг стали очевидными.

Трехчасовые каникулы кончились, он возвращался к реальности своей страны.

Задержавшись несколько у машины, Ортенсия что-то мягко говорила своему мужу, он тихо отвечал ей, затем, перейдя с испанского на английский, спросил меня:

– Как долго вы останетесь в Чили?

– Наш посол настаивает, чтобы я задержался до большого приема…

– Отлично, мы с женой приглашены тоже. Значит, до воскресенья…

Он уезжал по улице, полной народа. Все тепло и нежно глядели вслед удаляющемуся автомобилю… Он уехал – улица, осиротев вдруг, быстро пустела, стало темно и странно, почему-то скучно. Он уехал.

Алый отсвет гвоздик на белом тюле в ленинградской гостинице давно угас, и цветы темным пятном зло глядели на меня сквозь материю. Я отдернул белую пену занавеса: гвоздики, нежные гвоздики, через материки и океан пронесли в это осеннее утро тревогу и память о том, кто был столь щедр и честен, что отдал все, что только можно отдать в этой нашей жизни.

1 ноября 1973 года

Старею, должно быть, иначе трудно объяснить, почему в первый раз в жизни повесил у себя над кроватью (среди актерской братии такое довольно часто можно встретить) большую театральную афишу «Федора». Но, правда, когда крепил ее, подумалось: «Уж не культивирую ли я себя?» – и здесь же четко ответилось: «Да нет!» Подобным образом она не будет мешать и пылиться, а здесь едва ли не вовремя прикроет уже изрядно выцветшие обои и внесет свежее цветовое пятно в комнату.

«Да, но почему именно афишу? Зачем? Неужто и мне не удалось избежать этого: я сам, я сам». «Самее я тебя, и крышка», – как некогда говаривал Урбанский Женя, иронизируя и над самим

собой, и над другими, укушенными этой вот бациллой.

Приколов, отошел в сторону взглянуть, как смотрится сей экспонат цвета, и, как баран, уперся взглядом в фамилию свою, хотя она ничем, ни шрифтом, ни цветом, ни величиной набора, не отличалась от других фамилий, титулов и просто слов на том большом листе бумаги…

…Да-а-а!

Но, правда, было бы уж совсем странно и непонятно, если б вдруг воззрился я на чью-нибудь чужую фамилию так вот, как смотрел я на свою, – но это уж было бы действительно странно и нездорово. Стоя так, смотря и думая вот этак, все больше уходил от пустоты, никчемности «и бронзы многопудья и слизи мраморной» – сколько сил, затрат здоровья, простого времени и даже жертв принесено, чтоб напечатать этот вот листок бумаги. «Нет-нет, пьедесталы не стоят ничего. Одна лишь жизнь, добро, что творчеством зовется, друзья, любовь, труд – работа, что единый хлеб дает, правда и надежда, простая человечная надежда, что будет завтра воплощеньем – сутью дня. Лишь только это!»

До физического ощущения вдруг коснулась тоска, что одной мечте уж не бывать. Не воплотить ее. Надеялся, хотел, ждал… Мечтал воплотить самого Пушкина…

Когда еще в окне едва мерцает размыто-мерный свет, и ночь на грани утра (не хочется вставать, но надо: съемка и где-то далеко за городом – натура), и только что с трудом открыл глаза – пятном неясным, мутно-серым встречает со стены (скорее, я это знаю, к этому привычен) тот белый лик – из гипса снятый слепок его лица с закрытыми глазами.

Всегда он – там. И тих и молчалив, как тот народ, напуганный и скорбный, что немо вопия, безмолвствует, верша конец трагедии о Борисе, написанной им.

Под ним – букет засохших роз, давно увядших, но (странно) сохранивших внешний вид и нежность до той поры, пока не прикоснешься к ним: тогда иллюзия бытия уйдет, напуганная силою извне, щемяще зашуршит заброшенным погостом, как если прошептало б: «Про-ш-ш-ло-о…»

И этот шелест роз напоминает мне тот дивный случай, когда при вскрытии давно искомой гробницы фараона уставшие от впечатлений, порожденных находкой, роскошью царей, богатством их, вдруг были сражены (и этот миг подобен потрясенью!), найдя на саркофаге фараона букет из потемневших васильков, рукою трепетной и любящей положенных в последний миг, должно быть, пред мраком и веками.

Букет цветов, он – эхо прошлых дней, как дань любви,

последнее «прости» перед заходом солнца. И, может быть, – начало вечного. Бессмертия порог, через который шагнули некогда – и пронесли сквозь толщу времени любовь свою – в цветке… засохшем ныне…

Светает.

Уже угадываются черты лица, измученного предсмертной болью. Слегка открытый рот и впалость щек к зачесам бакенбардов. Высокий лоб и вдавленный висок. Глаза: они не то чтобы прикрыты – они закрыты смертью. Приплюснут длинный нос. И воля – лишь в упрямом подбородке, не хочет покидать владельца своего: она верна ему поныне. Огромный лоб – и выпуклость его все время заставляет возвращаться взглядом.

А ниже – букет засохших роз.

«Прош-ш-ло-о, прош-ш-ло-о…» Когда-то жило-было – увяло, кончилось, ушло, оставив гипс и пыль на розах, хрупких, как мох в расщелинах огромных пирамид.

Куда ушло?

Кто и когда ответит на вопрос вопросов?

Дальнейшее – молчанье…

Один «безмолвствовать» велит, другой – «молчанием» кончает. Такое впечатление, что человечество с пеленок – в почетном карауле на панихиде по самому себе (при том, что невтерпеж от шума, лязга, свиста, воды речей и топота присядок, но это лишь – помехи жизни…).

Уж утро. Звонят из группы: сейчас придет машина.

Люблю, когда вдруг отменяют съемку – как праздник провожу я этот день. Но здесь уже звонили: машина вышла, и отдыха не будет.

Сегодня почему-то много дольше, чем обычно, меня приковывал к себе тот белый лик, то скорбное лицо.

Оттого, быть может, что сейчас, работая над «Федором», все чаще думаю над тем, что сделано Борисом; к чему всех Федор призывал; что думал (и думал ли вообще?) народ (а может быть, субстанции этой и думать-то «не полагалось» никогда; не предназначено ему-де свыше – такое тоже может быть; откуда знать нам? У Толстого в «Войне и мире» сказано об этом, а это ум и мышление таких масштабов, что и поныне им довольно трудно равное сыскать…).

Белый лик – иссохшиеся розы.

Он знал, как точно описать возмездие за некогда содеянное зло.

Гений и злодейство – две вещи несовместные…

«Народ безмолвствует», безмолвствует народ… Как ни верти и ни меняй местами – трагедия налицо: не отвести ее, она пошла

внакат. Молчали все. Ни тени состраданья. Немыслимо, щемящая тоска. Никто ни «за», ни «против». Пересохло в глотках. Страх завладел сердцами до холода, до тошноты. Застыли мысли и шаги: никто не шелохнется – вместе с теми, что только что свершили акт насилья и, увлажненные борьбою, с высокого крыльца взирали на народ. Притихла Русь, и сожжены мосты. Безвременье и бездорожье.

Рукопись трагедии до разрешения Бенкендорфа печатать (под его собственную ответственность) кончалась:

Народ: Да здравствует царь Дмитрий Иванович!

Издание, куда вошла трагедия, печаталось в отсутствие поэта под наблюдением Жуковского. И цензор ли, а может быть, и сам Василий Андреевич последнюю ту фразу кричащего народа «Да здравствует царь Дмитрий Иванович!», напрочь заменив иною фразой: «Народ безмолвствует», в кавычках, представили поэту.

Пушкин (ну просто не могу не видеть улыбки злой его!) – такое сделать мог лишь он – кавычки снял, и этим лишь он разрешил поправку.

«Народ безмолвствует». Какая катастрофа! Что может быть страшнее этой мысли? Землетрясение легче перенесть.

И, чувствуя приход времен ужасных и приближенье междоусобиц, распрей, жертв, резни, поэт подвел всему итог и точку в конце печальной, страшной фразы этой своим пером, как обелиск, поставил. Другой уж век стоит она, венчая горький вывод философа и мудреца.

Народ безмолвствует…

И точка. Как если б страшно далеко в глубинах мирозданья разорвало звезду от мощи, от собственных борений там, внутри, – и эхом через сонм веков планету нашу обдало и нервы (синоптики ж сие спокойно нарекут повышенной активностью светила, то есть Солнца: всегда на стрелочника – и беды все и подозрения…).

Как-то совсем не представляется, что он когда-нибудь мог бы «выламывать» (чудовищное слово, но для антитезы ему оно здесь к месту) из себя представителя вечности, хотя, наверное, знал и цену себе, и что такое он, и кто он есть: «Нет, весь я не умру…»

И вместе с тем он близок нам и дорог уже и тем, что был поразительно подвижен, весь соткан из забот сегодняшнего (тогдашнего), сделавший жизнь свою борьбой и мукой, переплетая с радостью и подвигом ее.

Издатель, редактор, критик, поэт, писатель, драматург, философ, муж, отец, историк, зять… Слишком много просто человеческого (так и хочется назвать его «товарищ Пушкин» и, скажем, пригласить на профсоюзное собрание, не так ли?).

И как при всем этом остаться самим собой – отцом и мужем, человеком – и вдруг прийти к такому заключенью:

«Я скоро весь умру…» – Вот это все я и попытаться-то объяснить не могу, не смею, не то чтобы постичь…

Пушкин для меня – загадка, тайна, именуемая простым и, к сожалению, довольно часто теперь эксплуатируемым словом талант. Люблю его поэзию, прозу, исторические изыскания, критические статьи, но много больше восхищен им самим – человеком, личностью, характером его.

Должно быть, только спецификой моей работы (искать в каждом проявлении жизни, творчества, горения первородность, основу, реактор всех этих непростых начал: человека) можно несколько оправдать мой столь безусловно спорный и в чем-то парадоксальный подход к самому Пушкину и его вдохновенному труду.

Есть одно выражение, которое меня настораживает.

По прихоти ль блеснуть словечком эдак и этим у моды побывать где-то рядом или, того нелепее (а может быть, смешнее), приобщиться к вечному, привлечь великое на службу своему сегодняшнему «я» – иные из досуже стучащих на пишущих машинках ныне нередко называют больших поэтов прошлого нашими современниками. Это, впрочем, то же, что и «товарищ Пушкин», но лишь завуалированное.

Что сказать на это? «Смелый народ – длинные ребята!» Уже такой острый ум, как Николай Васильевич Гоголь, предвидя сонм подобных «прилипал», давно над ними посмеялся: «С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, брат Пушкин?»

Пушкина, при всей его похожести на нас, назвать современником как-то страшновато (правда, подобное суждение – не без обстоятельств, которые довольно быстро ставят меня на свое место: я не ученый – раз, многого не знаю – два; и тем не менее в применении к нему как-то не совсем получается, вернее, совсем не получается – с этой хорошо отредактированной временем метафорой).

«Наш современник». Да, он – с нами, это верно. Но он – и много-много впереди. Уже и потому, что мы, живущие сегодня, и вполовину не используем той щедрости языка, который он свободно обогатил во времени вот уже около двухсот лет назад.

«Борис Годунов» до сих пор терпеливо ждет прочтения в своем первородном драматическом изложении. Оперному искусству невероятно повезло: Мусоргский и Шаляпин помогли нам продвинуться в познании драматического наследия Пушкина. Опыт этих двух столпов русской культуры действовал подчас

отрезвляюще на многие буйные режиссерские головы, жаждавшие поставить «Бориса» на драматических подмостках, – ставят и поныне отдельные сцены: «Корчму», «Фонтан», «Келью Пимена», но и только.

Из года в год продолжаются «партизанские» наскоки в постановках «Маленьких трагедий» – и в чем-то, возможно, есть обнадеживающие завоевания, но по-прежнему в тени непознанного «Пир во время чумы» (этот «пир драматургии» с упорным невниманием, порою, кажется, со страхом, оставляется «неоткрытым ларчиком»).

Смею предполагать: те из «деятельных практиков» от кинематографа, которые, не моргнув глазом, пустились бы воплощать (и воплощали!) «Маленькие трагедии», да и не только «маленькие», и которые не остановились бы перед соблазном и возможностью походя привлечь-таки «Сашу Пушкина» в «свои современники», сделали бы вид, что «Пира во время чумы» просто-напросто не существует.

Чем же это вызвано?

Как можно объяснить столь дружный отказ от, правда, не простой, но чарующей драматургии?

Тверд орешек! Он для грядущего, как видно, будет впору. Иль случая, быть может, ждет и ищет он. Придут новые Шаляпин с Мусоргским – и ларчик отопрут. Одно здесь не совсем понятно… как быть с тем, что Пушкин наш современник и, следовательно, все, что писал он, должно бы быть понятным и простым нам, его современникам. Так чего же мы все ждем прихода Мусоргских, Шаляпиных, Чайковских, а?

Никогда не перестану восхищаться простым и мудрым драматургическим ходом сопоставления таланта Сальери – таланта мощного, осознанного всеми (и более всех владельцем), но лишь поверенного высчетом и нормой, – с минутой вдохновенною Моцарта, несущей вечность в легкости своей.

Первый, мучаясь тщетно, ищет в себе гармонию созвучий, не спит всю ночь, поэтому сомнениями и завистью томим, как болью. Второй, борясь с бессонницей своею (и лишь бы как-то скоротать ночное время), родит шедевр.

К концу лишь первой сцены мы узнаем: мучения Сальери вершились ночью (поначалу кажется, что утром, ведь Сальери роняет реплику: «Послушай, отобедаем мы вместе в трактире «Золотого Льва»). Но, погружаясь в первый монолог Сальери, понимаешь, что это – ночь: нелегкой ночью только приходит мысль, чтоб вопрошать и небо и себя, а важное принять решенье лишь поутру. Нигде ни слова, что ночь прошла, что утро, сменив ее, идет навстречу дню, но входит Моцарт – и все кругом светло, и

зайчиком зеркальным на стене все заискрилось, как смех его, и взгляд, и шалость. Пришел талант, простой, как хлеб, и добрый, как вино…

«Мы все учились понемногу…»

А. С. Пушкин введен в школьную хрестоматийную программу, введен давно вместе с другими художниками слова, но, пожалуй, лишь о нем одном не скажешь: «Это мы проходили давно – и все забыли». Многие улетучились, кое-кто еле-еле теплится – Пушкина помнят все!! Это – поразительно!!! Обозначу лишь первые фразы, читатель сам продолжит стих дальше:

Зима. Крестьянин, торжествуя…

или:

Буря мглою небо кроет…

или:

Мороз и солнце, день чудесный…

И многие-многие другие первые строки можно было бы назвать.

Сальери – Николай Симонов – замечательный артист и, кажется (я встречался с ним лишь на съемках этой пушкинской вещи и в фильме «На одной планете»), прекрасный человек. Опыт с примерами, может быть, не по возрасту и времени наивен, но чистота, прозрачность и сама жизнеспособность стиха Пушкина позволяют мне прибегнуть даже к такой перезрелой непосредственности: отнюдь не умаляя значения кого бы то ни было, не желая ни сравнивать, ни упрекать в отсутствии поэтического дара (это было бы неверно и нелепо), предлагаю вспомнить стихи поэтов нашего времени, выученные в то же самое время, что и пушкинские. Не много вспоминается. А ведь они были, эти стихи из школьных программ, и их было много – вот ведь что удивительно… и даже поражает.

Пушкин стал у каждого из нас вторым и неотъемлемым «я», он стал нашими «генами», которые, хочешь ты того или нет, живут в тебе, да и все тут. Едва ли удивило бы, если какой-нибудь из российских подростков, не уча никогда ранее, вдруг обнаружил

бы зыбкое, неосознанное, но тем не менее знание стихов его. Если еще и не было подобного прецедента, то не потому ли, что стихи Пушкина, опережая возможность этого, предвосхищают сами дети, слишком рано и легко запоминающие то, что мы прочитываем им из его детского цикла. Правда, это уже из сферы довольно смелых, но и все же реальных предположений. Существовало же, жило такое чудо, как Пушкин, почему же не может следовать и такое его продолжение?

Я горд, что наш он, России сын.
И мы – его наследники и дети.

Пушкин удивительно национален. Национален в самом необходимом для художника слова: в корнях, в народности языка, в ткани самой сути своего творчества, без чего Пушкин не был бы Пушкиным, а Россия и народ ее не имели бы своего «духовника», своего исповеднического, нравственно-эстетического выразителя.

Не в этом ли, если позволительно будет предположить, суть того, что называется «пушкинской традицией» и в чем сам Пушкин традиционен?

Помните, как у Шекспира: кем бы ни были его герои, где бы они ни действовали – в Падуе ли, Вероне или Пизе – они унаследовали дух, плоть, манеру раскатывать мысль и сам язык у англичан. В какие бы костюмы ни рядились его персонажи, они – англичане. И это нисколько не обедняет их. Напротив, ими приобретается еще какое-то измерение: пласт, в котором это смещение позволяет национальному гордо и дерзко пребывать в общечеловеческом, в мире.

Уильям Шекспир, трагедия «Гамлет, принц Датский». Само название не без завидной конкретности указует, что Гамлет – принц, и не какой-нибудь там всякий-разный, а именно датский! И тем не менее, находясь в плену мощи таланта великого англичанина, забыв и о месте действия, Дании, и о некоторой причастности принца Датского к датскому именно престолу, мы «держим» его за истого англичанина (какое-то наваждение, не иначе!).

Не обошлось, как мне кажется, и без иронии автора, который, наверное, знал и эту свою власть над читающими его. Шекспир «заставляет» Клавдия отсылать Гамлета не куда-нибудь, а в Англию (и, думается, легенда, изложенная Саксоном Грамматиком, тут ни при чем: Шекспир достаточно часто отступает от нее, но Англия осталась, поскольку она нужна драматургу).

Улыбка Шекспира четко проявляется в раздвоенности персонажа и актера. Позволю себе попытку проследить это. Мой

текст содействует с шекспировским, где чей – расписывать не стану; опасность перепутать вообще исключена (когда прочел я это дочке Маше, она сказала: «Да уж, да уж… На сцене ты ловчей…» Младенец истину глаголет – ей скоро будет десять).

Гамлет (ошалело – «Вот те на!»). Как в Англию? (Не читается ли здесь: «А как это, позвольте вас спросить, смогу я отправиться из Англии – в Англию? Это уж что-то очень новое!»)

Клавдий («Послушай, не валяй дурака; так хочет автор – я здесь ни при чем»). Да, в Англию!

Гамлет («А-а-а!» Старается сделать вид, что понял, сам же – ни-че-го; это очень похоже на нас, когда мы вдруг осознаем, что все это, оказывается, происходит ни в какой не в Англии, а совсем наоборот – в Дании). Ну, в Англию, так в Англию… («Если хочет так Уильям – пожалуй! С ним спорить мы не вправе».)

Так и Пушкин. Но лишь сложнее, так как у него неодушевленные предметы даже приобретают добронациональные черты, звучание, рожденные народностью, землею этой и более никакой.

О чем бы ни писал он – о зиме ли белой иль о бруснике красной, о любви, томлении, страсти ли, о балах ли, народе (его вождях иль просто о мальчишке) – предметы эти все, и чувства, и явления никак не могут претендовать на монополию Руси: они есть всюду (зима во многих странах, соседних и заморских, точь-в-точь как на Руси у нас – морозна и бела; не так давно в Париже я едал бруснику: она была красна – о вкусе говорить не стану, о нем, как принято считать, не спорят, а в общем, было вкусно; и любят всюду; и балы такие же закатывали встарь…). И все же Пушкин волшебной силою таланта своего, нигде, однако, перстом не указуя, наделяет все и вся неповторимой прелестью причастности к Руси. Сомнений нет (не оставляет!), что за Русь бескрайняя – она. Все у него пропитано, напоено и воздухом ее и ароматом:

Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно…

Где, какой из малышей посадит в санки пса, а сам до боли, до того, чтобы потом отогревать дыханием ладошки, смеясь и плача (смятение и смешение чувств, как видно, давно родилось на Руси!), начнет его катать, как Сивка-бурка? Она же, Жучка, уверен в этом, будет восседать с милейшей умной мордою, как если б так и

надо, словно понимая, какой дает для Пушкина сюжет, чтоб тем России суть полней представить (не случайно Жучку курсивом Пушкин написал).

Все матери равны-похожи. Они повсюду готовы жизнь отдать за чад своих. И тем не менее здесь – наша мать, моя. В усердии своем в заботе обо мне сто крат прервет мое занятье, надоест, поизмотает нервы; успеет пригрозить по-доброму в окно, не выходя, однако, на мороз, так как забот и по дому хватает; но все же, улучив минуту, на улицу посмотрит, чтоб убедиться: все ли там на месте и как я там?..

Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов…

Не о себе ли написал он эти строки?

Не знаю, какое из грядущих поколений настолько будет одухотворено, что сможет встать вровень со смысловой уплотненностью при вольготно-спокойных ритмах и философско-психологических обобщениях его письма?

Какое уж там «современник», когда каждое новое поколение (а затем и последующее и т. д. и т. п.) с той же легкостью, если не с большей, и с большим правом завоеванного сможет привлекать его в свои современники!

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…

Ну-ка, современные!

Учиться. Учиться постигать и брать нам у него богатство языка, поэзии пиршество, плоды огромного ума и вдохновения, истинность поступков, непреклонность и открытость взглядов, гордыни светлой мощь, самозабвенное служение правде, людям и добру, высоких чувств невысказанный вздох и ненависть глухую к компромиссам…

Ну а о главном – самом главном в нем – словами нашими, хоть и заимствованными из лексики его, сказать совсем непросто. Здесь нужно, чтобы говорило сердце: ему лишь одному и внятно все и зримо (и если я пишу об этом, то мне диктует именно оно).

Возьмем любой набор простых, обычных слов. Нет, кажется, в них ничего такого, что б отвергало иль, напротив, поражало вниманье, сердце наше наповал. Но они содержат мысль (слова ли то, что мысли не содержит?), и злобу дня, и модные проблемы. В них есть упругий ритм и рифма не грешит – все есть (способностей не занимать нам!) Поэты-песенники, былинники и просто скоморохи, прапрапредки сегодняшних актеров – всем этим Русь со глубины веков и славна и полна. И это – так. Иначе б не было ни русской песни, ни действ пещных, ни прочих добрых игр: Ивана же Купала, и Масленица с ним, и Рождество Христово – из ярких, сочных праздников народных перекочевали б в серое ничто. И не было бы «Слова о полку Игореве» – этой нашей «первой печки», от которой «танцуем мы вприсядку и всерьез…»

Все есть…

И вместе с тем порой неловкость чувствуешь, услыша складный и красивый тот набор и слов простых, и звуков умных. Пусть не всегда бывает так, но, в общем-то – увы! – бывает; и много реже бывает все наоборот. А чаще: «Не то… не то…»; иль вы не в духе нынче: кого-то вроде жаль; и неудобно почему-то; как если бы вы вспомнили поступок свой дурной или нелепый – и краскою стыда вас обожгло до вздоха. «Не за себя ли?» – искренне все силимся спросить. Не знаю, может быть, и за себя (так – легче).

Исчерпывающе простых ответов нет.

Канон хрестоматийный отметая, берешь его, листаешь…

Примерно тот же слов набор, что прежде: обычных и простых, но только – только! – расставленных в иную мысль и место – и льющихся по-своему! Все разом освещается, живет и дышит поэзии Божеством. Без потуг, без схваток родовых течет музыка слов и чувств, и мыслей – и ты уже захвачен им и пьешь живой родник, как путник, наконец дошедший до влажного оазиса в пустыне, как хорошо, и просто, и полно.

Небрежный плод моих забав,
Бессонниц, легких вдохновений,
Незрелых и увядших лет,
Ума холодных наблюдений
И сердца горестных замет.

Какая легкость и какая стройность!
Ты, Моцарт, бог…

Так мы, живущие сегодня, из поколенья в поколенье, поем поэзию его и славим память «печальную и светлую» о нем самом.

1973 г.

«Берегись автомобиля»

Браться за работу над образом Юрия Деточкина было соблазнительно в силу необычности этого характера и его поступков, но одновременно и тревожно. Что это – трагикомическая роль? Не скрою, после князя Мышкина, Куликова в «Девяти днях одного года» и Гамлета хотелось шагнуть в область нового, но что там, в том мире смеха и слез? Вдруг будешь не только скучным, не только смешным, но, самое страшное, неживым, неестественным? Вдруг в погоне за жанром, комедией, в старании быть обязательно смешным потеряешь главное – человека? Я четко понимал, что в подобном материале – это провал. Много раньше, в театре, я довольно часто играл всяческих комедийных мальчишек, и это вроде бы получалось. Но то совсем иное, то был юмор представления, эксцентрики, юмор острых театральных мизансцен, движений и каких-то актерских, да и режиссерских выдумок, «штучек-дрючек» – так в нашей среде принято называть такое.

В кино же, а особенно в таком образе, как Деточкин, подобный юмор был невозможен. Он худо сказался бы не только на образе, но просто пагубно и на самой идее фильма. А кроме того, сама фигура Деточкина в сценарном прочтении не только не находила во мне симпатии, но казалась чудовищно неправдоподобным вымыслом.

– Где же это он брал такую уйму свободного времени, счастливец? Работая в страховой конторе, он еще должен был выслеживать жуликов, включать их в своеобразную картотеку, затем красть автомобили и сбывать их в других городах, возвращаться обратно, оформлять «документацию», связанную с только что завершенной командировкой, и через какое-то время все то же самое и сначала.

Его поступки представлялись мне спорными настолько, что, прочтя повесть, я не понимал, как можно или, вернее, как должно воплощать этого чудака, чтобы кинематографическое изложение сюжета не носило характер анекдота, хорошо рассказанного, но все же анекдота. Герой с такими-то поступками? Явное комикование. Пугало все, особенно жанровость, плотность ее, граничащая с чрезмерностью.

В кино, так же как и в жизни, – то, что одних настораживает и пугает, других радует и вдохновляет. Этим другим впоследствии оказался сам режиссер Эльдар Рязанов. Между нами довольно часто можно было услышать такое:

Актер. Но, позвольте, как же это так, это же неправда…

Режиссер *(он же и соавтор сценария). О, это прекрасно! Только вчера со мной был аналогичный случай. Иду я…*

Актер. Прости, пожалуйста, ну а этот эпизод? Это уж явное выдрючивание, выкаблучивание, этакое «давайте посмешим…»

Режиссер (тонко чувствующий природу смешного). О, это так грустно, плакать хочется…

Актер (наконец-то нашел в сценарии смешной кусочек текста и даже хихикнул вслух). Вот разве только это место – действительно, смешно и мило.

Режиссер. Его не будет, оно выброшено.

Короче говоря, сомнения одолевали меня. Но посомневаться, подумать, разобраться, где я прав, а где мною руководили предвзятость или обычное незнание, мне не удалось. Очень уж был силен напор со стороны съемочной группы. Телеграммы шли одна за другой. «Выделите три дня приезда Москву кинопробы Деточкина. Рязанов». Снимаясь в фильме «На одной планете», я не мог никуда ехать, и тогда съемочная группа во главе с Рязановым прикатила в Ленинград. В фильме «На одной планете» я душой и сердцем ушел в работу над образом Владимира Ильича Ленина. Создание этого образа требовало напряжения, сил, всего меня безраздельно и ежечасно (вместе с гримом мой рабочий день составлял тринадцать-четырнадцать часов). Мысли мои и воля были там, и появление съемочной группы Рязанова в тот напряженный период в Ленинграде было как гром среди бела дня. Во время войны это было бы похоже на высадку десанта. Я долго отказывался сниматься в кинопробе, ссылаясь на обычную человеческую усталость, но этому никто не внял. А еще говорят «человек человеку – друг, товарищ и брат»…

Их было восемь человек – режиссер, два оператора, художник по костюмам, гример, ассистент оператора, ассистент режиссера и директор картины. Все они приехали в Ленинград, чтобы снять со мной кинопробу – только за этим. И мне пришлось покориться. Измученный после трудоемких рабочих смен, я что-то такое изображал на съемке. И ожидать чего-нибудь сносного от подобного мероприятия было бы явным самообольщением. Но тем не менее Эльдар Александрович заявил, что поиск характера направлен точно к сути образа и что он уже просто видит, как все будет хорошо и здорово. Группа сняла пробы и уехала. И из Москвы днями позже посыпались оптимистические звонки о необыкновенно удачных пробах, о том, что характер в основном найден и что можно и должно двигаться дальше. Я в Ленинграде недоумевал. Группа в Москве ликовала. Все было как в кино. Но вскоре пошли больничные листы. Врач бесстрастно произносил непонятное слово

«гипотония», ощущение же вполне определенное, мерзкое – тяжелая голова, вялость и боль в висках от малейшего движения.

И в группе «На одной планете» наступил простой. Я понимал, что это надолго, и счел разумным и честным отказаться от роли Деточкина, послав об этом телеграмму на «Мосфильм». Сам же уехал за сто километров от Ленинграда, на дачу, чтобы прийти в себя, отдохнуть, подлечиться.

Лили дожди. Кругом обложило.

Была та самая погода, в которую, как говорят, хороший хозяин собаку свою во двор не выпускает. Одиннадцать километров размытой проселочной дороги в сторону от шоссе превратили наш поселок – Горьковскую – в недосягаемый для обычного человека уголок. Ну, разумеется, все это ни в малой степени не могло смутить того, кто сам стихия и бедствие. Поэтому режиссер Рязанов из Москвы до Ленинграда летел самолетом, в Ленинградском аэропорту сел в такси и «приплыл» в Горьковскую. Все легко и просто. И это в ответ на такую миролюбивую и понятную телеграмму: «Москва «Мосфильм» кинокартина «Берегись автомобиля», директору Е. Голынскому режиссеру Э. Рязанову. Сожалением сниматься не могу врачи настаивают длительном отдыхе пожалуйста сохраните желание работать вместе другом фильме будущем желаю успеха уважением Смоктуновский».

Не знаю, но, по-моему, в этой телеграмме довольно трудно вычитать: «Дорогой, приезжай, прилетай, скучаю, жду, целую. Кеша». И тем не менее слышу легкий шепот сына Филиппа: «Папа, вставай, дядя приехал». Чувствовал я себя из рук вон худо, с трудом открыл глаза и онемел от увиденного. Режиссер стоял в проеме двери, весь в черном, с него стекала вода, и почему-то шел пар. Он очень хорошо и просто-просто улыбался (это он решил делать, еще «подплывая» к даче). А реальность своего появления и вообще бытия он усугубил фразочкой тоже простой-простой: «Здравствуйте, Кеша!» Так, надо полагать, в далекой древности появлялись и обращались к народу добрые святые.

– ??!!

Вопросительные, восклицательные и всякие другие, не менее удивительные знаки, которые еще не успело придумать надеющееся на справедливость и такт наивное человечество.

– Ну, что ты вытаращился на меня? Это я, Эльдар. Вчера у нас в группе был твой Жженов и рассказал, как до тебя добраться.

Глядя на меня, он постепенно стал осознавать, что человеку, уставившемуся в одну точку тяжелым взглядом, совсем не до гостей, не до шуток, и уж если это происходит, то говорили бы поспокойнее да потише, и это одно уж было бы благо. Вообще

должен сказать, что он хотя и режиссер, но человек довольно добрый и наблюдательный, так что увидеть ему все это было не так уж трудно. Придя наконец в себя, я понял, что сын ошибся: приехал никакой не «дядя» и совсем не режиссер, а обычный Дед Мороз. И чем невероятней было его появление в столь неурочный час, тем щедрее сыпались его «подарки»:

– Будешь отдыхать ровно столько, сколько понадобится: месяц – месяц, полтора – полтора. Хочешь быть вместе с семьей – снимем дачу под Москвой, будь с семьей. Не хочешь сниматься в Москве, трудно тебе, врачи у тебя здесь? – хорошо, будем снимать натуру здесь, под Ленинградом. Приезжали же мы сюда для кинопроб, хотя это было нелегко, приедем и для съемок. На съемках неотлучно будет присутствовать врач – говори, какой нужен?

Вошла Соломка (это моя жена). Узнав, зачем пожаловал гость, она, накрывая на стол, недружелюбно молчала. Ей важно было, чтоб я вылечился, отдохнул, а не впрягался в новую работу, не завершив старой. Режиссер продолжал сыпать из рога изобилия, все время разворачиваясь в ее сторону: он чувствовал ее недоброжелательность и ему важно было сломить ее.

– Прикрепим человека, который помогал бы вам по дому, мало – двух. Вы напрасно машете – у нас есть возможность…

Жена то входила, то выходила, а режиссер, сидя в центре комнаты на обычном табурете, завершил полный оборот и пошел на вторые 360 градусов. Несмотря на свою тучность, он довольно легко вращался.

– Мы создадим вам «голливудские условия». – Он так и сказал: «голливудские условия».

Температура у меня упала вместе с давлением. Я не совсем, правда, понимал, что он подразумевал под «голливудскими условиями», но позже, уже во время съемок, когда отсутствовал буфет, или назначали ночные смены, в которых не было никакой необходимости, или снимали в выходные дни, в субботу и воскресенье, или просто-напросто отказывала съемочная аппаратура, – все в группе знали, что это вызвано «голливудскими условиями», никто не роптал, все были рады проявить интернациональную солидарность с несчастными заокеанскими кинематографистами. Мы ведь все так хорошо воспитаны в духе интернационализма!

В ответ на все эти посулы жена продолжала упорно молчать. Режиссер, несколько побледнев, но все так же вращаясь, вдохновенно продолжал, адресуясь теперь уже только к ней. Он понял, у кого в нашей семье волевое начало. Вообще он дока, этот режиссер Рязанов. К тому же он получил довольно полную

информацию обо всем и вся от нашего доброго друга Георгия Жженова, который вот уже четверть века, с 1946 года, пользуется нашей любовью и доверием. И лишь неделю назад он был здесь, у нас на даче, кстати, по заданию этого же режиссера Э. Рязанова.

– Облюбуем здесь, под Ленинградом, какое-нибудь шоссе и днем будем снимать, а вечером будем приезжать и копаться в земле. Это так отвлекает, правда ведь?

Соломка продолжала хлопоты по дому. Когда же Рязанов совершил пять или шесть оборотов, я поймал себя на мысли, что не столько слушаю, сколько смотрю на то, как ему неловко, должно быть, на обычном табурете, а вертящегося стула у нас на даче нет.

– У нас на даче, к сожалению, нет… извини… – неожиданно высказал я свою мысль вслух, разбивая «маниловские» излияния режиссера.

Не дав мне закончить, он взревел:

– Чего нет? Земли? Навезем! У нас будут три-четыре грузовые машины – все в нашем распоряжении! А хотите, мы устроим у вас на участке субботник или, лучше, воскресник, а?

Жена молча, как-то вдруг скорбно прошла по комнате и ушла в кухню, прикрыв за собой дверь. Я остался один на один с режиссером. Из него била энергия, у меня же был бюллетень. Но именно в этом режиссер Эльдар Рязанов, должно быть, находил нашу общность. Он резко развернулся ко мне, я даже напугался, – хватит, мол, болтать.

– Слушай, Кеша, вчера был худсовет. Мы показывали пробы… Складывается очень удачный ансамбль… Следователя будет играть Олег Ефремов – тебе от него большой привет. Мать Деточкина согласилась играть Любовь Ивановна Доброжанская – а она просто пришла в восторг, когда узнала, что ты будешь ее сыном. В фильме будут сниматься Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, Ольга Аросева, Андрей Миронов, Георгий Жженов. У всех у них прекрасные пробы…

– А моя что? – не выдержали актерская самовлюбленность и эгоизм. Хотя эти черты характера, учитывая, что их владелец болен, могли бы и подремать.

– Твоя? Прекрасная! Но что у тебя с буквой «р»? Ты начал слегка картавить, грассировать, за этим тебе надо будет проследить. Да, у нас там случай смешной был. Наш администратор Алеша после просмотра проб подошел ко мне и спрашивает: «Как же это вы Смоктуновскому после всех его положительных ролей, после Гамлета предлагаете играть жулика и воришку?» – «Ну, во-первых, Деточкин никакой не жулик и не

воришка, а честный человек, – говорю я ему. – Это во-первых. А во-вторых, он ведь будет играть Деточкина не в гриме Гамлета. И, наконец, в-третьих, что самое важное во всем этом, закажи мне, пожалуйста, билет на самолет в Ленинград на завтра, в первой половине дня, и больше не приставай ко мне с подобными расспросами, а то я не убежден, что наша администраторская группа не перетерпит каких-нибудь изменений в ее составе». Все кругом смеялись. В твоей пробе получилось главное – честность, непосредственность, наивность. И, кроме того, та странность, которая в этом персонаже необходима.

– В таком персонаже это основное, – согласился я.

– Кеша, ты должен сниматься. Пойми, я чувствую, что мы с тобой сможем сделать хорошую картину.

– Не будь этого дурацкого давления, я бы не позволил тебе упрашивать меня. А я не знаю, как долго это продлится.

– Мы будем ждать. Мне нелегко, правда, это будет организовать, студия будет давить, ну, сам знаешь – план, и все же мы подождем.

– Да, но ты даешь мне совершенно определенный срок – в конце августа надо начинать съемки?

– Если будешь в норме. Если нет – ты понимаешь, я не стану принуждать больного человека.

Голова у меня была тяжелая-тяжелая, не хотелось ни говорить, ни слушать, единственное желание – лечь и закрыть глаза.

– Хорошо, буду здоров – приеду.

– Прекрасно. Пиши расписку.

– Какую расписку? Эльдар, побойся Бога, мне худо, а ты – какую-то расписку.

– После твоей телеграммы с отказом от работы дирекция уже не поверит, что ты будешь сниматься. Кроме того, без подобной расписки мне никто не позволит перенести начало съемок на полтора месяца. Что ты боишься – это чистая формальность! Вот бумага, карандаш, я прихватил все с собой. Знаю я вас, актеров! Скажете – бумаги нет или карандаш сломался. Вот, пиши.

Я взял карандаш и написал: «Расписка…»

– Ну что ты, Кеша, так неудобно, – сказал Рязанов. – Это же не денежный документ. Ты просто должен написать, что будешь сниматься у меня, но более интеллигентно, без этих…

Я покорно зачеркнул слово «расписка» и сказал:

– Диктуй.

Вот что мне продиктовал режиссер Э. Рязанов:

«Директору творческого объединения товарищу Бицу И. Л.

Уважаемый Исаак Львович!

Через месяц я заканчиваю съемки «На одной планете» и какие-то еще необходимые досъемки по «Первому посетителю». Эльдар дает мне на «ремонт» месяц после окончания съемок. Так что с 26–27 августа я смогу быть в Вашем полном распоряжении и начать трудиться в Деточкине.

Желаю всего доброго, с уважением Смоктуновский».

Когда я писал расписку, в комнату вошла жена и взглянула на меня. Мне показалось, это был не самый нежный взгляд, которым можно одарить больного человека. Я оказался между двух огней. При этом стало как-то неуютно, холодно, до неприятного озноба в спине.

Я кончил писать, и режиссер вроде нехотя положил мою расписку в портфель. Обед был давно готов, и мы все хором, почти молча, пообедали. Раза два он было пробовал говорить, что более вкусного супа он никогда не едал. Соломка хмыкнула, но смолчала. Она в дождливую погоду всегда молчит. Что-то мы такое обмолвились, что в Англии опять бастуют, а наши запустили снова спутник. О том, какой разговор произошел между женой и мною потом, я говорить не стану. Она только спросила, как моя голова, я вроде бы ответил «хорошо», потом она опять что-то такое сказала о моей голове… и, помнится, не очень уважительное. Ну да ладно, голова как голова, и нечего о ней говорить. Бывают много хуже.

Наконец кончились съемки в Ленинграде. Я себя чувствовал лучше, но, правда, не настолько, чтобы уже впрягаться в новую работу. Однако расписка моя была у режиссера, и по ней, как по всем распискам, надо было платить.

И вот я приехал в Москву, чтобы приступить от проб, телеграмм и разговоров к делу. Действительно, приехал в двадцатых числах августа. И был по-кинематографически восторженно встречен группой – настолько радушно, что это настораживало. И все время меня не покидало ощущение, что от меня чего-то ждут или что-то скрывают. Во всяком случае, должно вроде бы произойти нечто, что поставило бы всех нас в нормальное, рабочее человеческое состояние, чего, как мне казалось, покамест напрочь не было.

Ничего не понимая, я робко заикнулся о том, что было бы недурно посмотреть те самые кинопробы. И на это откликнулись

не только с охотой, но это было сделано с каким-то повышенным энтузиазмом, и едва ли не вся группа отправилась вместе со мной (чего я уж совсем не ожидал, да и не хотел) в просмотровый зал. Я люблю смотреть свой материал один. Сидишь себе и смотришь, никому ты не обязан объяснять, что ты видишь и чего ты не увидел, – благодать, да и только. А здесь полный зал народу. Ну да ладно… Я сел вдали от всех, чтобы точнее увидеть, что же мы там тогда натворили, что привело группу в такой восторг.

Рядом в кресло грузно опустился Рязанов – оказывается, его не было, его ждали. Он задохнулся, спеша, и сейчас глубоко переводил дыхание. Я был ему просто благодарен за доброе, уютное, человеческое сопение. Начались пробы.

И… из огня да в полымя… Меня охватило чувство неодолимого стыда. Стало жарко. Я уже не очень-то видел, что происходит на экране. Мне хотелось только, чтобы подольше была темнота, чтобы как-то прийти в себя под ее защитой. На экране метался и что-то говорил несчастный, усталый и явно ненормальный человек. Дали свет. В зале было тихо-тихо. Рязанов смотрел вперед, перед собой. И явно ждал, чтобы заговорил я. Все ждали. Дальше молчать было уже нельзя.

– Да-а-а… – Единственное, что можно было промычать мне в подобном положении. – Ну что же, мне стыдно. Вы своего достигли. Это сфера клиники, но не кино. На экране больной. Такое не показывают, такое лечат. Хочется вызвать неотложку. Что же ты ничего не сказал мне об этом? К такому хочется подойти и попытаться погладить по голове, пожалеть. Это же прекрасное наглядное пособие для курсов усовершенствования медсестер.

Краем глаза я увидел, а скорее, просто почувствовал коллективный вздох облегчения. И я понял, что беспокоило всех в съемочной группе, почему они все были неискренни. Половина из них просто-напросто не хотели, чтобы снимался я.

– Мне хотелось, чтобы это тебя самого шибануло, – тихо сказал режиссер. – Мое замечание могло тебя обидеть, ощетинить, а так, видишь, как славно. Я рад, что ты это сказал, а главное, что сам увидел и почувствовал.

– Ах, как стыдно…

– Не казнись, не надо. Прости меня за этот экзамен. – Он сделал ударение на слове «меня». – После того как ты воспринял свою кинопробу, можно совершенно спокойно приступать к работе. Я опасался, а вдруг…

Я смотрел куда-то вбок, в стену, у меня горели щеки.

Так началась работа над образом Деточкина.

Не сразу постиг я, как надо работать, существовать в комедии, и только после того, как были сняты первые эпизоды,

что-то вроде наметилось, начало вырисовываться.

Полная вера в предлагаемые обстоятельства, серьезность с той долей внутренней эксцентрики, которую позволяет и требует данная сцена, данный образ, – именно этого требовал от нас, актеров, наш режиссер.

Тонко чувствующий природу комедийного в простых и сложных человеческих отношениях, Эльдар Александрович всячески культивировал в нас чувство правды. Особенно это проявилось в подборе актеров.

Достаточно было взглянуть на список исполнителей, чтобы убедиться, что здесь был более глубокий подход, чем обычно бывает в комедийных фильмах.

И в самом деле. Значительная и мудрая Любовь Добржанская, всегда точный, мужественный и глубокий Олег Ефремов, умный и тонкий Евгений Евстигнеев, обаятельный и простой до хроникальности Георгий Жженов, эксцентричный, дерзкий и легкий Андрей Миронов. За каждой фамилией – биография серьезного драматического актера, и все они были отобраны из огромного количества актеров, знающих и чувствующих комедию.

Смелый эксперимент? Наверное, было и это в той мере, которую требует всякий творческий поиск, не больше, но основное – это точное знание того, что хотел режиссер. И это желание, набирая по крупицам, реализовалось в ощутимый и зримый результат.

Режиссер знал, что все свои творческие намерения он может выразить только через человека – актера. Актеры благодарно полюбили его, как своего друга и доброго наставника.

Для самого Эльдара Рязанова эта работа была во многом нова. Он сам это знал и говорил, что, пока он не найдет нужных ему актеров, начинать съемки не будет. И случай, когда актер, живущий в другом городе, не мог в силу занятости приехать на кинопробу и к нему выехал весь съемочный коллектив, красноречиво доказывает, что это были не только слова. Рязанов точно знал, чего хотел, чего искал. Он сумел потом все это собранное воедино поставить и выявить в своем фильме. Я проникаюсь к нему не только благодарностью, но и нежностью за чувство ответственности и обязательности режиссера.

Это не часто.

Мой режиссер Ромм

Прекрасная киноактриса, жена и друг Михаила Ильича Ромма, Елена Александровна Кузмина, репетировала в Московском театре-студии киноактера в маленькой пьесе Бернарда Шоу «Как он лгал ее мужу». Я был ее партнером. Это были мои первые робкие шаги на столичных подмостках. Елена Александровна, очевидно, рассказывала Михаилу Ильичу дома об этих наших репетициях и что-то, наверное, обо мне. Рассказанное запало в нем добрым желанием встретиться со мной в какой-нибудь, хотя бы небольшой работе.

Михаил Ильич снимал в ту пору «Убийство на улице Данте». Однажды Елена Александровна сказала, что Ромм просит меня приехать на студию в группу, с тем чтобы посмотреть, не подойду ли я на эпизодическую роль нагловатого молодчика в «банде» главного героя. Я пришел на студию.

Что такое студия, группа… что из себя представляют люди, снимающие кино, наконец, кто такой Ромм?.. Ничего этого я никогда не видел и не знал. Это было первое приглашение меня в кино. Кроме неприятной истомы в коленях, никаких иных ощущений от этой моей «премьеры» не помню. Надо полагать, были и другие, не столь острые, должно быть. И чтоб как-то совладать с этой неожиданной реакцией собственных колен, я принялся вышагивать из угла в угол, шарнирно выбрасывая вперед непослушные ноги.

Михаила Ильича пока в группе не было. Через некоторое время я заметил, что на меня смотрят с каким-то повышенным интересом. Я хотел было объяснить, что к чему, но мне вдруг сказали, чтоб я не «маячил» перед глазами, а сел и тихо подождал. «Маячить» я и сам не люблю, поэтому сел с охотой и внутренней благодарностью, что есть, наконец, возможность взять колени в руки.

Вскоре пришел Ромм. Потом в комнату понашло каких-то людей, с которыми Михаил Ильич поочередно здоровался и говорил. Я был несколько поодаль, в углу, и, взглянув туда, он кивнул мне – «здравствуйте», дескать.

Но сделал он это так легко, что утверждать: кивнул не кивнул, мне не мне – было, пожалуй, нельзя. В замешательстве я оглянулся, но у стены никого больше не было. Боясь показаться невежливым, я вскочил, но Михаил Ильич уже отвернулся. Знакомство не состоялось. Я стоял, ждал, потом подумал и сел. Было видно, что ему совсем не до знакомств, что он куда-то спешит или кого-то ищет, поэтому разговаривал с ассистентами и

актерами, хоть и живо, но мыслями был где-то еще. Подходить же и спрашивать: «Чем вы озабочены?» – было, мне кажется, не совсем удобно. Мы еще не были знакомы, и я продолжал сидеть, подчиняясь логическому выводу: если уж «маячить» нельзя, то «высовываться» тем более. Уходя, Михаил Ильич опять окинул комнату взглядом, снова коротко посмотрев на меня, что-то прибросил в уме, но, видно, отказавшись от своего предложения, отвел взгляд. Не давая ему уйти, на него снова «набросились» жаждущие общения актеры. Разговор длился еще некоторое время, и, завершая его, Михаил Ильич обратился к ассистенту:

– Здесь должен прийти такой артист… Смоктуновский… Пафнутий… Проводите его ко мне на площадку…

– Он, кажется, уже здесь, вот он…

Повернулся он ко мне не сразу. За это время я успел вскочить и еще даже немножко подождать, стоя, а когда он повернулся… О! Это было очень интересно. На лице у него кроме очков было еще что-то вроде «вот те на!» Но это было лишь в первое мгновение. А может быть, я фантазировал? А может, просто показалось от смущения… Да еще и потому, что когда в театре я сказал товарищам по работе, что меня вызывает Ромм, на меня посмотрели сперва с недоверием, а потом с завистью и сказали: «Ух ты!.. Он тебя вызывает? Это же первый наш режиссер» (точно фраза была такой: «Это же наш первач!»).

А Ромм ни на какого «первача» похож не был, совсем, то есть напрочь. Ничего такого в нем «первейшего», на что можно было бы воззриться, обалдеть и лишь выдохнуть: «Вот эта да!» – не было. А был – Человек, и это виделось сразу. Человек красивый. Человек умный, достойный. Человек, как мне показалось, не только могущий думать, общаться, ставить фильмы, но и ошибаться – он ведь меня не узнал…

Он светло, по-доброму, чуть ли не с чувством извинения двинулся ко мне. Я быстро, опережая, пошел ему навстречу. Он улыбался. Не знаю уж почему, может быть, «виною» тому неловкость этой первой встречи, но относился он потом ко мне всегда нежно и уважительно.

Казалось бы, я должен опасаться быть необъективным в воспоминаниях о нем. Но если будет позволительно прийти к такому нескромному и парадоксальному выводу, то совсем не боюсь. Ибо знаю, убежден: этого человека переоценить довольно трудно.

Боюсь, смущен другим. Мои воспоминания о нем – это тот отрезок жизни, в который мне посчастливилось, повезло работать и встречаться с ним. И чтобы написать об этом, мне неизбежно предстоит обращаться к «он и я, я и он». И в этом одном уже хотя

и невольная, но безудержная хлестаковщина: «…французский посланник, немецкий посланник и я».

И все же иду на это, потому что буду писать только то, что было, то есть правду, и ничего кроме. Но писать буду обо всем этом как могу, как вижу.

…Соавтор Михаила Ильича Ромма по сценарию «Девять дней одного года», Даниил Храбровицкий, поймав меня на лестнице студии за рукав, как контролер безбилетника в трамвае, сказал, что предложил М. И. Ромму снимать меня в роли Ильи Куликова, на что Ромм-де, мол, после секундного раздумья, «поддержал» эту добрую мысль фразой: «Да вы с ума сошли!» Тон Храбровицкого не оставлял никаких сомнений, что это было именно так. Такой пересказ, помню, меня не очень вдохновил…

И все же я взял сценарий у Храбровицкого и прочел его единым дыханием, проглотив, выпив его. Хохотал, плакал, уходил куда-то вдаль от реального, радовался бытию, играл, проигрывал вновь и был предельно возбужден. И, как помнится, не спал. Сценарий был так хорош, образ Ильи поражал. Такая законченность в кинодраматургии – случай редчайший, если не единственный за мою практику.

Наверное, и отверженность режиссером обернулась определенным допингом в восприятии мною этого совершеннейшего для той поры сценария. Уж очень все было хорошо в нем, как тот запретный плод, но сказать, что он зелен, я не мог даже тогда. Напротив, я знал, что я «дотянусь», «сорву его», сделаю это сам, покажу, что я могу много больше, чем предполагают «всякие там первачи-режиссеры».

Внутри зрело, поднималось осатанелое желание доказать, убедить и… победить. Все же я был приглашен на пробу ассистентом режиссера. Пришел на репетицию. Затаился. Хотелось посмотреть, как ведет себя, как выглядит режиссер, которому, вопреки его желанию, подсовывают неугодного ему актера.

Репетировали сцену с уже утвержденным Гусевым-Баталовым. Михаил Ильич был прост, спокоен, и ничего такого, что могло бы обнаружить или, того хуже, как-нибудь неприятно выявить его отношение к этой бросовой репетиции со случайно подсунутым ему актером, я не видел. Единственное, что было необычно, вернее, неожиданно для подобной репетиции, – то, что во время нашего с Баталовым диалога Михаил Ильич Ромм вдруг заразительно захохотал. Я, не прерывая диалога, косил глазами в его сторону, стараясь увидеть, понять природу этого веселья. Этот мой взгляд приняли за проявление эксцентричной натуры Куликова. Хохот усилился, перейдя в сплошной и долгий.

Закончили этот отрывок диалога уже под дружный смех всех присутствующих и даже прослезившегося, симпатично стонущего Михаила Ильича. Я был удовлетворен, счастлив и мелко дрожал от ощущения власти, силы творчества, так сказать: захочу – будут смеяться, а захочу – будут и плакать.

Михаил Ильич утирал слезу. Кто-то гладил меня по плечу, хихикая в ухо. Храбровицкий, сидя в кресле, перебрасывал ноги с одной стороны на другую и, перегибаясь, словно у него болел живот, в голос хохотал: «Помогите, мол, ну, что делает? Уморил, мерзавец!» Сам я, видя, сколько дровишек поналомал, хохотал не меньше других, озираясь, ища на лицах подтверждения: «Правда, здорово? Верно ведь?..»

– Даже не предполагал, что это можно пустить по этакому руслу. Очень смешно, Кеша, дорогой, очень смешно, интересно, необычно, смело. Ничего не скажешь… – И неожиданно: – Но совсем не то, что мне хотелось бы, дорогой.

Ощущение победы, ликования как корова языком слизнула: «Ну да, конечно, у меня все не так, не то и не туда… А сам только что слезу пускал», – подумалось. Но сказал другое:

– Ну а что же, в конце концов, нужно, Михаил Ильич, дорогой?

– Избалованность, уверенность в себе нужна, нужен барчук с округлыми жестами, ленцой, не хорохорящийся, не эксцентричный – этого в тебе самом с избытком – а простой, легкий, ироничный и бесконечно добрый. И что самое необходимое – умный. Да перестань теребить пуговицу – видишь, какой нервный! А вот у него, у Куликова, пуговицы на его пиджаке должны уметь думать. Для него мыслить – значит жить, это его норма.

– Норма пиджака, что ли?.. – метнулась мысль. Страшное желание разоблачать, упрекать распирало меня, но сжав челюсти, молчал. Может быть, предложить сменить пиджак, взять с другими пуговицами или эти, немыслящие, спороть? Боясь рассердить, насторожить, промолчал и об этом, сказал что-то совсем другое. Было тяжело.

Уверенности поубавилось сразу и изрядно, желание утвердиться в роли и убедиться в доброжелательности режиссера ко мне осталось, став лишь оголтело-озлобленным. Естественно, озлобленность я старался скрыть – я улыбался. Общая же атмосфера на съемке этой пробы была доброй, рабочей и одновременно домашней. Делали варианты, все были довольны. Михаил Ильич в конце смены обнял меня и объявил:

– Думаю, все будет хорошо. Группой (так называется коллектив, который будет снимать картину) вы уже утверждены.

Поезжайте спокойно к себе в Ленинград, отдыхайте, набирайтесь сил, вальяжности, покоя. Вам позвонят. Координаты ваши взяли? Ну и прекрасно. До встречи. Да и что это вы все время как-то странно улыбаетесь?.. Это вас не украшает. До свидания!

Все целовали, обнимали, трясли руки, хлопали по плечу, говорили всякие хорошие слова, а в рамке зеркала гримера, разгримировываясь, я увидел воткнутую бумажку, заявку на следующий день, где черным по белому было написано: «Кинопроба. Гусев – А. Баталов. Куликов – Юрий Яковлев в 11.00; в 13.00 Куликов —… (следовала очень известная фамилия, и еще какие-то две незнакомые фамилии, от которых веяло полнотой и вальяжностью, из чего можно было заключить, что Куликов пошел валом, косяком, как селедка, и Куликов этот был и холен, и вял, и толст, и ироничен).

Праздника не было. Ощущение пустой, холодной ненужности одиноко провожало меня со студии, смотрело долго в спину – в душу, пригибало, сутулило, стирало прочь с земли…

Пробовали многих. Сноб сменял уверенного баловня, последний уступал место современному Обломову, а тот, в свою очередь, предшествовал внешнему изыску и холености очередного типажа. Пробовали даже одного известного, не в меру располневшего в ту пору кинорежиссера, и тот грузно колыхался в калейдоскопе проб этого непростого персонажа, физика-теоретика Ильи Куликова.

Она манила, эта роль. Манила многих и многим. Была остра, свежа и необычна для того времени своими человеческими качествами. Появление такого характера в кино, а может быть, вообще в советской драматургии было делом необычным настолько, что заставило большинство проходивших пробы актеров считать Илью не только второстепенным героем, но и просто-напросто отрицательным персонажем, выведенным только для того, чтобы положительный герой был и впрямь положительным, без каких бы то ни было колебаний, сомнений и светотеней.

У меня же, напротив, ни в малой степени не возникало никаких мыслей о том, что Илья Куликов с каким-нибудь социальным, духовным или того хуже нравственным изъяном. Для меня он был не только положительным-переположительным, но, как это ни странно может показаться, вообще герой картины, один, единственный. Ну, правда, это тоже, может быть, крайность, продиктованная актерским эгоизмом. Впрочем, все это можно отнести к рабочей гипотезе, платформе, наличие таковой помогало Михаилу Ильичу и мне идти к человеку, которого мы и

преподнесли зрителю в фильме, человеку высокого ума, легкой, но отнюдь не легкомысленной натуры – натуры сложной, глубокой, красивой и безмерно, по-детски ранимой.

Когда в Карловых Варах на пресс-конференции, где Илья Куликов был признан наисовременнейшим, глубоко положительным героем, мне был задан вопрос: «А как вот, мол, подобный герой, а точнее, исполнитель этого героя относится к известному традиционному «треугольнику», где ему уготована незавидная роль третьего лишнего?» – чувствуя выгодность позиции, почти не задумываясь, я выпалил, что никогда не считал и не считаю его третьим. Он первый. И единственный. И если она ушла от него к тому, к другому, то хуже от этого только ей, да еще, может быть, тому, к кому она ушла. Раздались хохот, аплодисменты. Михаил Ильич весело крикнул: «Прекрасный ответ!» – он бывал прост и непосредствен до детскости.

Уже снимая так называемый «полезный метраж» фильма, мы все еще продолжали репетировать, искать, прилаживаться и, как у нас принято говорить, притираться. Было острое стремление поставить себя, партнеров в ситуацию более близкую, чем это можно вычитать даже в столь добротном сценарии с первого, пятого, десятого раза прочтения. Мы, работники кино и театра, называем такое «распахиванием» или «погружением в материал». Нам довольно часто приходится слышать сочувственную фразу: «Как это вам удается запомнить такую уймищу текста наизусть?» Ах, если бы знали эти спрашивающие, что бывают такие времена в самочувствии актеров, когда знание огромных, сложных текстов наизусть – ничто, просто отдых по сравнению с постоянно ускользающим правом на произнесение этого текста! Ведь надо, чтобы текст этот произносился не вами, но тем персонажем, которого вы обязаны найти в себе, и чтобы персонаж этот был единственным правомочным рупором этих слов. Только тогда весь выученный вами текст, а вместе с ним и образ-характер станут убедительными и живыми. Вот труд. Вот гранит, алмаз и глыба, о которой, я уверен, даже не подозревают многие, думающие о кажущейся легкости нашей работы. Все же остальное – цветочки-василечки на солнечном лугу и в отпускное время.

Не скрою, порой и обычное знание текста дается не сразу, но и не дается-то, быть может, потому, что образ ориентирован автором в одном направлении, а вы его – в другом принуждаете идти. Человеческая органика актера неосознанно противится подобному насилию и, протестуя, бастует, ослабляет память. Не могу уловить ассоциативного хода, но у Пушкина это удивительно сказано:

(…Глубокие, пленительные тайны)
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так люблю. Чему так жарко верил,
И не пошел ли вслед за ними бодро,
Безропотно, как тот, что заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Однажды Михаила Ильича вызвали с репетиции в павильон, и, оставшись одни, мы с Баталовым попробовали прочитать текст сцены, которую должны были сегодня снимать. Актеры это делают всегда – наговаривают текст, так сказать. Но у нас в данном случае была несколько иная задача. Нам хотелось взглянуть на себя со стороны, и сделали мы это так: мы поменялись ролями – Баталов читал текст Куликова, я – Гусева. «Полезность» этого опыта для нас была очевидной – как можно точнее определить «куда идти и что с собою брать в дорогу?».

Пройдя по тексту раз, другой, мы увлеклись (может быть, это был единственный случай, когда партнер для каждого из нас так много значил), и что-то вроде получилось.

В окружении своих помощников и стажеров вернулся Михаил Ильич, все они были в добром настроении: шутили, улыбались. И, наверное, именно это разрешило нам повторить, но уже при них, наш репетиционный вариант. Однако, ни словом не обмолвясь о нем, мы с Баталовым пустились воплощать задачи Ромма: Баталов в образе Ильи, я – Гусева.

Несмотря на то, что это был Ромм, который сам умел и любил шутить и смеяться, наглость нашего поступка была чудовищной. Творческая шалость – это одно. Но розыгрыш… даже заговор… Это уже нечто иное…

Михаил Ильич смотрел, и на лице его не было ни удивления, ни настороженности. Наверное, тот азарт, с которым мы все это проделали, помог скрыть обман, и лица наши в этой диверсии были «всамделишными». Он, ничего не заподозрив, не открыв подлога, все принял за чистую монету, тогда как взгляды всех сидящих за Михаилом Ильичом были очень красноречивы и не сулили нам ничего доброго. Завершив, мы с нейтрально-скучными физиономиями уставились на Ромма, как обычно делали это всякий раз после репетиционного поиска какой-нибудь сцены. Ромм закурил, поморгал глазами, вроде соринку выгоняя, помолчал еще какое-то время, поправил сигарету и сказал, непривычно коротко и сухо:

– Так, хорошо… Лика, передайте Лаврову – я задержусь. – И, немного помолчав: – Неужели я произвожу впечатление круглого

идиота?.. Вы как дети… Давайте работать, у нас и без того времени в обрез…

Этот день был трудным. Нервы были напряжены. Все шло через пень-колоду. Мы говорили, спорили, тон повышался. Должно быть, каждому казалось: чем громче будет он излагать свою позицию, тем основательней, справедливей и до конца убедит всех в ее правоте. Ор стоял ужасный – все говорили, но никто не слушал… Всегда ведь легче кричать, чем слушать и понимать другого.

Давно прошли те полчаса, в которые мы должны были обрести покой, себя и локоть товарища-партнера. Но я продолжал требовать ансамбля, жесткости и общности в отборе выразительных средств, деталей. Баталов утверждал одержимость, исключительность натуры своего героя. Я пытался возражать: на разных языках мы говорим, мол. Мою настойчивость Алеша оценил как хамство. И что-то резкое бросил мне в лицо. Таня Лаврова, сидевшая до этого времени молча, вдруг так же молча выглянула на меня… ах, если бы она так играла в фильме… Я проскрипел, как звероящер, веря в свою правоту:

– Таких партнеров… впервые вижу!

Баталов побелел, как лист бумаги, на котором принуждают написать заявление «по собственному желанию», сжал кисть Лавровой и громко произнес то, что Таня говорила только взглядом. Я продолжал сидеть. Сгустилось все, нависла ссора. Стоя поодаль, Михаил Ильич то с грустью смотрел на своих взъяренных творческим экстазом актеров, то принимался как-то пусто и безвыходно рассматривать дымящуюся сигарету. Очевидно, были бы второй и третий заходы нашего так «славно наладившегося общения», но в тишине прозвучал вдруг голос Михаила Ильича:

– Отмените съемку. Мы не готовы… то есть готовы, но несколько к другому. Остаются актеры, остальные свободны… Алеша, Таня, сюда, пожалуйста… Кеша, Кеша, куда вы… останьтесь.

Ни тени недовольства. И только слишком уж тихая сдержанность, закрытая умиротворенность, осевшая за его очками, спрятавшись за холодом стекла, могла рассказать об истинной цене этой минуты.

– Алеша, я слушаю вас. Что тревожит, кто мешает, что теснит, скажите мне… Присядьте, Кеша… Таня, вы тоже не молчите…

В этом диалоге я «в рот воды набрал» и был как понятой. Долгие два часа Михаил Ильич и Алексей Баталов говорили не спеша, по-мужски серьезно, без лишних слов («простите… мне

кажется… позволю себе заметить») и прочих любезностей. Вскоре я ушел и многого не слышал, но знаю лишь одно: все, что в фильме есть хорошего, – все родилось после этой беседы. И план был выполнен. И мы, актеры, терпимее друг к другу стали… «расчистив путь для дружбы впереди».

Совершенно не помню Ромма сидящим на съемочной площадке. Не мог же он, в самом деле, снимая долгий фильм, ни разу не присесть в павильоне! И тем не менее память упорно представляет его стоящим у камеры, тихо говорящим или показывающим что-то актерам, но обязательно на ногах. И это не запоздалая галлюцинация, нет, так оно и было. Не знаю, чем это объяснить, – должно быть, поиск сцены или сама съемка того, что уже найдено, возбуждали его, оставляя на ногах.

Но однажды в павильоне (это был вестибюль клиники, где встречаются Леля и Куликов, пришедшие проведать больного Гусева) он вытянуто лежал на скамье у стены. Это было невероятно, этого не могло быть… Михаил Ильич должен был стоять… но он… лежал. В павильоне было тихо, все потерянно глядели, стоя какими-то осиротевшими, одинокими группами, тогда как все должно было кипеть, должна была стоять всегдашняя, предшествующая съемке атмосфера деловой торопливости… и ничего этого не было – было пусто, гулко. Он лежал худой, с закрытыми глазами. На него неудобно было почему-то смотреть – это была беда. Он много курил, и нагрузка последних, уплотненных съемочных дней не могла не сказаться. У него схватило сердце – он лежал. Говорили шепотом, передвигались тихо, на носках, хотя об этом никто и не просил. И вдруг в этой тишине голос Михаила Ильича позвал:

– Лика! Проверьте, пожалуйста, заделывают ли художники стык на потолке: с той точки, с которой мы будем снимать, он будет виден.

– Да-а-а, Михаил Ильич, – заикаясь, на очень низких тонах, подчеркнуто спокойно ответила ассистент. – Эту щель замажем… э-э-э сейчас… э-э-э… – И, не договорив, умолкла.

Михаил Ильич улыбнулся, облегченно глубоко вздохнул, поднялся…

Все выжидающе серьезно уставились на него. А он, словно не было никакой боли, сел и, в свою очередь, воззрился на нас. Это были славные, никем не запланированные тихие смотрины. Затем, уже вставая, Михаил Ильич сказал:

– Ну, довольно симулировать и глазеть, давайте работать!

И все закипело, задвигалось, обрело добрый, светлый смысл – его любили все, и каждый был рад в душе, что он опять на

ногах, – значит все хорошо.

На съемочной площадке бывают дни необъяснимо удачные, когда все вяжется, выстраивается вроде само по себе, без видимых усилий достигаются в общении с другими, в управлении самим собой результаты, которых в другое время, даже напрягшись, уступая всем и во всем, нервничая или, напротив, сдерживая себя, никогда не достигнешь.

В такие удручающие смены временами прибегаешь к приемам в работе совсем неблаговидным, противным, порой просто врешь, хотя крайней необходимости в этом и нет. Но врешь, сознательно ли, оголтело ли, закусив удила, совершенно не задумываясь, что за ложь когда-нибудь надо будет платить втридорога… Я тоже это практиковал, и однажды происходило это так:

– Михаил Ильич, – обратился я к режиссеру с очень честным лицом. – Вы позавчера предлагали фразу эту вымарать или заменить другой. Так что же, мы ее оставляем, что ли?

– Ничего такого я не предлагал, не выдумывайте! Если фраза неудобна вам, так и скажите. Это избавит вас от труда хитрить и придумывать всякие небылицы.

Обрадовавшись, что достиг своего, я впопыхах предложил какую-то новую фразу вместо неугодной мне. Михаил Ильич спокойно выслушал, не выразив ни удивления, ни желания заорать, затопать ногами или кинуться вон из павильона, что было бы вполне оправдано в тот нескладный день.

Ничего такого не происходило. Напротив, все было тихо, и взгляд был тих, и нигде ничего не дрожало, не дергалось на его лице. Иногда мне думалось, что, если бы Михаил Ильич вдруг оказался на фронте, он наверняка был бы прекрасным сапером и запросто обезвреживал бы любые мины.

– Дорогой Кеша! – сказал он тоном обращения к юбиляру, которого совсем не хочется приветствовать, но надо. – Хрен редьки не слаще, зачем же наскоро что-то вписывать, если мы только что выбросили такое же? Совсем это ни к чему. Давайте просто удалим эту фразу, и все – она действительно ничего не дает. Но не будем спешить ни с какими скороспелыми нововведениями. Как показывает жизнь, ничего доброго они не приносят. Вот вам! – Он полоснул карандашом по той фразе. – Устраивает? Ну вот и прекрасно.

Снимая для фильма сцены с набившим оскомину, пресловутым любовным треугольником, а на сей раз он не только традиционен, но и нов тем, что они все дружны, умны, тонки и интеллигентны, нужно было решать, кто как ведет себя в этой сложной сложности, где и что выявляет собой.

Фильм шел давно, и многое забылось, очевидно. Я напомню

все эти, в общем-то, простые, несколько лишь запутанные самими молодыми людьми их отношения.

Митя Гусев (А. Баталов) «сгорал» на работе. Он не считался не только с собой, но и со своей нежной подругой, умной и женственной Лелей (Т. Лаврова). В конце концов ей это надоело и она ушла от него, порвала с ним. У этого же «облученного» Мити есть друг Илья, к которому он в трудные минуты работы и жизни (а для Мити это синонимы) обращается за помощью и советами, так как Илья, ни много ни мало, физик-теоретик, обладающий недюжинным умом и тоже безмерно талантлив, хоть и не укушен бациллой одержимости. Этот добрый, ироничный Илья (И. Смоктуновский) имел неловкость (пожалуй, больше неосторожность) полюбить ушедшую от Гусева Лелю. Леля ответила взаимностью (это тоже бывает в жизни), решила даже выйти за него замуж, однако затаила (может быть, неосознанно) тепло привязанности к одержимому до фанатизма, талантливому физику-экспериментатору Мите Гусеву. (И это тоже бывает – экспериментаторы есть экспериментаторы, никуда уж от этого не уйдешь.)

Зритель застает дружную троицу в самое половодье всех этих сомнений и чувств, в то критическое время, когда надо наконец выбрать берег, один-единственный и необходимый, пристать, выйти на него, разбить шалаш любви и… начать, может быть, сожалеть и сомневаться, тот ли это оказался берег и не сигануть ли с обрыва, да вплавь до противоположного. Все это было в схеме сценария. И Михаил Ильич буквально домогался от нас доброго, до бережливости чуткого отношения одного к другому в этой любовной чехарде. Однако и без тени сантимента и сожаления к «третьему лишнему», Илье. Лаврова же и Баталов неожиданно обнаружили столь странное представление о добре и чуткости вообще, а ко мне в частности, что, при всем желании, я не мог согласиться с ними. Да, конечно, никакого сусально-показного сочувствия не нужно, но корректность поведения их со мной – элементарный такт, говорящий об их высоких нравственных качествах, мне казалось, был просто необходим. Иначе каким образом могла проявить себя и вообще состояться та высокая одухотворенность, к которой нас так долго призывал наш режиссер Михаил Ромм?

Вот сцена у телеграфа, какой она репетировалась, была заснята. Их трое. Они стоят и молчат (это лучшее место – молчат). Какое напряжение, такт и неловкость одновременно! Экспериментатору, которому Леля дарила нежность раньше, она предложила вдруг: «Митя, может, зайдем, поговорим?» Митя ответил, как и подобает ответить герою, не утруждающему себя

никакими там сомнениями и любезностями: зайдем. Предельно просто, но отнюдь не односложно. Там, внутри этого слова, надо полагать, много-много всего и, может быть, даже такого, что нам и понять-то не дано. Исключительность натуры – здесь уж ничего не попишешь. Любимому теперь она сказала: «Илья, подожди нас здесь». Округлив глаза, теоретик безропотно остался ждать. С фанерными лицами Гусев и Леля ушли. Я смотрел, как они уходят, и мне стало не по себе… неуютно стало. Если речь идет о тонко думающих и так же чувствующих людях, то те ли измерения их человеческих начал мы привнесли с собой??? Я уже готов был насторожить Михаила Ильича своими сомнениями, но сцена не моя и смена не моя, единственное, что было мое, – это мнение. И я промолчал, оставшись в полном недоумении: как же это они, бедняжки, будут выпутываться теперь? Их долго не было. Во все происходившее там зритель был посвящен длинной сценой. И вот настало время если не выпутываться, то уж выкручиваться. Они вышли. И, надо признаться, деревянности на их лицах поубавилось, и поубавилось изрядно. Как у тонко чувствующих и нервно организованных натур, боящихся ранить своего друга и жениха, на их лицах появилось и нечто новое, но такое, чему не сразу подыщешь определение. Что-то вроде: «Ну, мы сейчас тебе врежем между глаз». О-о-о, очень тонкие интеллигентные люди! А главное – одухотворенные. Ироничный Илья, видя столь нежное надвигающееся на него выражение лица своей строптивой невесты, моментально сник и, идя им навстречу, обиженно воскликнул: «Товарищи, я хочу спать!» – «А мы все решили, Илюша, – говорит Леля. – Я выхожу за Митю замуж».

Ну, что тут говорить! Более подходящего момента и повода покорчить всякие разные рожи просто не бывает. Я добросовестно и честно все это проделал. Правда, не скажу, чтоб это принесло уж очень большую радость. Скорее, напротив, ощущение неумного, ненужного кривляния неуютным грузом осело в душе.

Отсняли сцену, заканчивался рабочий день. Осветители и операторская группа укладывали, двигали свои огромные светильники. Ладно скроенные парни уносили на своих плечах, как дрессировщики уснувших удавов, толстые мотки электрокабеля. Время странного соседства усталости и оживленности сборов. Творчество – хорошо, но дом и отдых после душного павильона – тоже недурно.

Михаил Ильич оговаривал, что нужно будет делать завтра. Он повернулся к оператору Герману Лаврову и сказал:

– Начало «треугольника», проход по улице Горького и у витрины… и, пожалуй, все. Вы что-то хотите сказать, Кеша? Да,

Лика, узнайте, пожалуйста, не случилось ли что с Храбровицким, почему его опять нет?.. Извините, так что вы?

– Не по душе мне отснятое сейчас. Вы же говорите: они добрые, современные, так почему столько злой остроты во мне и в них? Ну, допустим, они это делают достойно, бог с ними, но я-то светлый, легкий, честный, почему бы мне не выслушать их спокойно и, глядя на их злорадные лица (кстати, они именно такие…), безудержно, светло и ясно засмеяться, чего они уж никак не могли ожидать, погрязши в себялюбии и эгоизме… – И я засмеялся, правда, поначалу с несколько перепуганным лицом, понимая, что слишком уж много беру на себя, но потом осмелел.

Я смеялся, двигался, показывая, как бы я это все проделывал перед Лелей и Гусевым. Нет ли в этом более доброго, открытого и честного хода? Пятью минутами раньше она была моей невестой! Где же ее трогательность, ее ум, женская чуткость, в конце концов? Хотелось бы, чтобы они сами были обескуражены и своим поступком, и тем, как просто, без тени зла и ревности ведет себя Илья. Кстати, и фраза его: «Ну, с тобой не соскучишься!» – тогда будет звучать без упрека, а по-человечески просто.

Я закончил и попеременно вопрошал взглядом то Михаила Ильича, то Лаврова.

Мягко, несколько грустно глядя на Германа, Ромм сказал:

– Он прав.

Тихо улыбнулся, помолчал, как бы говоря: «Ну что, не говорил я вам?» – и вслух сказал определенно:

– Он прав. Ничего не могу сказать.

Я не предполагал подобной реакции на мою тираду и был порядком смущен.

– Вы правы, Кеша. Какая жалость, что нет здесь Леши и Тани!

С этого момента мы уже всегда были единомышленниками. Я был горд и счастлив, оказавшись невольным толчком этому. Группа намного отставала в плане, и мы не пересняли сцену на телеграфе. Но заряд той редкой минуты взволнованности Михаила Ильича дал свои живые ростки в последующем материале фильма.

Готовый фильм мы увезли на Международный кинофестиваль в Чехословакию. Влажный ночной воздух Карловых Вар. Темная котловина, окаймленная горами, своей чудовищной пастью поглотила город с празднично расцвеченным кинофестивалем. Издали иллюминация фестиваля выглядит маленькой туманностью, а отдельные мощные прожекторы – брошенными жемчужинами на сочном темном бархате. Они как бы знаменовали собой присутствие на этом фестивале немногих

мировых кинозвезд. Редкая запоздалая машина со стороны Праги светом своих фар вспарывала сгустившиеся сумерки, отгоняя куда-то в провал темноты тишину и уютное журчание быстрой мелкой речушки, полной едва ли не ручной форели.

Там, внизу, куда спешит машина, сейчас душно. Здесь свежо. Познав это от старожилов, Михаил Ильич и я решили перед сном пройтись по безлюдной дороге в гору. Однако вскоре выяснилось, что желающих окунуться в нежную прохладу ночи не так уж и мало. Оказалось, мы набрели на маршрут «дистрофиков», жаждущих сбросить лишние килограммы, и они грузно проплывали мимо… Было забавно слышать звуковую мозаику, наплывающую из темноты, то чешской, то польской, то немецкой речи.

И вдруг пахнуло Родиной, темнота подарила до слез знакомое слово «план», и «три богатыря в ночи» пронесли спокойную тревогу о завышенном планировании. «Наши на водах!» – и на отдыхе думают о работе… Не оставила в этот вечер забота о своем труде и нас. Точнее, меня. Я только не мог найти повода начать говорить, а он был нужен, потому что у меня был уж очень своеобразный взгляд на мой труд и на его оценку, каюсь. Мне и сейчас не очень-то ловко писать об этом, но, собираясь рассказывать о Ромме и своей работе с ним, мне показалось, что здесь-то уж врать совсем ни к чему. Буду говорить лишь правду. И вот она, эта правда, вот эти мысли.

На подобном мировом форуме кино я был впервые. И очевидный успех наших «Девяти дней» меня взволновал. И волнение мое не стало меньшим оттого, что успех этот во многом отождествляли с успехом моей работы в этом фильме, то есть образом Ильи Куликова. Это-то и не давало мне покоя. Я был возбужден. Хотя фестиваль только-только начался и лишь набирал темп, однако это не мешало многим после просмотра наших «Дней» поздравить меня с премией за лучшее исполнение мужской роли. Приятные симптомы эти сыпались всюду, и много раз при Михаиле Ильиче. И я видел, что он был рад. Это меня подбодрило, и я решил поговорить с ним.

Было темно, мы медленно брели в гору. То болтали о чем-то незначимом, то молчали, слушая удаляющийся заливистый девичий смех… И, переждав его, я запрокинул голову и слишком уж безразлично спросил:

– Интересно, будет завтра дождь?..

Из темноты никаких метеорологических прогнозов не последовало. Зачем я сунулся с этим дождем? И глупо, и не нужно. С другого же хотел начать!

– У вас ревматизм, что ли? – прозвучала вдруг простая

заинтересованность, и я без всяких подходов, обиняков и этой моей доморощенной хитрости, порой смахивающей на досадно перезревшую глупость, рассказал Михаилу Ильичу, что я, к сожалению, слишком поздно пришел в кинематограф, и мне нужно спешить утвердиться в нем, и эта моя премия на фестивале будет первой ласточкой, которая поможет мне получить, наконец-то, отдельную квартиру.

Пауза после моих слов была большой. Я бы даже сказал, пугающе большой. Она затянулась. Но, представляете, выпалить все это единым духом, даже несколько задохнуться от этих прелестных планов, и вдруг в ответ ничего не звучит, ничего не происходит. Я краем глаза косил в сторону Михаила Ильича. Нет, он здесь, все так же спокойно шел рядом, но странно, как-то безразлично шел, совсем безучастно, вроде мы случайно оказались рядом. Мне не понравилось, как он шел.

– Вы прелестный артист, Кеша! – И я подумал, что он не так уж плохо шел. Мне, должно быть, просто показалось. – Это бесспорно, и я не понимаю, почему вы озабочены. Вы уже утвердились, утвердились основательно. Вам ли заботиться об этом… И я не думаю, что выделение вам квартиры нужно ставить в зависимость от успеха фильма или роли. Это различные вещи. И затем: ваш личный успех в нашем фильме и остается вашим, даже при получении премии фильмом. Надеяться же на получение премии за лучшую мужскую роль, извините, Кеша, глупо, две премии фильму не дадут. Другого же фильма с темой, столь необходимой сейчас, на фестивале не будет. Это ясно по тому, что мы уже посмотрели. Все устремились к альковным отношениям, к раздеванию женщин, и это само по себе недурно, но сегодня… – В темноте это «сегодня», хотя и было сказано так же просто, как и все другое, вдруг зависло и осталось. – Сегодня есть вещи много важнее.

Он замолк, молчал и я. Мне нечего было возразить ему, хотя получить отдельную квартиру мне хотелось очень!

– Идемте, выпьем воды какой-нибудь.

Бестолковая забубенность или забубенная бестолковость (что сути не меняет) – то и другое довольно точно отражает жизнь ночного бара «Флорентина» в Карловых Варах. Во всяком случае, тот вечер я воспринял именно так. Сидишь в этом баре, пьешь «оранж-джюс», что на обычном языке означает всего-навсего апельсиновый сок, танцуешь или просто глазеешь на точно тем же занятый люд. И все это вместе составляет внепрограммное, свободное общение съехавшихся сюда кинематографистов мира. Неистовствующий джаз в центре акустической центрифугой разбросал всех по углам и дальним стенам зала. Нам указали

свободный столик в соседстве с эпицентром этого испытания звуком. Создавалось впечатление, что музыканты получали прогрессивку за громкость или был брошен клич: «Не давайте им болтать! Вдарьте так, чтоб, повскакав с мест, все ринулись в пляс. Пусть порастрясутся!» Некоторое время мы ошалело смотрели друг на друга, и со стороны это могло выглядеть как: «О, а ты как попал сюда? И чего нам не хватало там в горах?» Михаил Ильич что-то прокричал в ухо снизошедшему до нагловатого безразличия официанту, и тот, выпрямившись этаким разочарованным принцем, постоял мгновение и пошел, унося явное нежелание исполнять столь прозаический безалкогольный заказ, как две воды.

Оркестр продолжал терроризировать взвинченных кинематографистов, наивно и старомодно предполагавших, что из всех известных стихийных бедствий – всяких там наводнений, извержений и обледенений – кино все еще не утратило первенства. Я же думаю, что подобное убеждение могло оставаться лишь до встречи с тем оркестром, не дольше.

Может быть, это громогласное зло само по себе и не стоило того, чтобы о нем надо было так много говорить, если бы оно не было слишком ощутимым признаком здоровья нации, с одной стороны, и причиной неожиданного открытия, о чем, собственно, я и собираюсь рассказать, – с другой.

Михаил Ильич оставался спокойным. Жестом, пантомимически, призвал меня к терпению – мол, в этом вое слов не разберешь, а вот будет у них пауза, перерыв… устанут они… – он кивнул в сторону громкозвуковых умельцев… – вот тогда мы поговорим…

Видя, что связь между нами установлена без потерь и искажений, он легко и так же беззвучно добавил:

– Не огорчайтесь. Их надолго не хватит.

И уютно расположился для выжидания. Я взглянул на оркестрантов.

Невероятно! Нас «подслушали» – молодой красивый чех, тромбонист, ожидавший своего вступления, улыбаясь, отрицательно замотал головой: «И не ждите, мол, этого не будет!» И, извинившись так же пантомимически, как это делал Ромм, азартно облизнул губы, направил жерло своего инструмента на наш столик, обдав нас каскадом сверляще-пронизывающих трелей. Мы, хохоча, отпрянули в своих креслах.

Странно, но с этого момента нас уже не смущала ни громкость оркестра, ни ожидание воды, ни то, что мы не одни; скорее, напротив – мы обрели себя в этой ночной общности людей, ритмов и звуков. Стало легко. Мы перестали ждать.

Михаил Ильич, слегка «пританцовывая» кистью руки в такт этой вдруг ставшей славной музыке, все так же немо поведал мне:

– Вот видите, Кеша, как все зависит от самих себя. Пятью минутами раньше мы пришли сюда едва ли не с требованием «сделайте нам тихо, мы талантливы, одарены, а все это нам мешает». И что же теперь? Все на прежних местах, и вместе с тем изменилось все. И прежде всего изменились мы. И воспринимаем все совсем иначе. Сейчас нам принесут воды, и принесет тот официант, который вам чем-то не понравился. И вот здесь-то вы были не правы, Кеша. Если уж просишь воды, то не смотри, с какой рожей тебе ее дают.

Редко, ох как редко мы, актеры, после того как фильм уже отснят, можем позволить себе, да и просто захотеть, например, такое: позвонить режиссеру, с которым работал в этом фильме, и без тени неловкости или боязни быть бестактным, или непонятым, или, того хуже, с трудом терпимым, даже по телефону, вдруг заявить:

– Михаил Ильич? Мне бы хотелось вас повидать. Да к тому же и голоден я изрядно. Можно, надеюсь?

После небольшой напряженной паузы, в которой нетрудно было предположить, как на другом конце провода по голосу стараются определить, кто же этот нагловатый тип, следовал миролюбивый, хотя и недоумевающий вопрос:

– Позвольте узнать, кто этот голодающий?

– Это я…

– Ну что же… довольно исчерпывающе и интересно. И тем не менее не могли бы… не могли бы поконкретнее?..

– Это я, Илья Куликов. Илья Александрович Куликов.

– Э… э… Илья Александрович Куликов… Позвольте, какой Куликов, Куликов?..

В тоне прослушивалось, как перебирались в памяти все Ильи, все Куликовы, какие есть, были и могли бы быть с таким вот наглым голосом. И вдруг крик босого, наступившего на лягушку:

– Кеша! Долго вы будете водить меня за нос? Вы в Москве? Ну приезжайте, приезжайте, жду вас. Леля! – кричит он, не бросая трубку. – К нам набивается и готов пожаловать Смоктуновский. Требует, чтобы ты его кормила. Он, как всегда, голоден.

Голос Елены Александровны издали:

– Ну, разносолов в соусах, какими его избаловали во всяких забегаловках, у меня нет.

– Ничего, за милую душу будет лопать то, что ему дадут, – пробурчал Михаил Ильич, и потом уже радушно: – Кеша, приезжайте! Обещают славно принять и вкусно накормить. Адрес

не забыли? Да-да, за Долгоруким… Смотрите, помнит – со двора… Ждем.

Приходишь. Как домой. Сказал бы просто «домой», но это было бы, пожалуй, не совсем правдой. Не взволнованность – нет, и не неловкость – совсем нет, а чувство простой, светлой радости, приподнятости испытываешь, идя на встречу с этим домом, с его хозяйкой и этим человеком.

Елена Александровна просто, по-женски всплеснула руками, завидев мою круглую, бритую наголо голову (того требовали множество сменяемых одного другим возрастных гримов и париков к «Чайковскому»).

– Миша! – кричит она, смеясь. – Ты посмотри, что к нам вкатило! Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…

– Кто там так неуважительно относится к постаревшим родственникам? – донесся голос приближающегося Михаила Ильича. – Нехорошо от бабушки уходить… Да, действительно… Встретил бы на улице – не узнал. Это что же, к «Чайковскому»? Интересно… Это вы должны, это будет… Кеша, вам с этакой головой Эрнста Тельмана надо пробовать.

– Так сценария же нет! А сценарий будет – режиссер другого актера захочет.

– Будет болтать-то. Не гневите Бога. Кто же это будет хотеть другого, если есть вы, с вашим инстинктом да еще с такой головой: смотрите, абсолютно без затылка, как тыква. Анатомическая редкость.

– Инстинктом? Что я – собака, что ли?

– Много разговариваете. Идите мойте руки. Помогите Леле накрыть на стол, и будем есть. Хорошо, что вы хоть изредка заходите, значит, не совсем глупый… Вот свежее полотенце, это Леля уж специально для вас… меня в этом доме так не балуют… Поразительно… как тыква.

После усаживал меня в своем кабинете. В это время я много бывал за границей. Ромм слушал, куря, долго пристраивая сигарету, перекатывая ее из одного угла рта в другой, теребя ее как-то по-роммовски, губами. Продолжая слушать, каким-то особым образом перетасовывал маленькие пасьянсные карты, ложившиеся «внахлест» двумя равными пачечками одна в другую; карты, тихо «шуршаша», образовывали одну большую колоду, еще и еще раз. Затем, отставив их, явно о чем-то задумался, продолжая слушать. Было свободно, хотелось говорить, думать, вспоминать. Я говорил лишь о том, что видел. Первые, поэтому, наверное, и яркие ощущения. Без выдумок, без игры, без прикрас, так как вывод, обобщение, оценка, суммирование явлений, их синтез – это мир самого Михаила Ильича. Делал он это настолько

неожиданно легко, удивительно и вдруг, что брала легкая оторопь. Как, уже? Следовал не броско, но мощно, словно годами выношенный вывод, суть, мировоззрение.

Его огромный, гибкий ум позволял из наблюдений долго и достойно прожитой жизни суммировать и щедро, свободно дарить, обогащая вывод добротой его взглядов, непреклонной честностью и мощью его человеческого таланта.

В то время он был поглощен идеей вынашиваемого им долгое время фильма «Мир сегодня». Он был гражданин и не мог остаться в стороне от нависшей над человечеством угрозы, беспокойства, тревоги: а будет ли завтра? Он говорил о своем фильме, какими ему видятся отдельные эпизоды, в частности трагедия в Китае. Он так и сказал: «трагедия в Китае» – о том, как гибко ведут себя наши, пытаясь использовать все и даже кажущиеся, с некоторых пор уже просто не существующие нити связей. Говорил с болью, жестко, но не зло. Замолкая, смотря перед собой, продолжал думать, но не столько над решением фильма, сколько о китайской проблеме вообще.

Расстались. Черная высь Юрия Долгорукого упорно повелевала: «Так стоять!» Гулкость шагов в подземных переходах под улицей Горького. Надорванный визг тормозов споткнувшихся машин. Камень стен. Одинокость запоздалых пар: «Закурить не найдется?..» Свежий порыв ветра. Бульвар тоннелем. Телетайпит бодрствующий ТАСС. Полмира спит сейчас, а он все телетайпит. Лифт выключен. Дома тепло. Дети спят. Записка на полу, придавлена туфлей: «Машина завтра в восемь тридцать. Кефир на подоконнике. Покойной ночи…»

На «Мосфильме» все так же спешат, торопятся или философски праздно шествуют. Производственный план, так или иначе, выполняется. Социологи, экономисты будущего, объединив свои предположения с криминалистами, может быть, выпьют не одну чашку кофе, прежде чем придут к какому-нибудь определенному, ясному выводу. Что же такое: жизнь, норма, выработка??? Мир кино живет своей жизнью. По длинным загнутым коридорам шествуют кинематографисты со своими заботами, идеями или просто мыслями о насущном. Здесь все та же студийная рабочая толчея, разговоры, прогнозы и сутолока. Через каждые пять-шесть лет усовершенствуются мигающие табло «Тихо, съемка!», но все продолжают вести себя, словно никаких усовершенствований совсем и не было. Здесь все то же, что и много лет назад…

И лишь на стене в коридоре четвертого этажа производственного корпуса появилась медная доска,

оповещающая о том, что здесь тогда-то и тогда-то работал выдающийся мастер советского кино

Михаил
Ильич
Ромм

И вдруг сразу становится ясно, что не все здесь так, как было когда-то. Нет, есть они – незаменимые, есть – могикане. Придут другие, хорошие, плохие ли, но другие. А он был единственный, его не заменишь даже лучшим (если такое может быть); ему, именно ему удалось как-то по-своему выявить в своих лентах и нашу жизнь, и наши надежды, и наше время.

Уходят прочь гул и суматоха. И светлая грусть наполняет всех знавших и любивших его. Отлив бронзы на стене уже не кажется столь скользко-холодным при мысли об этом человеке. Глядишь на медь эту уже другими, потеплевшими глазами, желая прикоснуться к ее глади и поблагодарить ее за объективность и постоянство.

Выхваченный кусочек кирпичной стены. И живая, трепетная мысль-чувство. Смотришь – и диву даешься… Неужто этой вот досочке суждено пронести память о нем дольше и дальше, чем сделаем это мы, жившие когда-то рядом с ним, его родные, друзья, ученики?.. Да, она, пожалуй, перевесит нас. Оттого у нее порой бывает такой заносчиво-надменный отсвет.

Но оставили ее для потомков любящие и помнящие о нем как дар своих чувств, как тепло своих сердец.

О друге

Совсем не в далекие от нас времена в театрах бытовало этакое расхожее мнение, что, мол, публика – дура. Не думаю, что кто-нибудь из работников сцены или околотеатральных кругов мог бы заявить это сейчас. Иные времена – другая аудитория. Если кто и способен на такое умозаключение теперь, так разве что… от переизбытка самомнения или от собственной недостаточности, что может быть одно и то же.

Однако даже и теперь далеко не все могут представить себе, что такое спектакль на самом деле, то есть не могут даже близко предположить его полигоном разумных, духовных, физических напряжений, усилий артистов, занятых в этом «побоище». А это именно так. Порою приходишь на спектакль и явно чувствуешь, что вот сегодня-то ты ну никак не можешь рассчитывать на эфемерную, осознанно временную, в общем-то добрую, если к понятию власть допустимо подобное качество, власть над полутора тысячами судеб, характеров, нравов, привычек, профессий, сиюминутных настроений, наклонностей и разнообразных до полной несовместимости мироощущений. И вот здесь-то и начинается потаенная, скрытая, никем из зрителей не подозреваемая борьба: борьба за умы и души, за возможность взять, подчинить, если хотите подавить добровольно собравшихся мило и славно провести время и увести за собой в мир драматургии. Должно быть, именно за эту доверительность театру те досужие умы прошлого и нарекали заполнившую зрительный зал публику неразумной. Однако спектакль объявлен, все пришли.

Театр уж полон; ложи блешут;
Партер и кресла – все кипит…

И действо должно состояться и, желательно, на том уровне, который обещают фамилии, так четко и ясно напечатанные в программе зрелища.

Как тут быть?

Видите, как это близко к вечному:

Быть или не быть?

И как здесь важно, как невероятно важно, *кто с тобою рядом в эту непростую минуту. (Нет уверенности, что все, читающие эти строки, поверят мне, и тем не менее это именно так.)*

Заходит. (У меня грим сложнее и со мною больше и дольше

возятся художники-гримеры, не оставляя никаких свободных минут до самого выхода на сцену.) Спрашивает:

– Как ты?.. Впрочем, вижу… Нездоров, что ли?

– Да-а, силов что-то нет… где их брать на такую махину. – Имеется в виду роль Иванова, которая по трудоемкости уступает лишь князю Мышкину и, конечно, царю Федору Иоанновичу, да еще на этом космодроме, где впору устраивать смотр войск, баталии или какие-нибудь гала-концерты, оперные или балетные представления… Но Чехов, с его душевностью, с его боязнью спугнуть собеседника неосторожным словом или слишком громко произнесенным словом… Не в добрую минуту пришла кому-то мысль учредить здесь сцену художественного театра. Нет, не в добрую.

– Да-а-а-а! Здесь уж ничего не попишешь: есть – так есть, а нет – так уж… все равно надо… – неожиданно вывел он, решив закончить чем-то вроде остроты.

Ответом, должно быть, была какая-нибудь неопределенная реакция или вздох, сказавший, тем не менее, о разбросанном состоянии. Стоит, молчит, курит и дым к потолку пускает, чтобы не раздражать, не мешать.

…Стал вдруг маятником ходить за спинкой кресла. В зеркало было видно, что моментами думал не о том, о чем только что говорил. Остановился на старом месте, опять шумно обдал дымом потолок и вроде вообще забыл обо всем. Но вдруг мягко и по-доброму:

– Старики учили перекладывать это свое состояние на своих персонажей. Попытайся, тем более что по сути, по настрою оно близко к ивановскому. Попробуй. Другого-то выхода нет. Во всяком случае, хуже не будет.

– Да, ты прав, хуже не будет – некуда…

– Ну вот, ты уже и остришь, и глаз вроде появился…

Очередной звонок к началу спектакля прервал нашу не очень веселую разминку. Он вышел.

Не помню, как прошел тот спектакль (хотя очень просится написать: зашел, подбодрил, поддержал – однако это было бы уж очень по-дилетантски упрощенно, да к тому же я действительно не помню). Спектакль этот шел довольно часто, и он по себе знал, что дается «Иванов» непросто, нелегко. Должно быть, потому и заходил, и стоял, и, шумно обкуривая потолок, думал, чтоб потом, на сцене, вместе, достойно и по-человечески пытаться быть.

С Андреем Алексеевичем Поповым на сцене было просто, спокойно. Во всех работах своих, как бы различны они ни были, он был основателен и серьезен, даже если герои его отличались

наивностью и непосредственностью. Эта двухметровая обаятельная махина неизменно вызывала к себе доверие, располагала; думаю, на него просто хорошо смотрелось, а одно это уже немало для человека, вышедшего на сцену поделиться ли раздумьем, поспорить ли, задать ли вопрос, либо заявить о своем человеческом достоинстве и побороться, отстаивая, защищая его.

Что говорить – сколько актеров (они есть всюду и в Художественном театре), не то все перепутав, не то просто по незнанию, а скорее всего, по лености, дурновкусию или по отсутствию дара чутья, не то по забвению обычного такта, не только к публике, но и к образу, который ими прослеживается, подменяют процесс жизни на сцене пошлым, банальным, штампованным, не имеющим никакой творческой ценности ужирненным обозначением – педалированием. Они не только наигрывают, но и заигрывают, заискивают, плюсуют, пускаются во все тяжкие, чтобы заполучить расположение публики (и – увы! – у какой-то, и не малой, части аудитории добиваются желанного отклика, понимания)… и не делают лишь одного (а именно только это одно они и обязаны делать), и, что самое страшное, даже не пытаются – не пытаются жить! Высказывая такую «крамолу», я подвергаю себя риску стать объектом нападок, фраз, реплик, стригущих глаз… Но что же делать, если само время диктует иное.

На сцене сейчас оно просто требует жить. Правда, это нелегко. Жизнь на сцене сопряжена с действительными нервными затратами, с учащенным, порой до мятущегося, пульсом, с болями в затылке от принудительного принуждения и даже оголенным ощущением стенок собственного желудка. Все это настолько неприятные вещи, что об этом тяжело и противно писать. Но если мы не только декларируем и безответственно болтаем о системе Станиславского, Немировича-Данченко, а действительно хотим свято и неуклонно следовать им (а это единственный путь быть живым на сцене), – то, пожалуйста, будьте любезны жить!

Андрей Алексеевич не только знал, чувствовал все это, но он был апологетом, проводником этого непростого умения, он был подвижником, истинным жрецом удивительной науки умения владеть собой, забывая себя среди правды жизни на сцене того образа-характера, который представляет сегодня артист Андрей Попов!

Лебедева в «Иванове» он проживал. Проживал не без увлеченности. Не эта ли увлеченность и является, по существу, единственным стимулом в тех совершенно бескорыстных тратах самих себя с виду нормальных и психически здоровых людей-актеров?

Аналогов подобной «бесхозяйственности жизненных сил в биосфере деятельности человека» сыскать затруднительно, а может быть, и невозможно.

Уж не знаю, что причиной тому, однако довольно часто в разговорах об «Иванове» и вообще о Чехове у Попова нет-нет да и промелькнет сожаление, что ему не пришлось работать над образом графа Шабельского – его, де, он мог бы проследить (он так и говорил) куда полнее, интереснее, а следовательно, правильнее. О других исполнителях роли Шабельского в спектакле он не говорил, однако было достаточно ясно, что ни с одним из них он согласиться не может. И видит ключ к Шабельскому совсем в иной, едва ли не противоположной направленности.

– Шабельский, – говорил Попов, – один из наидобрейших персонажей драматургии Чехова.

В самом деле, образ Шабельского так легко, без потуг и скидок ложился на добрую детскость натуры самого Попова, что подобное совпадение не могло не подарить зрителю праздник театрального пиршества. Возможность подобного праздника в свое время блестяще доказал К. С. Станиславский. До наших дней дошли восторженные отзывы об исполнении им образа графа Шабельского. Пьеса эта (вернее, спектакль по этой пьесе) не очень вдохновляли критическую мысль знатоков театра того времени и даже приверженцев Чехова. Отклики бледны и малочисленны. Причем даже Иванов, центральный персонаж, едва ли не всюду вызывал нарекания, или авторы статей вообще оставляли его за пределами внимания, отдавая ему дань лишь чисто информационную: «…Основную, заглавную роль в спектакле исполнил г. Качалов…» – и все?! Прямо скажем, для центрального, заглавного персонажа немного. Значит, что же такое было в Шабельском Станиславского??? Не без дерзости, однако, теперь уже зная пьесу, осмеливаюсь предположить: последние, уходящие отголоски той патриархальной, доброй, ничего уже не могущей помещичье-дворянской среды старой России с ее немножечко смешным достоинством, наивом, беспомощностью были мощно, со знанием жизни тех лет, высоко по нравственно-этическим требованиям социальных различий, прожиты-прослежены чистой, непосредственной личностью К. С. Станиславского. Думаю, что так. Фотография Станиславского в роли Шабельского красноречиво об этом говорит.

Подобными качествами характера располагал и Андрей Алексеевич Попов. Он в жизни был этаким современным Шабельским, и порою в его обычной речи прослушивались обертона избалованного ребенка. А что бы еще привнес простой по объяснению, однако почти всегда до удивления насыщенный в

выявлении творческий поиск – находки, предложения.

Все чаще прихожу к выводу, что есть, должно быть, особое, до непонятного бескорыстное и оттого, очевидно, вымирающее племя творческого люда на Руси – оно немногочисленно, как говорят в народе: «раз, два и обчелся», однако племя это столь могутно, что щедро заряжает время и современников своей одухотворенностью и началом созидания, и пока мы находимся во власти этого их влияния – мы творчески сильны и богаты.

Вспоминать об Андрее Алексеевиче Попове непросто. Не могу сказать, чтоб он был уж очень общителен, разговорчив и ясен всегда и везде, – такого не было. А тем не менее он был прост. Вот тут и пойми. Порою случалось удивляться тихому его молчанию. Сидит, бывало, в гриме в актерском фойе второго этажа (там у нас «скользящий» клуб, то есть актеры, уже готовые к своему выходу, две-три минуты пережидают, слушая радиотрансляцию со сцены, и наши острословы и сказители из тех же самых ожидающих актеров чем-нибудь занятным, смешным или просто интересным тешат слух своих друзей, да, пожалуй, и сами получают не меньшую радость от возможности рассказать, посмешить, развлечь), сидит тихо, созерцает – и непонятно, слушает или только присел подождать выхода на сцену. Может быть, то было проявлением самодисциплины – ему не до занятных историй и развеселых рассказов, когда впереди, на сцене, в «Иванове» решалась судьба своенравной дочери. Не знаю. Однако временами он был одиноко тих и покойно молчалив.

Как-то я спросил его: не горюет, не скучает ли он по режиссуре? Не помню точного ответа, но суть сводилась к тому, что совсем нет, что даже и теперь, по прошествии довольно внушительного отрезка времени, он все еще только отходит, отдыхает от этого милого занятия. И лишь изредка нервные подергивания плечом выдавали утраты и сложности прожитого…

Вместе с тем, помню его и самозабвенным рассказчиком.

Забавно и горько звучала в его изложении одна история. Должно быть, происходившее когда-то обожгло его: будучи искренним (хочется написать слово «правдивым», но, право же, применительно к Андрею Алексеевичу прекрасное слово это едва ли не лишнее), он не мог предполагать в другом человеке и тени того затаенного вероломства, которое вдруг ни с того ни с сего обрушилось на него, хоть и проявилось оно в пустяке. Своей выстроенностью и центральным персонажем рассказ тот очень походил на анекдот, но Попов отстаивал его правдивое происхождение. Однако нас здесь больше интересует не природа сего повествования, а наличие этого милого недоразумения в арсенале прямого общения со средой Андрея Алексеевича. А это

само по себе уже не без загадки.

Вот она, эта неброская и, по-моему, во многом знакомая ситуация.

Его, рядового Попова, по совершенно непонятным причинам невзлюбил старшина того маленького подразделения, в котором отбывал службу «эта стоеросовая дубина, которая никогда ничего не может ни выполнить, ни сделать по-военному». Да еще, на беду, до сведения того вершителя судеб их подразделения дошло, что этот самый нерадивый рядовой Попов является ни много ни мало сынком какого-то «большого начальника». Вот тут-то на этой почве, должно быть, и дала всходы фантазия и изобретательность того милого, славного старшины. А надо честно оговорить, что служила тот ни Спинозой, ни Сократом не был, интеллектом обладал, как выражался рассказчик, на уровне полена, и именно этим, думаю, можно как-то объяснить его слабость к частому обращению им… не столько к древним замысловатостям стено-клинописи, сколько к простым (упрощенным до грубого), встречающимся и теперь, всяким заборным надписям.

А рядовой Попов, как это часто встречается в жизни, имел неосторожность не только быть сыном своего «большого начальника» папы, но и, будучи от рождения полной тюхой, на уставной окрик старшины: «Рядовой Попов!» вместо четкого, простого и однозначного «я!» позволял себе спрашивать: «А-а?». Вот и вся помеха, ан подишь ты! (В этом непосредственном «А-а?», на мой взгляд, есть какое-то доброе желание продолжить разговор: «Простите, не смогли бы вы повторить вопрос свой. Только боязнь обременить Вас заставляет облечь просьбу мою в односложное «А-а?». Нет? Не знаю. А мне показалось, что все это здесь есть, наличествует… ну да ладно.

И что же? В течение долгого времени постоянно «нерадивый» рядовой Попов вместо «я!», словно у него самого никогда в жизни не было и не предвиделось впереди этого собственного «я», отвечал вопросом «А-а?», за что с тем же завидным постоянством каждый раз получал «два наряда вне очередь!!!»

Самое невероятное во всей этой поучительной истории (не знаю, правда, кого и чему она учит, но вот так вдруг написалось) – так это то, что проступок-то один, а наряда – два!

Больше всего Попова ввергало в уныние то, что старшина не оставлял никаких возможностей для подготовки, чтобы сообразить, собраться и ответить правильно. Бывало, тихо, по-домашнему, неторопливо говорил с кем-нибудь и смотрел-то, казалось, совсем в другую сторону, и заботы у него были иные… и вдруг неожиданно, как-то из-за угла, тем же тихим голосом, но только явно злонамеренно и четко, с радостной вкрадчивостью:

– Рядовой Попов!

– А?

– Х… на! Два наряда вне очередь!!! – *Все, цель достигнута, спектакль окончен.*

Старшина был поразительно стабилен, и, как всегда, первым у него следовало слово из заборной клинописи, а затем уж шел приговор о двух нарядах. И Попов сокрушенно шел чистить картошку, а потом, в силу того что нарядов было два, шел чистить и… ну, надо ж было кому-то чистить… это. И чистил.

Андрей изнемог от вечной настороженности, часами твердил про себя: я, я, я, я, я – укладывая в память, в сознание, в гены. К тому же саднила оскомина этой совершенно странной количественности нарядов: почему же два, когда «преступление»-то одно?! И вот однажды… Впрочем, все развивалось как обычно: и отвлекающий маневр того служилы, и голос тихий, и глаз прикрыт, и никаких там чертиков не прыгало, и даже с самим Поповым говорил по-доброму и просто, потом пожурил там кого-то по-отечески и, уже уходя, всем пожелав «покойной ночи» и едва ли не зевая, но вдруг четко исподтишка и истерически завопил:

– Рядовой Попов!

– А?

– Х… на! Два наряда вне очередь!

Это было нечестно, вероломно и так предательски и… опять два?! Старшина торжествовал. Попов стоял и исступленно клял себя, что опять так по-глупому лопухнулся: скажи он это проклятое «я!» – и не было бы этих унизительных наказаний. И Андрей не выдержал. Он двинулся на старшину, полный решительности выяснить, наконец, почему же два?! Видя надвигающуюся решимость, тот вдруг беспомощно заморгал глазами и в полном недоумении, что ж сейчас такое будет, что сейчас произойдет, открыл рот… Андрею стало жалко несчастного, ему показалось, что у старшины вот-вот брызнет слюнка изо рта, и он отправился чистить… второе…

В недалеком прошлом Андрей Алексеевич Попов вел огромный коллектив творческих индивидуальностей. Что это такое, полно и прочувствованно знают, пожалуй, только дрессировщики хищных зверей. Сам порою принадлежу к этому виду «фауны» и не могу сказать, что дело в характере или в каком-то там дурном норове; нет, специфика работы порою принуждает к некоторым нежелательным выявлениям – нервы, нервы. А он вел тот, по выражению одного из известных «звероящеров слова», «террариум единомышленников» довольно долго и не безуспешно. Одно это позволяет предполагать в человеке выработанное годами и положением (тому масса примеров), явно ощутимое осанистое

самомнение – что, впрочем, сродни уверенности в себе, но лишь не подтвержденной делами, да к тому же запутавшейся в тенетах чванливости и спеси… Ничего подобного даже в малой степени не было в Андрее Алексеевиче. Понимаю всю самонадеянность подобного заявления, и все-таки сие утверждаю – семь лет работы бок о бок с Поповым позволяют смелость в оценках некоторых его человеческих черт и качеств.

В Художественном театре актеров, отмеченных общественным мнением, высоко оцененных народом, на спектакль в театр и по домам уже после работы развозят на машинах. Это никакая не привилегия, а обычное беспокойство администрации о четкой, бесперебойной работе театра. Сохранишь силы и здоровье своих не очень молодых именитых «работяг» – и спектакли будут идти в русле ранее объявленного афишей. Здесь все взаимосвязано. Простудился, слег актер, принявший после спектакля душ и направившийся домой пешком, – нужно отменять следующий, уже назначенный спектакль с ним. А это бывает неудобно: Художественный театр – марка. Порою с больничным листом, с температурой, когда глаза слезятся и их выворачивает грипп или горло душит ангина – «ни глотнуть, ни молвить», все же приходится работать: сохранить настроение уже пришедшего зрителя, укрепить его доверие к театру. Для нас это не пустые слова и стремления – это наш долг, наша профессиональная, гражданская да и просто человеческая этика.

Андрей Алексеевич приезжал на спектакль раньше меня (он начинал чеховского «Иванова»), и, доставив его в театр, машина шла за мною. Со спектакля же мы всегда или почти всегда ехали вместе. По пути завозили меня и потом уже везли его одного. Часто получалось, что Попов сидел и ждал меня в машине. Образ Иванова выстроен на редкость трудоемко, и «протащить, проволочь» эту роль в спектакле ох как непросто: в глазах круги, руки проделывают какие-то странные «тремоло», очень хочется сесть, а не можешь – из одного конца гримуборной державно этак вышагиваешь словно на шарнирах, и наши добрые друзья-костюмеры ухитряются стаскивать прилипшую к тебе мокрую рубаху. И ты, как рыба, выброшенная на лед, немножко подхватываешь воздух и не сразу соображаешь, если тебя о чем-нибудь спрашивают в этот момент. Если зрителю, только что ушедшему со спектакля, показать, что происходит с актерами за сценой, вернее, что остается от них, – думаю, это было бы ему не менее интересно, чем фокусы всяких удивительных Кио. Ну да не об этом речь.

Наконец, душ принят, нормально, бегу к машине.

На переднем сиденье, ушедший в себя, нахохлившись, сидит

Попов. Сердится, должно быть, – я опять задержался, а нигде не останавливался, все вприпрыжку. Вот до сих пор дергает. О чем он думает, по спине заключить трудно. Едем. Темно и тихо, только мерный шум мотора и вялость полного расслабления. Как гладиаторы, страшной ценой отстоявшие себе жизнь до следующего побоища, едем молча. Лишь изредка какая-нибудь незначащая фраза на короткие мгновения свяжет осознанность двух, чтобы затем, снова отключившись, погрузиться в тепло целебной тишины и молчания. За окнами плывет Москва и одиноко высвеченными окнами встречает и провожает машину с молча едущими в ней людьми. За подаренное зрителем время вместе с нервами и силами отдана очень маленькая, но часть человеческой жизни. Все, что нужно сказать, было сказано; уже ночь; чтобы думать, нужны силы, нужно напрячься; едем молча. Только ненавязчивая забота родных и покой дома могут вернуть ценности этих чудовищных затрат и реальной значимости жизни.

Он сидит спиной ко мне… и о чем думает, знает только он. Тихо и очень спокойно, чтоб не вспугнуть, произношу:

– Андру-у-уша?

– А?

В другое время наверняка ответил бы ему заборной клинописью старшины, но минута не та, совсем не та, давит усталость. По лицу понимаю, что отвлек его от не очень-то радужных размышлений.

– О-о! Извини, я думал, ты спишь!

– Ну-у, какое там…

Вот так же он сидел, молчаливый, бледный, отрешенно-странный, чужой в самолете, когда театр летел на гастроли в Алма-Ату. Несмотря на технические революции и всякие там научные прогрессы, полет из Москвы в Алма-Ату – занятие долгое и утомительное, и, используя эти редкие свободные минуты, актеры, с разрешения экипажа самолета, сочинив на скорую руку какие-то сандвичи, с добрым тостом за завершение минувшего сезона на основной сцене МХАТ выпили по глотку водки (пусть будет стыдно тому, кто худо подумает; у нас с этим вопросом столь строго, что трудно выговорить, да и охотников до возлияний, прямо скажем, единицы, а здесь, чтобы быть точным, – пол-литра на двадцать-двадцать пять человек). Андрей Алексеевич все так же замкнуто сидел, не принимая участия в этой нашей разудалой самодеятельности на высоте 10 000 метров. В этом странном поведении его, пожалуй, ничего такого, из ряда вон выходящего, не было: не хочешь пить – да не пей, пожалуйста, кто тебя заставляет. Хочешь сидеть сложа руки или делать вид, что тебя очень беспокоят судьбы человечества, – пожалуйста, сиди

себе втихомолочку, строй из себя Переса де Куэльяра какого-нибудь, твое дело… никаких упреков: МИР, СВОБОДА И ДЕМОКРАТИЯ! Все!

Вопросов нет! А мы все, собравшись в кучу, несколько повышенными голосами будем орать друг другу в ухо, какие мы прекрасные актеры, и усталость прошедшего сезона нам будет казаться не столь явной, не такой уж изнуряющей. У каждого своя психотерапия: ты сидишь и молчишь, а мы стоим и орем. Только-то и разницы…

А вот уже по прилете в Алма-Ату он повел себя совсем странно, нехорошо, прямо скажем, плохо себя повел наш дорогой Андрей Алексеевич. Мы стоим (опять), мы ждем распределения номеров в холле гостиницы, а он вдруг куда-то, видите ли, исчез. И только через какое-то время появляется – легко и свободно сбегая по лестнице, и по-прежнему, как ни в чем не бывало, славный, уютный и свой!!! Словно это совсем не он так оголтело, бессовестно, с брехтовским отчуждением на лице, бойкотировал наш мини-сабантуй в самолете. Хорошо, конечно, быть «своим» и обаятельно спускаться по лестнице, однако торчать тут столбом у его чемоданов после длительного перелета – не лучшее времяпрепровождение, а тут еще голова трещит после этой дурацкой водки: пристали в самолете… нашли время… Какие-то совсем незнакомые люди, видя наши ухищрения с бутербродами, ни с того ни с сего настаивали, чтобы я ясно и вразумительно ответил, наконец, уважаю я их или нет, и по мере моих искреннейших клятв в уважении их все прибывало и прибывало; плотно обступив вокруг, они требовали вещественных доказательств уважения, подтверждения этого самого уважения… и затем помню только, что кто-то из членов экипажа, проходя мимо много раз подряд, говорил: «Нехорошо, нехорошо!»

– Попов, у тебя что, живот схватило, что ли? (Вот уж воистину – у кого что болит, тот о том и говорит).

– С чего ты взял? Нет… разговаривал с Москвой… Тебе привет от Ирины!

– Невероятно… Попов, ты – прекрасный муж, но тем не менее мне как можно скорей надо отбежать в сторонку, потому что…

– Какой там муж!.. Совсем нет. Мне показалось, что сегодня я должен был разбиться, и, прощаясь с Ириной в Москве, неосторожно обмолвился о своем опасении.

– Как разбиться? Каким это образом? Ты что, рехнулся? Где?.. Мы, что… тоже должны были все шмякнуться, что ли?.. Или ты собирался выпрыгнуть из самолета?

– При чем здесь вы? Я о себе говорю, о своем предчувствии…

– Да, но мы ведь тоже летели этим самолетом…

– В общем… да… наверное, все бы вместе… Поэтому тебе тоже было бы нелишним позвонить в Москву!

– ???

Резонность его довода была ошарашивающей. И, одурев окончательно, застряв на мысли, почему бы, действительно, и мне не поговорить с Москвой, схватив чемодан, я ринулся на свой этаж, в номер… к телефону.

В «Иванове» в каждом представлении приходилось безотчетно менять мизансцены; то есть не совсем безотчетно: эта минута этого спектакля требовала выстраивать внешнюю жизнь моего персонажа таким вот образом, однако эта же сцена, но в другой раз могла заставить не только быть где-то в другом месте, но и по сути, по настрою, по степени эмоциональной возбудимости совсем не походить на ту, что была вчера или когда-то раньше. И, естественно, эти неожиданные сюрпризы партнерам захватывали в свою орбиту и Лебедева-Попова. Подобное поведение актера рядом – не самое удобное самоощущение, так как отсутствует уверенность, что этот каким-то чудом оказавшийся сейчас здесь товарищ в следующее мгновение не переметнется еще куда-нибудь в совершенно непредсказуемое место и положение. Но никогда, никогда Андрей Алексеевич Попов не сделал ни одного недовольного или, того хуже, раздраженного, гневного замечания. Налицо или удивительный такт, или полная безнадежность что-либо исправить в этом случае, или, и скорее всего, третье – все живые неожиданности были ему самому в высшей степени по душе…

Человек с огромными, мягкими, добрыми руками, которые он, будучи в хорошем настроении, складывал ладонями вместе в объемную двойную жменю и умело сжимал их, со знанием дела всасывая вовнутрь со свистом и писком вырывающийся наружу воздух, легко и свободно воспроизводил таким образом три-четыре знакомые всем мелодии. Это было смешно, мило и уж очень забавно.

Увидев это, вернее услышав, я точно решил попытаться выявить музыкальную умелость собственных ладоней. Однако кроме противного писка и сипа ничего не выходило. Заметив мои усилия, Андрей Алексеевич сказал:

– Так, вдруг, не получится, шалишь – нужна школа, практика.

– И что, ты сам долго практиковался?

– Всю сознательную жизнь… Вот выгонят и из Художественного – пойду на эстраду!

И тут же на своем «свистофоне» (правда, он называл его не столь благозвучно) Андрей Алексеевич «протискал» очень смешно и похоже кусочек увертюры «Кармен», к явному удовольствию

окружающих его товарищей коллег.

В приоткрытую дверь гримерной просовывается славно наивная рожица Лебедева-Попова и тоном доведенного до крайности человека (в котором без труда слышится отчаянное «ну когда же, наконец, ты будешь вовремя выходить к машине?!») нежно вопрошает:

– Тебя сегодня ждать или как?..

– «Или как», Андрушкин, дорогой. Пройдусь, дыхну. Ире мой поклон…

– Ну да, как же, мне больше делать нечего, как только о твоих поклонах заботиться и думать.

Голова у притолоки двери застывает в беспомощном недовольстве, но так же непроницаемо серьезна…

– Ирина с рынка каждый раз тащит редиску… Вот, говорит, опять для твоего Смоктуновского надрываюсь, а его все нет!

– Представляю, сколько ее у вас там скопилось!

– Как это… как это… Мы тоже ее любим – едим за милую душу.

– Андрушкин, когда же, дорогой?.. то одно, то другое…

– Понима-а-а-ю, у самого невпроворот… Ах ты, Боже ты мой, – с шумом выдыхает он. С лица Андрея Алексеевича словно сбегает выражение шутки, секунду-другую спокойно смотрит на меня… Вижу – не видит, весь в себе… Еще постоял, решая что-то, потом, прервав немой диалог с самим собой, вроде очнувшись, говорит:

– Ну, так я уехал, прощай!

– Прощай, брат!

Спектакль окончен. Тяжесть сброшена. Свободно, легко, но и до ненужности пусто… В подобные минуты иногда задумываешься, а стоит ли все это?.. Не в те же ли вопросы немногим раньше уходил и Андрей Алексеевич? Хочется сказать: люблю эти минуты послеспектакльного освобождения… но это было бы неправдой. Эти минуты, как темный, завораживающе-вероломный омут, тянут в себя, вроде даря самозабвенное отключение от неизбежной накипи окончившегося дня, но порою вдруг выворачивает в такие безответные глубины тупика, что, вспоминая «посещения» эти, еще задолго до окончания спектакля кричишь:

– Андрушкин! Сегодня я с тобой еду. Подожди, пожалуйста, не злись – я быстро!

Художественный театр выезжал на очередные гастроли в Среднюю Азию в летнее время! Не сведущим в нашей работе фраза «летнее время» может показаться обычной, ничего не значащей, ее

просто могут не отметить сознанием. Однако климатические перепады со Средней полосы России и тоже на Среднюю, но Азию, – давление, жара, не всегда легко переносимая местными жителями, иная влажность воздуха – все это дополнительная нагрузка на сердце (а работа актера подразумевает именно четкое, послушное поведение-жизнь нашего сердца). «Территориальные и климатические эксперименты» гастролей могут обернуться стрессовой реакцией. Спрашиваю, много ли у него спектаклей за месяц работы в Средней Азии.

– Да… восемнадцать… тяжело…

При обычных условиях, с нормой двенадцать спектаклей, и то не совсем соображаешь, как распределить себя. А тут – восемнадцать, в горах, воздух расплавлен, все живое пережидает ту полосу года, как говорят, «в тени» – трудно невероятно.

– Просил подменить хотя бы спектакля на три-четыре – говорят, некем, – сожалеет Андрей Алексеевич. Но ни раздражения, ни обиды – говорит по-доброму, спокойно.

Вообще он был легким человеком, с ним было просто даже тогда, когда обстоятельства не сулили этой простоты…

Где-то на третьем году нашей совместной работы во МХАТе он вдруг, без всяких недомолвок, психологических пристроек, чисто и честно признался, что не ожидал встретить во мне человека, а уж тем более товарища.

– Я говорю Ирине: «Вот, странно… как ты думаешь, с кем я больше всего сошелся во МХАТе?» – «Ну, не знаю, – отвечает, – судя по тому, кто тебя не только взял в театр, но и сразу дал работу, – с Ефремовым, наверное?» – «Это все так… но это в работе. А вот по-человечески?.. поразительно… со Смоктуновским!»

Далее следовало несколько определений того, что он так неожиданно удачно открыл во мне. Определений не то чтобы там в каких-то повышенных, превосходных степенях, нет, – простая оценка того, чем или все-таки лучше сказать «кем» собственно я и являюсь. И тем не менее слышать о себе самом эти высказанные серьезно, даже с некоторым оттенком удивления, признания того, что ты, оказывается, никакой не укушенный, не прокаженный и уж совсем не гадина и не подонок, – согласитесь, даже от друга несколько неуютно. (Он, наверное, был отвлечен дорогой, мы ехали в машине, он сидел за рулем, подвозил меня к дому). Природа так славно зародившегося доброго отношения ко мне, помню, не очень обрадовала меня, и, подарив вскользнувшееся, недобро заворочавшееся чувство обычной человеческой обиды, я спросил:

– Андрей, погоди… почему, собственно, я должен был бы быть каким-то там недоноском, одноклеточным и негодяем… не

понимаю?

– Ну, как… ты же знаешь, что о тебе такое идет… что подчас и не выговорить…

– Да?..

– Можно подумать, что ты в первый раз слышишь или не догадывался…

– ?!?!

Трудно представить себе, как ты выглядишь со стороны, а в такие редкие минуты самопознания – тем более. Но на этот раз я, наверное, был похож на человека, только что познавшего конечные цели мироздания.

– Ну, вижу, я огорчил тебя… Вот всегда так: делаешь хорошо, получается плохо!

Чувствую некоторую неловкость, что в воспоминаниях об Андрее Алексеевиче Попове мне приходится часто и немало говорить о самом себе. Однако как же рассказать о нем, о тех встречах, разговорах, которые сопровождали нашу жизнь, работу, наши взаимоотношения коллег, товарищей, партнеров и просто собеседников? Наверное, можно, но я-то не умею, у меня другой навык, я только пытаюсь, пробую писать.

Чувство дружбы, обычного человеческого доверия, душевной расположенности в нашем возрасте приходят нечасто и, что говорить, он тем своим непосредственным признанием, неуклюже ошарашив меня, сам был смущен. Смущен настолько, что днями позже, встретив меня в театре, схватив за рукав, тихо и проникновенно заговорил:

– Послушай, Иннокеша, я что-то давеча наплел… хотел сказать о своей… радости, что мы вместе во МХАТе, получилось же, что ты едва ли не чудовище…

– Андрюхин, все в порядке… я понимаю! Мы все временами немного зверье.

По еле угадываемым, мерцающим в темноте меткам люминесцентных красок, указывающих края ступенек лестниц, добираюсь с нижнего куба оформления спектакля «Обратная связь» до самого верхнего. Здесь будет следующая сцена. В темноте нащупываю стул. Перед тем как сесть на него, необходимо проверить, точно ли и вообще стоят ли его задние ножки на твердой поверхности куба. Предосторожность эта необходима, так как за краем, на самой границе которого должны встать ножки стула, провал двухметровой высоты, и если «оступишься» – будешь лететь недолго, но шею, руку, ногу сломаешь совершенно определенно: внизу, вперемешку с лестницами, острые деревянные углы нижних кубов… обхватив большим пальцем ножку стула,

другими пальцами нащупываю самый край, обрыв и… от неожиданности резко отдергиваю руку – теплое прерывистое дыхание неизвестно откуда-то взявшейся собаки осталось на руке…

– Что-о-о, испугался? – долетел шепот снизу и легкий смешок, из темноты появляется улыбающийся Попов. Дали общий свет, улыбка соскочила с его лица, и уже дальше он шел серьезно озабоченный, готовый «в пух и прах» распечь зарвавшихся руководителей, среди которых был и я.

В тот день Художественный театр в чешском городе Брно давал «Чайку» Чехова. Было неспокойно… Мы ждали, ждали сообщений из Москвы о повторном послеоперационном состоянии Андрея Алексеевича. Мы страшно хотели, мы надеялись, мы ждали. Отыграв свой выход, я ушел со сцены в коридор. То, что я увидел там, оборвало сердце… Заместитель директора Эрман пытался найти какие-то слова и, не находя их, потерянно смотрел в рукав пиджака виновато стоявшего здесь же директора…

Я понял… и, боясь услышать подтверждение увиденного, бросился обратно на сцену. Дверь, только что легко и послушно открывавшаяся, преградила дорогу стеной. Я толкал ее, потом, сообразив, потянул на себя и провалился в спасительную темноту сцены. Кто-то шел навстречу. Уклонившись и пропустив силуэт, оказался за задником (нужно уйти подальше, никого не хочу видеть, ни с кем не хочу говорить). Тусклая лампочка на противоположной стороне сцены безразлично, с тоской, уныло звала к себе. Вытянув руку вперед, направился к ней. Зачем – не понимаю и не помню. Рядом вдруг приглушенно прозвучало: «Кем я его заменю-у-у?» Голос, вроде, знакомый, но кто – не мог сообразить… стою… Привыкнув к темноте, буквально перед собой увидел Ефремова, он сидел на чем-то низком, лицо его было где-то внизу, он тупо, как заведенный, покачивался. Я сел рядом. Он скользнул взглядом, дескать: вот ведь, как бывает, – и опять стал делать эти маленькие поклоны в угол сцены: вперед-назад, вперед-назад. Таким я его не видел. Его было жаль.

– Кем я его заменю-ю-ю-ю? – еще раз прорезало темноту.

Горькое «ю», прозвучав, ушло, потонув в общих звуках, населявших спектакль. Я молчал… и вскоре так же молча ушел на мой выход.

На сцене продолжался спектакль. Там, ценой невероятных усилий Лаврова буквально по складам выговаривала слова текста. Казалось, еще мгновение – и она, сломавшись, онемеет либо, отчаянно вскрикнув, упадет навзничь (почти так и случилось минутами позже, когда она ушла со сцены за тюль). Владлена

Давыдова, заменившего Андрея Алексеевича в Сорине, трясло, ему не удавалось подняться на кушетке, он долго пытался и, вывернувшись наконец, как-то боком, страшно встал (хотя должен был только сесть), и стоял седым, виноватым укором, тяжело дыша, с красным, воспаленным лицом, закрыв глаза… «Уведите куда-нибудь… Ирину… Уведите куда-нибудь… Ирину, – боролся я с собой, – …Ирину Николаевну… дело в том, что Константин Гаврилович… застрелился!»

Общий свет погас и только острый луч скальпелем вонзился в Вертинскую. Стоя в надвигающейся, как ледник, беседке, она пусто, холодно, без слез, как в бездну и в последний раз посылала в вечность: «…А до тех пор – ужас, ужас…»

По окончании спектакля в поклонах актеры не поднимали голов, они смотрели в себя, сердцем прощаясь со своим товарищем.

Ненавижу войну

Отцу моему, Михаилу Петровичу Смоктуновичу, погибшему на фронте в 1942 г.

Часть первая. Гастроли

Не могу сказать, что я привык бывать в Варшаве, – нет. До нынешнего прибытия было всего два скороспешных, несколько перенасыщенных по программе и оттого довольно нервных, пребывания в столице Польши – вот, собственно, и все, похвастать, как говорят, нечем. На сей раз в составе огромного коллектива МХАТа, летящего в эту страну на гастроли, где, по существу, занятость моя не так уж и велика, всего в двух спектаклях, и я заранее знал, что свободного времени у меня будет предостаточно и, просто отдыхая, я буду бродить по картинным галереям, прекрасно восстановленным улицам Старого Мяста, с затаенным дыханием постою, призывая все свои душевные силы продлить жизнь, хотя бы в памяти моего зашедшегося в горе сердца, всех тех, кто не смог выйти из-за стен варшавского гетто. Буду праздно бродить по новой, возрожденной Варшаве, всматриваясь в лица прохожих и зная – будет радостно и тепло от сознания, что в этой славной кутерьме варшавян, живой человеческой суматохе дня есть и моя ничтожно малая доля усилий, добрых порывов, устремлений.

В январе 45-го – а на подступах к Варшаве еще раньше, в октябре – декабре 44-го, – я был участником битв за освобождение Варшавы, чем, естественно, горд, но за давностью событий не очень с кем откровенничал по этому поводу, может быть, из боязни показаться нескромным или, чего доброго, хвастуном. Да и что говорить: я же не один тогда боролся за жизнь Варшавы. Этой высокой миссией были охвачены огромные советские и польские войсковые соединения. Однако множественность эта отнюдь не смущала меня, напротив – рождала тогда, да и теперь при воспоминании о ней, чувства истинного доброго братства, душевности и сплочения. Подлетая теперь к Варшаве, я, должно быть, самозабвенно ушел в себя, поглощенный этой великой общностью устремленных к одной прекрасной цели людей.

– Репетируете, что ли?.. Вот уже минут пять наблюдаю, как вы выделываете всякие рожицы с закатыванием глаз, – вернул меня к реальности мой друг, замечательная актриса нашего театра Екатерина Васильева.

– Ну что вы! После всех этих чудовищных передряг с моим юбилеем меня долго еще на любые репетиции калачом не заманишь. А здесь тем более. Надо отдохнуть, просто жить, радоваться обычному бытию, созерцанию, черт побери, так, кажется, называется это. Надо же когда-нибудь узнать, что это

такое. Меня здесь никто не знает, никому я тут не нужен, и глупо не воспользоваться этой возможностью. Наконец-то смогу быть самим собой – принадлежать своим мыслям. Да здравствуют Польша, свобода, отдых, доброе настроение и ма-а-асса свободного времени!

– Вы что же, никогда не бывали здесь раньше?

– Ну почему же… лет двадцать назад приезжал со своим Гамлетом… Было совсем недурно, но… порою я умею устроить себе так, что все мои злопыхатели и недруги, объединив усилия, не смогут повредить мне больше, чем сделаю это я сам. Перекурил на премьере… да так, что было просто нехорошо – в глазах все плывет, валится, внутри лихорадочная дрожь, готовая перейти в какое-то новое, еще более нестерпимое состояние, и, как рыба, выброшенная после крючка на лед, метался в самом себе, хватая ртом воздух, пока не зацепился сознанием, что спасение только в глубоких вздохах.

Помню смешной, но больше, пожалуй, нелепый случай в связи с этим. Поздно, безлюдной ночью вернувшись в гостиницу, я ввалился в кабину лифта с приглушенным светом, продолжая глубоко дышать, еду себе на какой-то там свой этаж, и было тоскливо видеть в зеркале напротив: до чего может довести человека его безволие – я был бел, как мука, и мои спазматические усилия заглотнуть побольше воздуха в себя делали меня похожим на бесформенный манекен-пузырь, который, периодически раздуваясь, казалось, то стремился выдавить собой весь находившийся в кабине воздух, то сморщивался, угасал, уходя куда-то вовнутрь. И действительно, было просто тяжело быть свидетелем этих крайних усилий. Остаточным, свободным от никотина уголком сознания смутно угадывалось, что это – я, хотя сходство было весьма и весьма отдаленным. Как понимаете, здесь было над чем поразмыслить, что, помнится, я и пытался делать, но вдруг наткнулся на… глаза. О! Невероятно… Одни глаза! Что бы это значило? Глаза? Но такого не могло быть – глаза всегда чьи-то, а здесь никого нет, а глаза есть. Они секундой ранее выдвинулись из-за моего плеча и, уставясь на меня, вкопанно стояли на месте… Ну, всякие бывают галлюцинации, я, правда, в этом никакой не знаток, однако приходилось слышать, но чтоб такое… Представляете?.. Кругом ни души, а из зеркала, как леший из болота, прямо в тебя уперлись глаза… «Начинается, должно быть», – пронеслось во мне… Ну, наверное, я на них воззрился не хуже, чем это они проделывали со мной. Что такое? Моргнув, эти два ока обнаружили ряд белейших зубов и, промяукав что-то, закрылись. Послышалось раздраженное шипенье. Не успел еще что-либо

сообразить, из-за моей спины шарахнулся темный силуэт… передо мной – злая, как мегера, и черная как смоль стояла негритянка. Мне настолько было худо, что, входя в пустой лифт, я не приметил, как она, скользнув, желая, должно быть, подняться этим лифтом, чтоб не ждать следующего, пристроилась за моей спиной у двери, и, упражняясь в дыхании, я чуть было не придавил ее, бедняжку. Ну, сама виновата, не надо быть такой уж чересчур черной… Все должно быть в разумных пределах. Правда, я сожалел и честно пытался извиниться, но она, гневно фыркнув, на этот раз не удостоила даже взглядом. Все равно она была прелесть как мила… этакая строптивая смоль, фурия. Замеча-а-ательно. Хорошо, что еще не укусила, а стоило, право, стоило. На следующий день я пошел было караулить ее и купить ей цветы, чтоб хоть как-то смягчить эту неловкость мою, но… весна, цветы страшно дорого стоили и, посокрушавшись, я отказался от этой разудалой гусарской затеи, и правильно сделал, должно быть, так как днями позже мельком видел ее в окружении каких-то страшно важных, лоснящихся, толстеньких господ, похожих на персон из дипломатического верха… чего доброго подумали б чего-нибудь не так – ну и скандал, а это, как мы знаем, всегда неудобно – гнетет и пугает.

Варшава встретила нас, пожалуй, более сдержанно, чем мы предполагали. Пять-шесть человек, недурно говорящих по-русски, тактично, сдержанно улыбаясь, вручили кому-то букеты цветов. Погода была несколько пасмурная, это, очевидно, сказывалось на общем настрое, и оттого, должно быть, никто не обнимал и, уж конечно, не бросался с поцелуями, что, кстати, не могу отнести к недостаткам этой встречи, скорее, напротив. Дни советской культуры в Польше – стало быть, приехали культурные люди, и встречали их в центре Европы, в своей столице Варшаве, тоже не какие-нибудь непросвещенные, увешанные там всякими блестками, стекляшками аборигены, а воспитанные, с университетским образованием, тонкие, предупредительные, интеллигентные люди. Ну и нечего набрасываться друг на друга. И так все ясно, а главное – достойно и просто. А ведь бывало порой – терзаешь какого-нибудь едва знакомого человека или он тебя, а потом мучительно вспоминаешь: на этого, что ли, набрасывался с поцелуями или нет, вон на того, кажется, который до сих пор морщится и головой крутит – никак в себя прийти не может. Вот и стоишь этаким истуканом: облобызались, как близкие и родные, теперь стоишь рядом, а говорить не о чем. Неудобно, зажат, стеснен до стыда, даже жалко становится самого себя. Ну а здесь жалость-то как бы совсем ни к чему. Да и вообще она не нужна. Ну-ка ее. И это понимали не только мы, но и наши

польские товарищи. Поэтому после бодрых, дружных рукопожатий все наши так же быстренько и дружно позалезали в автобус, и я даже заметил на лицах наших польских друзей некоторую растерянность, что-то вроде: «Тех ли мы встретили-то?» Оно, конечно, коллектив коллективом, а захватить себе хорошее место у окна автобуса – крайне важно (наблюдать проплывающую мимо незнакомую страну), и они теперь сидят там с видом выполненного долга. Путь из Варшавы до Вроцлава действительно не близкий. Мне, должно быть, как одному из старейшин театра (8 апреля МХАТ СССР в Москве торжественно отметил мое 60-летие, вот об этом-то юбилее я и говорил ранее), неторопливому, не суетящемуся человеку, осталось место, которое никому, должно быть, не понравилось, – в конце автобуса, это там, где всегда почти непременно пахнет бензином. Правда, я не очень люблю запах бензина. Мне больше нравится дух свежевыпеченного хлеба, ароматы леса после дождя и по весне парок прогретой солнцем земли или запахи скошенной под вечер травы, совершенно ведь неописуемые, но оттого не менее чарующие. Чудо как хороши. Замечательно! А здесь – бензин! Но и это еще было бы ничего. Дело в том, что оставшееся мне сиденье располагалось как раз над колесом, над задним колесом, и колесо это, должно быть, было очень большое, потому что для ног внизу места не оставалось никакого, то есть оно было, но по высоте почти вровень с сиденьем. И стоило мне лишь легонько поместить ноги на это место и попробовать присесть, как мои колени оказались на уровне ушей. Проехать так две-три автобусных остановки, пожалуй, и можно, однако сидеть такой закорюкой 300 километров пути до Вроцлава – много сложнее, я думаю, и сложность заключалась даже не в самом пути, а в том, как потом уже, по прибытии на место, вытаскивать, разгибать и выпрямлять эту утрясшуюся за дорогу и перевернутую несколько не в ту сторону штуковину в сером плаще, похожую на какого-то знакомого человека. Вот только это меня и смущало. Однако уже сидя в позе этакого кузнечика-великана, я вспомнил совершенно успокоившую меня мысль из Дарвина: «Что ни говори и как там ни крути, а человек произошел от обезьяны, и хочешь ты этого или нет, а дань своим предкам порою отдавать необходимо». И – странное дело! – мне сразу стало легко-легко. К тому же жена моя, Суламифь, перед моим отъездом говорила: «Твои большие спектакли театр в Польшу не везет, у тебя только две небольших и, в общем-то, нетрудных роли – тебе будет легко, там ты и отдохнешь». И теперь, сидя на колесе, естественно, я не стал противиться доброму напутствию моей жены и, про себя сказав ей «спасибо», а самому себе – «три-четыре!», начал отдыхать.

Однако я должен пояснить: «три-и-и – четыре!» – это вроде команда такая внутренняя, самому себе, ну вот, как говорят или даже кричат, толкая сообща что-нибудь тяжелое: «Взя-я-ли!», чтоб сразу и лучше пошло. Вот так точно и я, только кричал не «взяли», а «три-четыре». Кричать «взяли» вроде бы как-то не совсем удобно – я один, а «взяли» – число множественное. Представляете, человек в шляпе сидит на колесе, колени его каким-то образом едва не выше его головы, и между этими торчащими ногами можно даже увидеть лицо того человека, с несколько ошалелыми глазами, время от времени довольно бодро выкрикивающего: «Взяли!.. Взяли!..» Согласитесь, несколько странно, не правда ли? И поэтому я сказал про себя, как молитву: «Три-четыре!» – и все, никто не слышал и не обратил внимания. Я сижу на колесе, и скоро поедем. Да здравствует сервис, комфорт, самодисциплина и всякие другие не менее вдохновляющие славные и бодрые воззвания.

Как всегда, какие-то организационные неполадки не позволяют нам тронуться в путь. Кого-то, видите ли, нет, «их» ищут, «они» изволят гулять-с! Ох уж эта театральная публика! И так всегда: кого-то ищут, кого-то ждут! Ладно, будем добрыми, терпеливо-разумными и возьмем себя и свои нервы в руки. Будем ждать и мы. «Три-четыре. Начал ждать». Наконец там, на свободе, вне автобуса, где люди ходят прямиком, стало проявляться некоторое беспокойство, даже нетерпение: да где же он, в конце концов??? И в это же время кто-то неуважительно, грубо забарабанил в окно автобуса прямо возле меня. Высунув нос, я увидел нашего заместителя директора Эрмана, Леонида Иосифовича, который, увидев меня, не смог да и не пытался скрыть своей полной радости и счастья, заорав: «Вот он!.. Наконец-то – берите его!» Оказывается, искали и ждали меня одного, и, действительно, меня быстренько взяли, усадили в уютную, чистую, свободную легковую машину, да еще спросили: не будет ли мне скучно одному? На что я, естественно, заорал: «Ни в коем случае!!! Наоборот – чудно!», но мне, кажется, не поверили.

И вот мы катим по прекрасной дороге. Вместо одного большого колеса подо мной целых четыре, и они не только маленькие, но, что много существеннее, нормально расположены подо всей машиной, и ноги мои вместе с коленями находятся там, где и должны находиться, и я могу их вытягивать, если на то будет охота.

Какое замечательное завоевание нашего времени – автомобиль! Помимо элементарных транспортных удобств, то есть прямых его услуг, столь остро я, пожалуй, впервые

почувствовал возможную в нем атмосферу доверительности… Да нет, это понятие не в силах вместить то, что жило тогда в машине. Душевность – вот, должно быть, – она. Приходилось слышать и раньше, что машина редко, как какое другое закрытое помещение, может не только гарантировать секретность, скрытность разговоров, происходящих в ней, что само по себе совсем недурно, но и располагать к искренности. Однако секретность – это «чревовещательная» область тайн, напряженных шепотов, оглядок на двери, углы и потолки, где все ограждено и скрыто, а в машине, к тому же, и не стоят на месте, и это, как всякая тайна или преднамеренное уединение, для стороннего глаза несет в себе нечто недоброе, настораживающее, что, естественно, порождает появление не очень честных, благовидных и уж совсем недостойных реакций и желаний – хочется, например, подслушать, узнать, подсмотреть, черт побери, и даже промелькнет мысль: а не позвонить ли в милицию, чтобы проверили документы, потому что явно замышляется что-то такое, о чем *они – те, в машине, – не могли даже говорить в обычных человеческих условиях, а уединились!*

В нашем же случае, кроме самой машины, было все иное и совсем иное. Снаружи продолжал накрапывать мелкий весенний дождь, теплый ветер весело настаивал на своем трепетном порывистом желании – непременно разбудить природу, так долго дремавшую зимой, а машина, окончательно уверившись в доброте и честности своих пассажиров, плавно скользила по мокрому асфальту и легким, умиротворяющим шорохом шин как бы призывала все окружающее к тишине, чтобы не вспугнуть поселившихся в ней искренность и простоту. За окнами машины, радуя глаз, пробивался первый зеленый дым листвы. В Москве мы еще только ожидали его. Было рано, было еще слишком рано – не приспело время, и сознание, жадно поглощая это зеленое изобилие, не забывало напомнить, что по возвращении в Москву, через месяц, мы сможем также утолять голод в этом весеннем вздохе авитаминоза чувств нежности и цвета. Две тысячи километров к нам на восток до нашей Москвы тому порукой. Две весны кряду? Когда такое еще может быть? Все прекрасно, и я – отдыхаю!

И как страшно, что всего этого могло не быть – ни этих ухоженных, чистых, уютных домов, участков, ни этой бодрости трудового утра у всех, копающихся в поле и около дворовых построек, несмотря на накрапывающий дождь. Да просто-напросто меня самого могло не быть. И копались бы совсем-совсем иные, другие по своему настроению, самочувствию, жизни люди, а не этот славный, достойный народ. Как дурное ощущение, припомнились программные идеологические вывихи нацистов, их

антигуманные, человеконенавистнические цели – постепенное уничтожение многих десятков миллионов славянских, да и не только славянских народов, с целью ослабить, подорвать навсегда их количественную мощь и сведение оставшихся до положения рабов.

Какое уродство, какая чудовищная гниль в сознании и действиях! Нет, такого не могло быть! Такое не должно было жить – вот уж действительно не имело права.

Рядом со мной в машине поместился один из польских товарищей, встречавших нас в аэропорту. Это все для того, чтобы я не скучал, и машина уносила нас вперед к Вроцлаву. Было приятно видеть где любовно уже запаханную, обработанную землю, где лишь аккуратно разбросанный навоз. Как редкую диковинку заметил быстро перебегающего дорогу длиннохвостого фазана, а несколько позже – совсем промокшего, какого-то несчастного на вид зайца, который некоторое время скакал в одном направлении с нашей машиной, потом вроде, сказав самому себе: «С чего вдруг мне развлекать его?», остановился, даже не взглянув в нашу сторону. Но он действительно был уж очень мокрый, как лягушка, и ему было явно не до меня.

Машина отсчитывала километр за километром, было хорошо, уютно, тихо и тепло. Соседом моим оказался прекрасный человек, и если был у него какой ясно выраженный недостаток, который можно было бы выявить за столь короткий отрезок времени, так это не то, что он страшно много курил, а то, что каждый раз, желая закурить, просил разрешения проделать это, несмотря на то, что я дымил вместе с ним. Вот только это меня несколько огорчало в нем. Однако в разговоре вскоре выявился второй и, надо полагать, последний его недостаток. Но недостаток этот был не его, а у него. Ему не доставало бензина для его личной маленькой машины, с чем он, впрочем, уже мужественно смирился и не без удовольствия и удивления для самого себя открыл наличие удобного общественного транспорта в Варшаве. Звали этого замечательного человека Ян. Вероятно, он один из тех добрых людей, которые даже не подозревают о своей доброте. Осознание подобными людьми этого редкого их дара вроде как бы и не обязательно, просто они бывают сами собой и другими быть не могут – и все тут!

Ощутив его душевную расположенность, на вопрос, впервые ли я в Варшаве (я понял, что со времен «Гамлета» меня здесь действительно забыли, что было приятным доказательством правоты моей жены – что здесь-то я в самом деле смогу отдохнуть и прийти в себя после сумасшествия с юбилеем), под ровный, легкий шум машины я вкратце поведал ему, что я бывал

здесь и много раньше и даже прошел пешком с автоматом в руках по большей, как мне казалось тогда, части Польши во время войны.

– Позвольте, так вы что же – воевали? Сколько же вам тогда было?

– Немного, около двадцати. Я уже немолод, а сейчас, если и выгляжу не худо, то только благодаря тому, что в Москве перед вылетом тщательно побрился.

Он не то не понял мою остроту, не то не принял, а, серьезно посмотрев на меня, тихо продолжая оценивать что-то связанное со мною, выговорил: «Ах вот оно что-о-о?!» И, конечно, тут же, показав мне на сигареты, дескать, после такого не закурить просто невозможно – задымил. Я присоединился к нему, и нашего доброго, славного некурящего водителя, похожего на молодого, здорового Санчо Пансу, забил кашель, отчего машину нашу стало бросать, словно она шла по неровно вымощенной мостовой. Когда приступ никотинной астмы у водителя кончился и мы перестали колотить макушками в потолок машины, я без затей поведал Яну, что в конце 44-го года 165-я гвардейская стрелковая дивизия, в составе которой я воевал, брала основательно укрепленный немцами город-крепость Седлец, что особых подробностей не помнится, кроме одной, пожалуй, страшной, как наваждение…

И в первый раз подумалось – почему именно этот случай так глубоко и больно продолжает ранить память и сердце? Не оттого ли, что все в нем выходило за пределы дозволенного даже войной, если вообще само состояние войны можно считать позволительным. Вот то, что оставила память о трагедии на подступах к крепости Седлец.

Город, должно быть, предполагали взять внезапно, налетев вихрем огромного кавалерийского соединения, и оно на исходе ночи в долгой веренице однообразных приглушенных звуков быстро мчавшихся лошадей стремительно проносилось мимо нас. В их безмолвной устремленности было что-то от страшного миража живого, закручивающегося вокруг тебя омута. Многие всадники были в черных плечистых бурках и в уходящей темноте виделись огромными доисторическими чудищами со сложенными крыльями. Лошади, казалось, чувствовали затаившегося впереди врага и неизбежность страшной встречи с ним, нервно широко раздувая ноздри, проносились мимо. Зарождающийся день скупо манил надеждой, но только неизвестность, лишь одна она, была внятной брезжущему, робкому утру. Важные, суровые конники и на лицах их, насколько можно было успеть различить, осела некая тайна. Ни единого слова, ни единого отдельно выделенного какого-нибудь звука. Такое живое устремление силы и воли я видел впервые и не знаю, в чем тут дело, но, глядя на уносящуюся великолепную

пружину эту, ясно помню нехорошее почему-то ощущение жути, тоски. Их было много, и, промчавшись неудержимой лавиной, они надолго оставили в придорожном воздухе запах едкого лошадиного пота и тепла. Не думаю, чтоб я был прозорливым ясновидцем и мне были открыты какие-то хоть малые тайны будущего. Совсем нет. Это ощущение настороженности было не только у меня. Здесь многое и разное соединилось в одно – относительно спокойная фронтовая ночь, как бы в отместку за кажущийся покой, приводила за собой свежесть и загадку утра, в которое ускользало это живое воплощение силы, красоты и гармонии; близость противника, необычность воинов, затаенная скрытность их передвижения, тишина, приглушенность маневра.

Иное увидели мы днями позже. Сдвинутые на обочины дороги черные, обугливишиеся нагромождения людей и животных. Запекшиеся черные бурки. Застывшие всадники в исковерканных седлах с приваренными к сапогам стременами. Задранные головы лошадей с лопнувшими главами, на черно-маслянистых лицах воинов жестко торчали из-под лихо заломленных кубанок спаленные чубы волос… Как чудовищные экспонаты жестокости войны, немо вопия с обеих сторон дороги, они провожали нас, идущих вперед к жизни, победе, будущему. Было трудно дышать – запах паленой шерсти, сожженного мяса и сгоревшей нефти долго был нашим попутчиком. Засада фашистских огнеметчиков перед самыми стенами Седлеца сделала свое страшное дело.

Мой сосед от одной сигареты прикуривал новую и только время от времени, не перебивая меня, как бы выдыхая, тихо проговаривал: «Да-да, Иннокентий, дорогой, мы знаем, знаем!..» Никто никогда не смог бы со стороны и близко предположить о взволнованной насыщенности едущих в обычной с виду машине, и она легко уносила по широкой серой ленте дороги двух почти незнакомых, непохожих друг на друга, во многом просто разных, но теперь объединенных этим страшным воспоминанием, одним горем, одной болью людей.

Свободного времени у меня в Союзе не бывает, да я и не особенный охотник экскурсов в прошлое, как бы чрезмерно значимо, необычно оно ни было для меня. Все время у меня забирает «сегодня», семья, работа, быт. Если вдруг выдастся свободный день – долго, недоверчиво, искоса встречаю его, предчувствую, что за эти, как с луны свалившиеся, беззаботные часы отдыха уже завтра надо будет расплачиваться втридорога. А здесь пять-шесть часов свободного времени, за окном машины вставшая из руин, дружественная моей Родине Польша, первая пробивающаяся весенняя зелень и рой нахлынувшего прошлого, как высокая, светлая цена вздоха, света сегодняшнего утра, запаха дешевых

сигарет, пульса рядом взволнованного доброго сердца и всего того чуда, что зовется ЖИЗНЬЮ! Прошлое – наши корни, трепетность наших душ, во встрече с ним наше Достоинство и надежды в будущее.

Вспомнились города Тлущь, Валоминек, Радзимин и то, как мы подошли к правобережной Варшаве – Праге. На другой стороне Вислы, где когда-то был город, кипела жизнь, где так щедро проявлялась природа высокой одухотворенности польского народа в музыке, поэзии, архитектуре, живописи, – тогда было зловеще пусто, темные остовы домов с провалившимися глазницами окон, смущенные своей непривычной наготой, растерянные группы печных труб, истерзанная строгость костелов – все пронизывали ленивые сквозняки черного, медленно ползущего по этому огромному кладбищу города зловонного дыма. Туда пришел фашизм – там поселилась смерть.

Не помню, форсировали мы тогда Вислу или как-нибудь прошли ее мимо, стороной. Выдумывать не буду – не хочу. Однако же что-нибудь да осталось бы в памяти сердца от такого события, как форсирование Вислы, если б это происходило с нами, с нашим подразделением, в котором я был, а вот ведь – совсем ничего. Надо полагать, «культурные слои» памяти не могут содержать в себе того, чего в них никогда не бывало, естественно, если быть правдивым и откровенным не только к прошлому, но и к самому себе, что порою бывает совсем не просто и не легко. Вот с Варшавой, вернее с предместьем ее, память связывает меня совершенно определенно: что это такое – местность, район ли Варшавы или лес, деревня, хутор, а может быть, по-польски это просто-напросто определенный участок берега Вислы, пляж какой-нибудь – в общем, не знаю, что бы это могло быть, однако память упрямо удерживает название: Нипорент, и цепкость эта рождена, разумеется, не самим этим непонятным для меня словом или звукосочетанием, а ясным видением чистого, гладкого поля перед большим и красивым издали лесом и нас, бегущих густой цепью на недруга, засевшего в этом лесу. Злой по плотности и ожесточению артналет поумерил и охладил наше рвение – мы залегли. Идти дальше, когда все так пристреляно, было безрассудно, однако последовала команда, и, вскочив, мы что есть сил продолжили свой бег в сторону леса. Но бежало нас уже не то количество, что было до обстрела. Очередной шквал мин жестко и открыто говорил, что нам так и не удалось выйти из зоны обстрела и этими не скупящимися на мины парнями из рейха руководили с прямого, хорошо нас просматривающего наблюдательного пункта. Вынужденные прижаться к земле, мы распластались на ровной, как блюдце, местности, и не доползи я до воронки от ранее

разорвавшейся мины, думаю, что эту шальную и не оправдавшую себя атаку вспоминал бы уже кто-нибудь другой. Но вот ведь какая недолга: наша столь нерассудочная настойчивость и непреклонность идти только вперед и никуда больше были, как это ни странно, довольно внятно поняты и оценены спрятавшимися в красе леса арийцами, и они, по-прежнему, разумеется, оставаясь представителями «высшей расы», почему-то сбежали.

Голос звучал неспешно, с паузами размышления, и воскресало то, что когда-то обожгло, оставив след в нервах, душе, осело, глубоко надсадив доверчивое чувство юношеского восприятия. Память, пробираясь через толщу времени и нагромождение событий послевоенных лет, была неторопливой, несуетной, и я уже чувствовал, предугадывал, куда выведет мое такое настроение, если я не остановлюсь! Двор и та польская, со зловещим на русское ухо, немецким названием Домирау (домирать, что ли?) деревня с нескончаемой тоскою ночи среди тел павших товарищей. Нахлынувшее было четко-ярким, даже тяжелым, словно не было никаких сорока лет мирной жизни, волнений ее будней, взлетов в работе, горьких, досадных падений, страшных событий в семье, болей, обычных неудач, даже провалов в работе, о которых у нас почему-то не любят говорить; горя, разочарований, но и встреч с удивительными людьми столь высокими, что, думая о них, легко совмещаю их простую человечность с обожествлением, хоть они и продолжают оставаться самыми простыми людьми; счастья, когда во всех висках стучит радость вздоха, чудо жизни; словно не было на перепутьях невероятных ошибок, горьких непоправимых утрат, встреч в работе, следовательно в жизни, чудовищ, монстров, гадов и гадюк, наглых лжецов, параноиков, раздираемых тщеславием и оттого пускающихся во все тяжкие, лишь бы не дать заглянуть за хитро выстраиваемые ширмы, за которыми скрывали свою немощную, гадкую, жалкую и никчемную суть и душонку, – а лишь прошлой осенью все это свершилось и теперь легко и просто воссоздается вновь, как под рукой реставратора древней живописи начинает медленно и властно проступать единственное, что имеет право на свет и жизнь, – правда, ее оригинал. Все наслоенное временем ушло, смыто, и представшее ошеломляет своей строгой давностью и величием.

Я убежден, что только правда может быть достойным памятником павшим и тому времени, когда так непросто приходилось отстаивать не только жизнь страны, достоинство народа, но и право на свою собственную, в общем-то, только начинавшуюся тогда жизнь и, конечно, возможность видеть теперь, по прошествии более сорока лет, эту взволнованную

нежность молодой листвы, затаенное ожидание повторной встречи этого зеленого волшебства весны у себя в Москве, и ту душевную щедрость и простое человеческое внимание и тепло, что ожидали нас во Вроцлаве.

Вкратце я поведал ему о той ночи в феврале 44-го. Говорил сдержанно, даже сухо, без игры и эффектов, подсознательно, должно быть, полагаясь на страшную суть того события, что вновь вдруг увиделось с такой поразительной четкостью. Сдержанность рассказа позволила впитывать и окружающее: Ян был настолько ошеломлен услышанным, что долго не курил и только время от времени заведенно тихо приговаривал: «Дорогой… дорогой», и иногда лишь к этому «дорогому» прибавлял: «…ты наш». Водитель машины, чтобы видеть мое лицо, поставил зеркало машины так, что его удивленные, все переживающие глаза были прямо передо мной, и он, совсем не говоря по-русски, как-то славно мягко, упершись в одно слово, настаивал: «Далшие, далшие» – и ехал тихо, позволяя длинной веренице машин легко обходить нас, сказав, несколько оправдываясь, что надо немного поотстать, чтобы наши два автобуса (я подумал – с большими колесами) нас догнали и в город въехать единым кортежем.

Вскоре пошел пригород Вроцлава, и через какое-то время на нас уже надвигались громады его восстановленной красоты и строгость современных архитектурных ансамблей, которые, впрочем, довольно часто уступали место до обидного обычным жилым массивам. Как совместить желание как можно быстрее обеспечить жильем побольше народу с красотой и удобством этого, многими ожидаемого, жилья. Проблема века, и особенно для народов, втянутых в последнюю мировую войну (как прекрасно, однако, могут звучать эти три слова, если придать им их буквальный смысл: «последняя»).

Как памятник страшным боям на этом месте и утверждения доброго созидания и жизни нас приняла отливающая белизной и радующая глаз четкостью современных линий новая гостиница, своей строгостью напоминающая гигантскую, белого мрамора плиту.

В нашу насыщенную программу гастролей хозяева поляки решили внести свое разнообразие встречным планом: всевозможных мероприятий, встреч, бесед, посещений памятников, музеев, галерей, соборов, театров, просто прогулок по городу, больших и малых приемов, обедов и чаепитий. И если ко всему этому общему обилию контактов прибавить еще и частный, так сказать, индивидуальный, личный сектор издержек все еще теплящейся (после прошедших когда-то фильмов с моим участием) обычной известности фамилии, сопровождаемой всевозможными

разномасштабными интервью, обращениями к читателям «такой-то», а здесь «такой-то» газеты или журнала, встречи в университете или со студентами театральных школ и студий, – то станет понятным, почему каждого последующего поляка или польку, как бы милы лично и общительны они ни были, я встречал более пристальным взглядом, желая, наконец, понять: когда же иссякнет этот прекрасный любознательный и любезный калейдоскоп коммуникабельности, жажды узнать, увидеть, слышать, записать, снять, улыбнуться и уйти. Однако было бы странной бестактностью, неблагодарностью, да и просто неправдой – не скажи я, что все трудности и неудобства буквально потонули в прекрасном, окружившем нас в этих трех польских городах: Вроцлаве, Кракове и Варшаве.

Дни, что легкомысленно предполагал провести в свободной бездумности «ничегонеделанья», – плотно насыщены работой: репетиции, встречи с новыми людьми, а это не всегда просто – нервы (кто ты, что знаменуешь собой, гибок ли ты и серьезен или творчество для тебя лишь парадная лестница и ты в своем неведении не подозреваешь о муках, а порою и отчаянии в работе, о темных лабиринтах поиска; а отсюда – можно ли позволить себе радость быть самим собой в твоем обществе, да и многое, многое другое). И вот после двух недель – мы в Варшаве… Жара не по времени – всех разморило, разомлевшие, с открытыми ртами, сидим на пресс-конференции; душно, помещение низкое. Некоторые подхватывают воздух: в глазах мельтешат самодельные опахала из блокнотов, листов бумаги. Господствует вялость, вопросы инертны, порой избиты, под стать ответам. У многих безразлично-отсутствующий вид. У входной двери здоровый кинооператор с готовой камерой на плече что-то нашептывает миловидной девушке рядом, по всему видно – снимать не будет, не собирается, не видит достойного объекта; с удивлением нахожу в себе право порицать, брюзжать про себя: «Ну что же ты, голубчик, специализируешься больше на перешептывании, ведь мог бы и снять…» Неожиданно… захотелось вдруг встретиться взглядом с его подругой, из зависти, наверное: он шепчет, а на меня даже взгляд никто не бросит. О, невероятно, телепатия все-таки есть. Она посмотрела на меня… но как-то странно, вроде я – стеклянный и способствую собою лучшему рассмотрению того, что за мною. Я попробовал улыбнуться… Никакого впечатления. Ага, понятно, сейчас начнет демонстративно зевать… вот еще мгновение и… Оказывается, она меня действительно не видит, хоть и продолжает смотреть мне в переносицу. Впрочем, иногда я тоже так поступаю, особенно когда хочу произвести впечатление, показаться одухотворенным, оторванным от быта, мелких дрязг и

всяких там перешептываний. «Очень-очень непрост и сколько загадок – уставился, знаете, мне в глаза, а сам далеко-далеко; вот откуда и актер такой – личность, индивидуальность». А я в это время мучительно соображаю: как бы потоньше выйти из этой уже порядком самому надоевшей самодеятельности? Иногда получается, порою не очень – разоблачают. Бывает стыдно. Не хочу упрекать, но пресс-конференция прошла «никак», повеяло скукотой «мероприятия» – казенно, пресно, и это при таком-то скоплении творческого люда, полного чутья времени, его пульса, повышенных ритмов жизни, знаний психологии; властителей человеческих дум и душ; глубоких ценителей истинной простоты и поклонников высокого изыска; ревностных стражей старины, добрых традиций и восторженных поборников новизны и поиска. Все были тут – собрались истоки вдохновения Польши, ее одухотворенная стать, нерв, ум, а все склонялось к обычной сухой информации. Ну а где же тоже обычные, но мироощущения «сегодня», так необходимые в любом творчестве, где устремления и надежды в «завтра», где человеческий, личностный фактор, наконец, – основа основ всех областей человеческой деятельности? Ничего этого, как и многого другого, не было – было скучно, вяло и до испарины душно.

Красивая, но уже немолодая женщина (в Польше ни тем ни другим не удивишь) перед завершением встречи, отыскав меня за спинами моих представительных товарищей в президиуме, куда я спрятался в надежде предупредить возможность излишне повышенного интереса к моему творческому «я», пожелала познакомить читателей своей газеты с тем, «как чувствует себя «звезда» в окружении прекрасных актеров?» Вопрос этот, хоть и носил в себе некую дамскую заумь, был, по существу, едва ли не единственным стоящим вопросом, во всяком случае, позволял театру остаться средоточием человеческих индивидуальностей. Правда, столь барьерное сопоставление не исключало впоследствии скрытых теперь подводных рифов, так характерных для творческих коллективов. Однако наш театр, к счастью, избежал склок и пересудов, и вопрос приняли много легче, чем я сейчас о нем пишу. Вооружившись обратной терминологией корреспондентки и немало смущаясь, что приходится говорить не о творчестве, а о иерархических положениях, ответил: «Хорошо! Мне кажется, что я занял свое рабочее место в этом нечастом созвездии и, если говорить серьезно, то многое, вернее, основное в «свечении звезды» происходило в прошлом, однако совсем неверным было бы предполагать и полное «затухание этой светилы»; как в том, так и в другом легко можно было бы убедиться, посетив спектакли». Я сказал то, что было на самом деле, однако это восприняли

проявлением скромности и такта. Ничего этого можно было бы и не писать – не произойди того, что опрокинулось на меня через минуту.

Спокойно, вместе со всеми я выходил на «свежий воздух», и вот тут-то в более просторном и высоком, чем пресс-зал, вестибюле на меня вдруг обрушились жаждущие спрашивать, знать, снимать, брать интервью, просто беседовать, писать диалоги для радио, телевидения, газет, журналов, каких-то программ, общежитий и студенческих аудиторий. Их было человек двенадцать-пятнадцать, однако напор оказался значительно большим, чем можно было бы предположить от такого, в общем, небольшого количества интеллигентных и воспитанных людей. Они давили – и создавалось впечатление, что их пассивность на пресс-конференции была лишь отдыхом перед стартом, проверкой силы, желанием сосредоточиться для этого объединенного броска, где если уж давить, то давить наверняка. Признаюсь, промелькнула спасительная мысль, что все это хорошо организованный розыгрыш, этакий праздничный карнавал-капустник, встреча приехавших из дружественной страны; и я уже готов был бить в ладоши – как все это славно, мило и хорошо, когда увидел вдруг, что кто-то, проявив инициативу, составляет расписание нашей работы на три дня вперед (не считая этого) из всех семи дней в Варшаве – вот тут-то мне стало немножечко не по себе. И какие-то муравьи и мурашки пробежали по всему телу моему. Вспомнилась жена, мягко говорящая мне перед отъездом: «Вот там-то ты и отдохнешь!» – я улыбнулся ясновидению моей жены, улыбку приняли за полное, «любезное» согласие и готовность ринуться в работу тотчас… во все семь дней, по этому поводу было общее восклицание восторга… и колесо закрутилось… и я вышел из того высокого помещения четырьмя часами позже. Уже ночью, с холодной тряпкой на лбу, у себя в номере, я перебирал в мыслях все «объективные причины», изложив которые я мог бы свободно уйти от любой «засады», но они так мило ссорились между собой, борясь за каждые десять-пятнадцать минут моего времени, и кто где меня схватит, потащит в свою машину, такси, и где потом перебросит туда-то, где пути двадцать минут, за которые тот-то успеет разделаться со мной в машине и спровадит Тадеушу, а уж здесь-то, после него, ты его не выпустишь и т. д. Слова, правда, произносились несколько иные – хорошие, милые слова, но суть их была именно такой! И когда они все это произносили, то они не очень-то и смотрели на меня. И вот уже четвертый день я только и делаю, что отвечаю на вопросы, беседую, улыбаюсь в телекамеры, переезжаю из одного конца города в другой, а в это время улыбаюсь, пересаживаюсь из

машины в какую-то подвальную камеру… чистую, темную, но воздуха нет; оказывается – это лифт. Едем на крышу, просто улыбаюсь; поднялись, света и солнца столько, что после трех дней работы в закрытых помещениях с корреспондентами не могу открыто смотреть, но улыбаюсь, но не просто, а с какой-то гримасой; странно – простота куда-то ушла и получается, что все мне надоели и я недоволен, а вот, право же, я счастлив и все еще на ногах и… улыбаюсь. А в одном месте даже захохотал, и дело вот в чем: все материалы этих встреч нужно было сопроводить фотографиями, и, по мере того как иссякал запас вопросов в одном корреспонденте, мы вместе с ним или с его фотографом, а то и все вместе, выбегали на более светлое место или вообще из помещения, делали пять-шесть снимков и бежали обратно к терпеливо ожидавшим представителям других каких-то изданий, и… «танцы продолжались» до следующего броска, сниматься – улыбаться. Не знаю, что тому причиной: жара ли, спешка или засветило негатив, но в одной из молодежных газет, которая предоставила целую полосу для моего интервью, озаглавленного «Меня сделала жена», поместили фотографию… я много дольше, чем она того заслуживает, рассматривал ее. Ну что можно сказать?! Существует, как мне кажется, какой-то специальный способ печати фотографий военных преступников, просто убийц и всяких там маньяков, параноиков… так вот… я, правда, не могу сказать, что вместо моего лица там поместили кого-нибудь из вышеперечисленных, но очень-очень похоже. И как это получилось, и что это такое – право, не знаю. И парень тот, что снимал, был довольно мил, скромен и чист лицом. У него тоже что-нибудь заело, наверное, бывает такая полоса заеданий, вот тогда-то я и хохотал. Зато не могу не похвастаться, не поделиться радостью: все эти маленькие оплошности и курьезы с лихвой оправдались фотографиями прекрасного художника Машейя Мусиала. Это он был вместе с нами в той деревне под Торунем, и я счастлив знакомству и благодарен ему за его работу.

Порою вместе с моим режиссером Олегом Николаевичем Ефремовым я имею честь представлять Художественный театр, и иногда он просит даже выступить меня. Правда, просьбы эти в последнее время угрожающе сократились, свелись едва ли не к нулю, но тем не менее нет-нет да и промелькнет милость. Как правило, Олег Николаевич дает мне слово, когда сам очень утомлен чем-нибудь или в том случае, когда в него вселяется вдруг какое-то совершенно безудержное озорство: вскрыть, например, во встрече никем до сих пор не предполагаемые темы и всякие такие неожиданные отношения к ним. И все это не оттого, что я обладаю каким-то там даром парадоксального мышления или уж

очень самобытного взгляда на вещи, – ничего такого и в помине нет, а просто это такой своеобразный розыгрыш-вызов: «вот вы все здесь говорите и то и се, и пятое и десятое – прекрасно, а у нас есть такое, например, и ничего – живем!» И вот не знаю, может быть он и прав, во всяком случае после некоторых моих выступлений прийти и к такому умозаключению можно, я думаю, и все это совсем не оттого, что я не в состоянии связать воедино больше двух слов или вообще мне нечего сказать, – совсем нет. Дело в другом: эти просьбы моего начальника бывают ошарашивающе-неожиданными, спонтанными настолько, что своей внезапностью они будят во мне сразу много больше, чем того требует та или иная поднятая тема, – здесь и ассоциативный ряд, и образный, а там, глядишь, ни с того ни с сего шекспировская метафора вскочила в злобу дня, хотя совершенно для того не подходит и не нужна вовсе; юмор уступает место – хорошо бы, иронии, так нет же! – какому-то сарказму, который вдруг тараном прет там, где ни того ни другого вообще не должно было быть, сиюминутность происходящего вдруг шарахается в глубины изжитых традиций, здравый смысл, перепуганный всем этим нахлынувшим богатством, с несуразностью забивается невесть куда, и выяснить, в конце концов, что к чему и о чем, не представляется возможным. В данном случае все шло именно к такому откровению. Карточка с моей фамилией оказалась в центре огромного стола буквой «П» рядом с хозяином приема – большим, красивым, не по возрасту рано поседевшим человеком, заместителем министра культуры Польши Юрием Байдором. Само по себе это замечательно, однако место в центре и сам представительный сосед создавали некоторое напряжение, хотя бы потому, что, сидя рядом, нужно было делать вид, что я тоже не случайно сюда забрался и знаю, что почем и что к чему (я должен чистосердечно признаться – ничего ни в чем таком я не петрю напрочь). В общем, речи о раскрепощенности или отдыхе не могло и быть. Открыв вечер, министр приветствовал нас, отдав должное нашему искусству, и вообще был прост и демократичен. Мой сосед по левую сторону, работник ЦК Польской рабочей партии, говорил тоже прекрасно, его небольшая речь о мире, дружбе и радости видеть нас была жива и человечна, и после нее был естественным звон хрусталя, проникновенно серьезные лица и даже минута доброй тишины. После нее плотный сигаретный дым заволок стол, голоса стали громче, желающих слушать – меньше, смех, реплики, разговоры, стук ножей, вилок, шутки. Министр, обратившись ко мне, заговорил о нашем общем знакомом, Балицком из Вроцлава, и обычное упоминание о нем сняло все напряжение, поселив меж нами свободное общение и легкость.

С этого момента можно было бы начать отдыхать, если бы не одно подтачивающее меня беспокойство – с польской стороны уже сказал третий человек, а мы все молчим и молчим. Конечно, молчание – знак согласия, это знают все, однако же согласие может оставаться этим добрым знаком взаимопонимания, если молчание длится в разумных пределах ранее сказанного, а то ведь ненароком можно и забыть, с чем это, собственно, ты был согласен позавчера. Вот это-то и угнетало меня, и я тратил массу сил, чтобы ни в коем случае не посмотреть на Олега Николаевича, боясь смутить его своими напряженно вытаращенными глазами. Но в конце обессилев, должно быть, уж точно не помню, как там все происходило, я вдруг увидел Олега Николаевича, проникновенно так смотрящего на меня, вроде посылающего импульс: «Ну, что же ты, голубчик, так долго принуждаешь себя не глядеть в мою сторону, это не по-товарищески, да и ответить бы пора, а ты все глаз не кажешь, вроде у тебя и мысли не было, чтоб и с нашей стороны прозвучало что-нибудь стоящее, а?» – и он в досаде развел руками, а осанкой и лицом изобразил, как умно, тонко и достойно все должно прозвучать и выглядеть сейчас в моем исполнении. Я взмок! Лихорадочно соображаю, что же, собственно, говорить? Олег Николаевич опять попал в поле моего зрения, и показалось, что он и не отводил своего давящего взгляда от меня. На этот раз жестом Цезаря он указал, дескать: «Трибуна ждет – она свободна! Мы благоговейно слушаем тебя!» – и застыл в слащавом умилении тем, что я еще только собирался придумывать. Совершенно не представляя, куда меня швырнет и какие будут словеса, и теперь уже подгоняемый этим его взглядом, я вдруг услышал свой голос, обращенный к министру:

– Можно, я скажу?

– Нужно, товарищ Смоктуновский! – И он стал постукивать ножом по фужеру.

Вот здесь-то и пошел тот наворот. Любезностью их не удивишь, неслось во мне калейдоскопом, и вообще нужно ли удивлять? Ну, в общем-то, неплохо бы, но как? Поблагодарю за внимание и доброту, однако это-то уж совсем не мое дело – что я, директор, начальник, главный режиссер?.. Скажу лучше, какое у них прекрасное искусство… нет, тоже не годится, это значит опять возвращаться к тому чуду вдохновения театра пантомимы, руководимому удивительным художником Генрихом Томашевским во Вроцлаве, и двум замечательным, одному просто прекрасному, спектаклям в Кракове, поставленным их молодым главным режиссером, но я так много и подробно говорил в моих бесчисленных интервью об этих спектаклях, что у слушающих может создаться впечатление, что ничего другого я теперь и

смотреть-то не хочу и не буду, тем более что в Варшаве мне действительно не удалось еще ничего поглядеть – я все еще работаю с той оравой корреспондентов. Вот, может быть, о том сказать, что уж очень велик интерес прессы и она набросилась… нет, лучше это подать в радостных, здоровых тонах: «Я счастлив, что меня чуть не раздавили… нет, это тоже что-то не туда, нет. Напомню им, что все они милые, славные люди… Но это и так видно без всяких высказываний, что об этом талдычить, к тому же подобная позиция не безопасна – могут счесть подхалимажем… И потом, кто тебе сказал, что все милы и хороши… ничего неизвестно: здесь – да, за таким столом попробуй-ка быть плохим – во понаставили сколько вод и сколько вин – тьма! Нет, начну с того, как прекрасна жизнь (и не беда, что они знают это не хуже меня) и как здорово придумал кто-то: поутру, когда все еще спят, вдруг с улицы, на которой стоит наша гостиница, тарарахнуло в сто литавр и барабанов, и медь труб, взревев стадом бизонов, подняла в то воскресное утро всех живущих в отеле. Повскакав с постелей, они долго стояли у окон, худо соображая, что это за громкоголосое веселье спозаранку, и, придя в себя, наконец, любовались тысячью молодых, стройных поляков в военной форме, которые под ту же неусыпно бравурную музыку проделали весь тот путь в обратном направлении, и что все это просто замечательно, хотя бы по одному тому, что спать весною долго небезвредно – развивается авитаминоз, – это все знают и спорить никто не будет… однако скажи я об этом – могут как-нибудь не так понять. И еще много было всяких разных соображений, мыслей и взглядов. Когда излагаешь их, запершись в своей комнате дома и спокойно, по порядку, – это все выглядит убедительно, достойно и не так уж глупо, но если на тебя уставилось множество глаз, причем смотрят так, словно ты только что сказал, что это ты выдумал водопровод и таблицу Менделеева, – вот тут-то и попляшешь, голова кругом, мыслей много, но они как-то все прыгают и скачут, словно у них там своя олимпиада; а глаза Олега Николаевича уже просто кричат: «Ну что ты, Диоген, вылезешь ты из своей бочки, наконец, или нет?» – не сразу сообразишь что к чему, с какой полочки хватать! Тут нужны: воля, сдержанность, самодисциплина, стойкость – железо! Однако покой, расположенность нашего хозяина и добрая минута пришедшей простоты уберегли от болтовни, глупого оригинальничания. Все было скромно, достойно, настолько серьезно, что я сам был немало удивлен, и даже хотел в конце речи признаться, что сегодня я говорю на редкость ладно и что это они своим приемом подвигнули меня на этот шаг разума и покоя, но потом сообразил, что делать этого не следует, – пусть думают,

что я всегда такой умный!

– Иннокентий Михайлович, – обратился ко мне министр, – с вами как-то не связывается пережитое вами на войне. Ваше интервью в «Новостях» – невероятно! – И он на память перечислил почти все города в Польше, в освобождении которых я принимал участие в 1944–1945 годах и которые упоминал в своем телевыступлении накануне. – Вы, должно быть, светлый человек, – продолжал он, – но вчера в одном каком-то моменте до настороженности, до боли видно было, какой след оставила в вас деревня где-то под Торунем, кажется. Почему бы вам не съездить туда?

Настроение удавшегося выступления не устояло перед этим внезапным вторжением: я весь обмяк и даже однозначно ответить сразу не мог. В мыслях я не раз бывал у тех двух амбаров, на краю деревни; порою они виделись мне, но теперь, когда возникла реальная возможность быть там, видеть их, стало вдруг как-то душно. Я сидел и переживал вдруг поднявшийся внутри гул. Сорок лет, сорок длинных лет не смогли зарубцевать забвением происшедшего той ночью. Юрий Байдор – так звали моего представительного соседа – мягко смотрел, должно быть видел, что мне непросто, не подгонял с ответом.

– Страшно! – Единственное, что удалось, оттаяв, произнести.

Помолчали опять.

– Это не трудно будет организовать?

– Ничего нет проще. Съездите, телевидение туда с вами пошлем – надо, чтоб такое знали.

– Простите, возражу: если можно, не посылайте телевидения – неизвестно, как буду чувствовать себя там, как поведу; то место для меня не частое, одно… и как оно аукнется теперь, через сорок лет, – одному Богу известно…

– О-о, понимаю, как скажете, так и будет.

Эта фраза, этот человек, с его тактом и вниманием, «повинен» в появлении этих воспоминаний – спасибо ему! Мы с ним больше не увиделись: по истечении наших гастролей в Польше я вернулся в Союз, но он, не оставляя своей идеи с телевидением, через своих помощников (которые так трогательно провожали меня в аэропорту) просил набросать небольшой сценарий событий тех далеких лет в той деревне, и я, прикинув, что для 10–12 страниц текста мне достаточно будет месяца работы, пообещал через месяц, самое большее полтора, прислать готовое воспоминание в сценарном изложении. Но вот прошло уже полтора года, а я все никак не могу завершить начатого. Я никак не предполагал, что это все так сложно! И оказывается: стоит копнуть, разворошить – и память раскрывают щедро свои

запылившиеся тайники и закоулки. Но и с ними я бы справился, пожалуй, и едва ли не в обещанный срок… но здесь вдруг основная моя работа пошла таким валом, что мне не хватало не только времени, чтоб одолеть ее, но я просто выбивался из сил, чтоб хоть как-то привести ее в обычную человеческую норму.

И вот все покатилось, набирая ритм и взволнованность. На мне сходились нити доброго десятка людей, вовлеченных в инерцию разматывающегося сорокалетнего воспоминания, – все крутилось, неслось и развивалось с таким напором, организационным рвением, что не оставляло никаких сомнений, что раньше все они тем или иным путем были связаны с прессой! То и дело приходилось прерывать тот, казалось, нескончаемый вал интервью и опять и снова снабжать участников поисков дополнительными данными о деревне, бегая теперь уже только к телефону. Все мои старания самому связаться с Яном, дозвониться до него оставались бесплодны. Его телефон был нем. Горничная по этажу и администратор гостиницы пожимали плечами: «Был и вчера, полдня говорил по телефону и даже обедал в номере, а вот потом – не знаем… не видели… должно быть, уехал, однако номер числится за ним… появится!» С более-менее размеренной рабочей жизнью артиста российского театра, приехавшего в Польщу с творческим отчетом, было блистательно покончено. Но даже в этой сгустившейся вокруг меня атмосфере совместная работа с польской прессой все еще продолжала катить, но уже не столь благостно и уютно. Ограниченность во времени, несколько повышенный организационный пыл и сама необычность поиска не замедлили сказаться: двумя днями позже в шумном вестибюле гостиницы, увидев меня издали, Ян, что-то быстро проговорив Андрею, пошел мне навстречу.

– Иннокентий… Вы не могли бы уделить нам несколько минут?

Неприятно кольнуло и насторожило, что после моего имени Ян не сказал уже ставшее эпитетом в обращении его ко мне слово «дорогой» («Как мы быстро привыкаем к балующему, а порою и развращающему нас!» – пронеслось во мне).

– О, конечно… дорогой… сейчас я свободен.

– Прекрасно!

Однако дальше все происходило совсем не так прекрасно, как можно было ожидать по реплике Яна. И общаться я должен был не с ним, оказывается, а с Андреем, с которым я был уже знаком. Мое приветствие Андрей не заметил, сосредоточенно орудуя с огромной, как клеенка, уложенной в ровные квадраты картой Польши. Сам он был какой-то потухший, несвежий, а по непривычной на его лице небритости и мятой на спине куртке

нетрудно было догадаться, что ночь он провел в машине. Андрей – один из тех прекрасных, гибких, в высшей степени серьезных людей, которые окружали нас в Польше своей теплотой, сердечностью. Но сейчас я даже подумал, что это вовсе и не он, а другой, похожий на него человек. Однако это был Андрей. Всегда тонок, общителен, остроумен, мил, несмотря на некоторую наметившуюся полноту, изящен, подвижен. По-русски говорил превосходно, вызывая наше постоянное восхищение легкой демонстрацией той дополнительной прелести, красоты нашего языка в обычных бытовых разговорах, которая под силу лишь иностранцам. Ни разу еще не взглянув в мою сторону, сухо, без всяких предисловий он начал:

– Я сожалею… однако некоторые детали требуют уточнений. Этот несуразно огромный лист бумаги, – он легко кивнул на лежащую перед ним карту, – не позволит ничему ускользнуть от нашего недремлющего глаза, каждому укажет ху из ху и все поставит на места!

Ян упорно молчал. Промелькнуло ощущение дискомфортности, но лишь промелькнуло, и я все еще пребывал в состоянии обласканного идиота и не мог взять в толк, что, собственно, уже происходило.

– Это прекрасная, горячо мною любимая страна Польша. Не думаю, что природа этой, как говорят в Союзе, «простыни» была результатом комплекса малого народа, отнюдь нет, но у стороннего наблюдателя появление парадоксального восприятия этой данности правомочно: карта – огромна, страна – небольшая. От этого, однако, она не становится менее дорогой, свободной страной с прекрасным, достойным народом… – Я знал, что следующей фразой будет: «…к которому и я имею честь принадлежать», но ничего такого он не сказал. Как показалось, он настраивался на долгую речь (может быть, опять ошибаюсь) и в досаде, должно быть, на самого себя (выискивать в людях слабые стороны их характеров), дождавшись небольшого люфта в его выступлении, я мягко предложил подняться ко мне в номер, где нам будет много удобнее на большом столе и с картой управиться, и всякие разговоры разговаривать. Совсем того не желая, я, должно быть, упрекнул его в обилии словес, во всяком случае он понял так, и вот здесь-то было неуютно, чтобы не сказать острее. Он угрожающе замолк, и казалось, что он борется с собой: «Оставить все это, швырнуть карту прочь, встать – и уйти!!!»

– Андрей… – грустно вздохнул Ян.

– Хорошо, я продолжу… – В неоконченной фразе его действительно прозвучало, как близко к концу было его терпение.

Он еще какое-то время молчал, чем без всякого труда завершил возведение китайской стены между нами.

Это сейчас я пишу об этом уже, зная, что двигало им и его настроением, но представьте мое недоумение и смятение тогда! Были едва ли не дружны, и я знаю, что ничем никогда не подавал не только поводов, но и мысли к тому, чтобы отношения наши столь непонятно изменились вдруг?! И я…

На прозрачно-ясном глазу повторил свое предложение об удобствах моего номера для предстоящего разговора.

– Нет! – отрезал мой польский друг, и я понял, что я его совсем не знал. Хорошо еще, что, почувствовав холод остывающего вокруг меня мира, я сообразил все же, что теперь мне лучше всего помолчать. Но, уткнувшись в пеструю зелень карты, я никак не мог припомнить: «Где и что я сделал не так?» Андрей продолжал и по тому, как он говорил, а главное смотрел, я понял, что замолк я очень вовремя, даже, я думаю, можно было бы немножечко и раньше!

Острие его карандаша, четко опускаясь, фиксировало в разных местах карты населенные пункты.

– Вот Доброва, вот Даброва, вот еще здесь… – И он замялся, очевидно дальше должно было следовать прямое либо косвенное обращение, вроде «…как вы видите» или «…вы уже, должно быть, успели заметить», с тем чтобы остановить мое внимание на определенном факте, но обращение это так и не было произнесено вслух, а лишь осело сожалением, что в разговоре-де, мол, он вынужден себя ограничивать.

– …Недостатка в деревнях с подобными схожими названиями нет!

Боясь, что явная ошибка в названии может повести поиск по ложному пути и догадка, что не эта ли досадная опечатка явилась причиной перемены ко мне людей, как только мог мягко проговорил:

– Та деревня была Домбровка, – так же робко выделяя букву «м». Я напугался, что он собирается уходить, однако, порывшись в сумке и достав блокнот, Андрей со всей мощью университетских знаний стал объяснять, как и почему со времен королевы Домбровы (то есть с того легкомысленного времени, когда так просто и бесхозяйственно направо и налево раздавали имя королевы любой, какая ни подвернется под руку, деревушке) не только в названии деревень, но и в грамматике польского языка в подобного рода словообразовании исчезла эта буква «м». Андрей что-то такое еще говорил о хуторах и фольварках у лесных дубрав, которые просто сами нахватали себе названий, схожих по звучанию с именем королевы Домбровы. Не очень уже соображая что к чему – да и в школе-то по русскому, своему родному языку, знания давались мне так, что время от времени требовали прихода моих родителей к учителю, – я поэтому, вроде соглашаясь со всем, что слышал,

молча кивал головой, как если бы вслух говорил: «Ну как славно все это у вас происходило со времен королевств!»

– …Несмотря на обилие деревень со схожими названиями, нет ни одной, где бы было захоронение 120–150 человек, о чем было заявлено на одной из предварительных встреч «в верхах». Взывать к добропорядочности, просить напрячь память – при отрезке времени в сорок лет – едва ли разумно, бестактно, нелепо, да и бесплодно. События недельной давности мы склонны трактовать, как подсказывает минута, которой мы живем сейчас. Это естественно: мы живы и все человеческое нам не чуждо, многое за этот гигантский срок наслоилось, что-то, наоборот, безвозвратно ушло. Впрочем, это всего лишь фактологический взгляд на суть вещей и событий, что же касается эмоционального ряда – то многое, казавшееся нам важным и волновавшее нас вчера, сегодня может восприниматься как курьез, нелепица. Я говорю известные вещи, однако банальность их подтверждается жизнью.

Он помолчал немного.

– Но это, – продолжал он, – сколько бы времени ни ушло, воспринимается всегда однозначно… это обозначение захоронений жертв Второй мировой войны. Замеченные неудобства в подготовке карты к работе с лихвой окупаются ее объективной подробностью. Черный памятничек – условное обозначение этих скорбных мест – поляки помнят и чтут своих освободителей, рядом цифра – люди; каждая единица – человек. Пойдем по этому страшному столбцу.

Острие карандаша медленно, не останавливаясь, плыло над цифрами снизу вверх. Цифры, цифры, цифры… нескончаемая тропа прерванных судеб, несостоявшихся надежд… но сколько же там, на великих просторах, осиротело, оставшись одинокими, сколько горя, слез, мучений, исковерканных жизней! Карандаш все плыл, плыл… Бесконечный шлейф цифр. В глазах рябило, и я уже плохо слышал, да и он, видя, что я, не поднимая головы, рывками подхватываю воздух, кажется, вскоре умолк. Передо мной на столике оказался стакан воды, и Ян – я узнал его по широкой руке – протянул сигареты. Все наши обиды, ложно понятые чувства достоинства, не сдержанные выявления своих характеров и все «проблемы» наши, неприятности и неувязки показались такими меленькими, ничтожными, ненужно лишними. Эта его неприязнь и мое недоумение напрочь ушли – мне было легко смотреть, понимать и отвечать.

– Сколько ни говори себе, что нужно владеть собой, к сожалению, это не всегда бывает в нашей власти, Андрей… Вы правы, я действительно перепутал что-нибудь… я их не считал, но все так врезалось в память, точно… к несчастью, в той деревне их

было много. – Что-то очень важное вертелось, было совсем рядом, но что именно – за взволнованностью осознать не мог. – Ну да ладно, может быть, это сейчас и не ко времени… осталось два дня… к тому же ни в одном населенном пункте, которые мне сейчас удалось засечь, нет железной дороги, а она проходила по окраине там и поодаль вдоль деревушки… но сейчас это уже действительно не имеет значения. Понимаете, Андрей, мы бежали через нее… Через насыпь, ее-то уж я никак не мог придумать или присочинить лишнюю, ну, тогда их было бы две, а у вас я не видел ни одной, в общем, бог с ней, забудем.

Не то он ожидал, что я буду спорить, возражать, настаивать, сердиться, не то этот долгий столбец цифр своей страшной суммарностью, как и во мне, перевернул все в нем, но взгляд его говорил, что он вернулся к тому славному, тонкому, умному, доброму человеку Андрею, но все еще был неловко потерян и явно не знал «как же дальше-то теперь». А может быть, все это казалось мне!

Сутки спустя по-утреннему тревожно поднял меня с постели настойчивый звонок: голос срывался с нормальных обертонов, перебрасывался на неустойчивые верха, где-то (как слышалось – далеко), натужно кашляя, пытались восстановить его, но он не давался, неуправляемо вырываясь в рваную хрипоту:

– Иннокентий, дорогой… нашли, нашли!

– Простите, это кто? Ян, вы?

– Нашли сто двадцать человек ровно, Иннокентий, и двор, я только что оттуда, в пятистах метрах. Иннокентий!

– Это вы, Ян?

– Что? А-а, нет – это Андрей… – Я по-прежнему не узнавал его голос, давили хрипы или внезапно ворвавшийся фальцет сердил владельца, понуждая бороться с побочными писками и, должно быть, с болью, и опять взволнованно вырывался крик: – Иннокентий, их эксгумировали, вывезли здесь недалеко… двадцать один километр… в братскую могилу!

– Сто двадцать, говорите… невероятно! Есть от чего сойти с ума!

– Да-да, Иннокентий, да, простите великодушно… вчерашний выпад… Ян убедил меня ехать в эту деревню с железной дорогой… я связывался с ними раньше по телефону, отвечали: захоронений нет – и ни слова о том, что были, – это все и осложнило.

– Андрей, все кончено хорошо, спасибо вам, но послезавтра вылет в Москву… слишком поздно я спохватился и вас всех загнал…

– Нет-нет, Ян устроит все до продления визы – он замечательный организатор и редкий человек, да и я в одиннадцать

– в двенадцать буду в Варшаве и сразу к министру, они все расположены к вам… все устроим. Простите ранний звонок, но уж очень хотелось не оставлять вас долее в обществе дурных мыслей… Мы не так плохи, как выглядим порою… вот видите, даже одно из ваших любимых слов оказалось. Только вы забудьте, пожалуйста, это наше чудовищное непонимание вчера… Обещаете? Взамен получаете добрую дюжину обожаемых вами слов, из одного этого можете заключить, что вас ценят, – слова действительно прекрасны, и, если позволите, они будут и моими… Обещаете?

– Что, собственно, я должен обещать?

– Не валяйте дурака, Иннокентий Михайлович, обещаете забыть?

– Не могу, Андрей… хотя бы по одному тому, что ничего не затаивал. И совсем не помню никакого зла, да его и не было.

– Чудно… слышите, это тоже ваше. Раз!

– Вы что же, действительно собираетесь считать?

– Ни в коем разе… Вот ведь… было – хоть пруд пруди, а когда нужно, так разбежались… Ну, во-первых, это ваше доброе ругательство: «о негодяй, о мерзавец, – ударил, он по-моему, второе «е». – Затем, что же… ага «удивительно, однако»; ну, естественно, это ваше замечательное «за-а-аме-е-ечательно». О, вспомнил, даже целыми фразами: «Ну да, как же, держи карман шире»; ну, разумеется: «чудно, чудесно, чудо-о-овищно» – это вы говорите почему-то вместе, но звучит этот абсурд удивительно, видите – уже просто говорю вашей лексикой. Что же еще… да-а… это, простите, тоже какая-то чушь, но весьма своеобразная: «ядрена курочка, прогоркла вошь», хоть я совершенно отказываюсь понимать эту абракадабру и никогда не смогу представить себе, как вы, неплохой, в общем, актер, интеллигентный человек, могли позволить себе пробовать на вкус какую-то прогорклую вошь, когда при желании можно отыскать свежую и действительно ядреную!

Я хохотал.

– О, чуть не забыл самое главное: «ну как славно!», однако вы прибегаете к этому восклицанию, когда совсем не так уж славно, как вам бы того хотелось, а? Сознайтесь, Иннокентий, – я поймал вас, а? Поймал?

– Да, да, да – поймали. О негодяй, о мерзавец!

С обеих сторон разорванного расстоянием утреннего разговора – хохот, шутка, добрая глупость. Говорили братья. Сон прошел, было чудно, чудесно… и немного чудовищно.

Опять машина и все тот же водитель предупредительно и достойно придерживает дверцы открытыми, пока мы рассаживаемся. Казалось, ничто не может заставить его быть

иным, однако в это путешествие он удивил всех своей доселе никому не известной особенностью. Ян, как всегда, спокоен, прост и ненавязчив настолько, что я даже испуганно скользнул взглядом в его сторону: здесь ли он? Уставясь в точку, Ян неотрывно смотрел в окно, и мысли его были не здесь. Хотелось отвлечь, пробудить его от этой задумчивости, но и сам был несколько не в себе и промолчал. Дорога предстояла дальняя не только в пространстве-расстоянии, но и во времени. Молчали все, и я, как первопричина, вина этого вояжа, мог бы испытывать неловкость от этого молчания, но такого не было – все устали от сутолоки двухнедельного людского потока и дел и теперь, свободно и легко отключившись, отдыхали каждый сам в себе. На переднем сиденье, справа от водителя, легким перышком зависла переводчица пани Ванда, милая, интеллигентная женщина, равно легко, изящно и подвижно говорившая как на польском, так и на русском языках, – я так и не понял, который из них ее родной. Ее присутствие и являло собой вето на попытку закурить, во всяком случае я не помню, чтобы были какие-то предварительные слова и увещания. Как порою мы умеем уговорить себя, что мы ну просто никак не можем без «этого», а теперь вот и без «того». Вот живой пример противоположного – едем мы уже довольно давно, и Ян стоически ни разу не заикнулся о желании закурить. Но вот с водителем сегодня явно что-то происходило – казалось, он не только не мог, но просто не хотел скрывать своей полной радости глубоко вдыхать свежий воздух. Уж не знаю, что тут: привычка или желание похорохориться перед соседкой, но он действительно глубоко и шумно дышал; я и прежде отметил эти его наклонности, но раньше он сдерживал этот грохот, боясь, должно быть, помешать моему рассказу. Сегодня же в тишине эти воздушные циклоны управлялись им с таким невинным видом, что пани Ванда, несколько раз испуганно оглянувшись на него, наконец прощебетала:

– Вы, дорогой мой, дай вам Бог здоровья, сопите и пыхтите, как паровая машина на первых ее испытаниях.

Нимало не смутясь, тот живо и мило ответил:

– Вы присутствовали при ее испытании? Расскажите, как это происходило?

– Вы что… грубиян вы этакий, колода неотесанная, разумеется – нет, все подробно мне рассказала моя бабушка, и она не так стара, как вы, вероятно, хотели бы предположить, – ей всего-то каких-нибудь семьдесят пять – семьдесят шесть лет.

– Вы что же, с бабушкой близнецы, что ли?

– Бревно, сундук, дубина и оглобля! – пищала пани Ванда, изобразив плачущую мордочку, и колотила кулачками в утес его

плеча.

Машина как шла – так и продолжала идти. Мужчина склонил голову к мельтешащим кистям рук женщины, та не отняла их, и он нежно прикоснулся к ним губами, выдохнув: «Пани Ванда…» Маленький спектакль был окончен – он развлекал нас ровно столько, сколько продолжался. И опять каждый ушел в свои мысли. Глядя со спины на водителя, я еще и еще убеждался, что совсем не разбираюсь в людях. Все мои наблюдения остановились бы на: прост, несколько замкнут, предупредителен, иногда старается держать какую-то (какую?) дистанцию, но в силу положения обслуживающего это не всегда удается, и его безразличную реакцию на эти его неудачи относил к недалекости, едва ли не к примитиву… а вот ведь – юмор, нежность, галантность, ум, такт и безусловное достоинство. Вот и возьми его за руль за двадцать! Надо будет как-то попросить у него прощения. И только я успел это подумать, как он поворачивается и говорит:

– Если будем брать воду, то лучше всего здесь, дальше может не быть. – И опять он был проще простого и понятный.

Нет, мне с моей работой надо завязывать – ничего не чувствую, не знаю… вот сейчас, когда он повернулся, я думал – он еще и телепат, а он… вода… Нет, все-таки первое впечатление никуда не денешь, обычная человеческая заурядность. Интересно знать: что он обо мне думает… Да и думает ли вообще… скорее всего, что ничего. Ян с водителем несли увесистый ящик минеральной воды и здесь же, немедля откупорив, раздали живительное питье. Ян, с бутылкой воды в одной руке и сигаретой в другой, доверительно сообщил:

– Нашего водителя здесь знают и для него из холодильника, как у вас говорят, «по блату». Он говорит, что вы чем-то встревожены, недовольны, в зеркале невольно он заметил ваше настроение. Может быть, чаще останавливаться курить, а?

– Нет-нет, зачем же… встревожен предстоящим, а насчет недовольства… Да… недоволен… собой, шестьдесят первый год… пора бы уж и понимать, что к чему, а я все пребываю в тех сойеровских восприятиях.

– Так это ж хорошо, и вы сами это знаете, так что… выше нос и в путь, нас ждут!

Со стороны, я думаю, нашу компанию можно было принять за долго и хорошо знающих друг друга людей, но лишь немного утомленных и теперь едущих на воскресный пикник. Но как бы и что бы мы ни говорили, как ни шутили бы, подтрунивая один над другим, наш настрой и все эти разговоры – это была личина, так было проще. Даже окружающее воспринималось не так, как это

происходило бы всегда: в тени огромного вяза нас ожидала вторая обычная машина (это было заранее обусловленное место встречи), но даже она смотрелась заговорщически таинственно. Фотокорреспондент, еще издали кивнув нам, быстро, как террорист, пробежав, нырнул в свою машину, и она, пристроившись за нашей, на протяжении всего пути послушно и неотрывно следовала за нами и была вроде настороже, готовая прикрыть нас со спины.

Пани Ванда вдруг оживилась:

– Ну вот что, мне надоели ваши хмурые физиономии. Я рассказываю анекдоты, извольте хохотать. Бог с вами, веселитесь, надрывайте животики!

С милой искренностью и наивом, нимало не заботясь, слушаем мы ее или нет, она сыпала маленькими историями чистоты и непосредственности цветов или ветерка, что свежо и ласково врывался в открытые окна машины. На один из них вдруг неожиданно бурно среагировал наш «кормчий», и это далеко не новое хрустальное повествование этим мне и запомнилось:

«Две дамы на заднем сиденье такси ведут разговор:

– Нервы не на шутку расшатались: сегодня утром режу колбасу и представляете: дважды соскальзывает нож и стучит о доску стола. Кошмар!

– А у меня и того хуже, милая. До того не владею собой, что, наливая кофе… капнула на блюдечко!

Водитель такси, который их везет, обернувшись к ним, спрашивает:

– Простите, ничего, что я сижу к вам спиной?»

Вот тут-то начальник нашей машины, истинное дитя природы, захохотал так пронзительно и вдруг, что водители соседствующих машин приняли, должно быть, этот его взрыв смеха за спецсигнал какой-нибудь и стали перестраиваться в рядности, недоумевая, уставясь на нас и уступая нам дорогу. Когда движение на дороге нормализовалось и в машину вернулась тишина, все тот же наш великан тихо и серьезно спросил пани Ванду:

– Но если он вел то такси, как же тогда он мог сидеть к ним лицом?

Ну, здесь мы несколько… не то чтобы стали менять рядность – в маленькой машине это не очень-то сделаешь, а вроде все вдруг оказались в состоянии невесомости, и пани Ванду мы вытащили бы сразу, ничего тут сложного не было (она действительно была легкая как перышко), но она вся была там, где должны были бы находиться только ее ноги (припомнилась та машина с большим колесом и запахом бензина), а мы с Яном тянули ее, должно быть,

не враз, оттого что мне внезапно и немедленно необходимо было отбежать в сторонку.

Как бы ни были светлы и беспечны минуты, подаренные нам нашими внимательными друзьями, с каждым часом пути мы все более и более затихали, погружаясь каждый в свои думы, вызванные, должно быть, нашим дерзким рейдом в давно ушедшее время.

В городском комитете Быгдоша по мере нашего продвижения по его холлам и коридорам по всему зданию все более разрастался необычно громкий голос человека, желавшего непременно, чтоб его услышали где-то далеко. Судя по тому, как возрастала громкость, все происходило в кабинете, куда мы шли и где нас ждали. Подумалось: «Какие, однако, в Польше крепкие двери делают – не только не разлетаются, а висят себе и хоть бы хны, и никакие звуковые перегрузки им не страшны». Уже подходя к «эпицентру», Ян перевел:

– Из Варшавы беспокоятся: доехали ли мы, а здешнее начальство, как видите, неистовствует и тоже взволновано, недоумевает – куда мы запропастились и выехали ли вообще?

– Ян, а почему бы вам не посоветовать ему воспользоваться телефоном, в данном случае это много надежнее, – огромное расстояние все-таки, триста километров, так что могут что-нибудь там и не расслышать.

Пани Ванде вдруг захотелось освежить руки. Ян хохотал.

– А-а, вот вы где, голубчики, наконец-то! – без всяких перестроев перешел хозяин на русский. Он жал нам руки и продолжал терроризировать (телефон?) расстояние и наши барабанные перепонки. – Нет проблем, все сделаем!

Затем дела пошли просто приятные и приятные во всех отношениях: мне вручили прекрасно сработанный ларец (это подобие наших старинных, больших сундуков, только маленький), огромное такой же красоты блюдо и немногим меньше в диаметре этого фарфорово-фаянсового чуда увесистую бронзовую медаль, которая меня возводила (если я чего-нибудь не перепутал, как часто со мною бывает; переспрашивать же в столь торжественный момент было бы, как мне показалось, верхом неучтивости) в ранг почетного гражданина города Быгдоша.

Ничего и приблизительного не предполагалось. Я просто, без затей хотел посетить места, некогда бывшие полем боя, теперь воочию мирно всмотреться в них, в долину, откуда расстреливали нас, притронуться к жженой буросги амбаров, наших защитников, – они помогли выстоять, заслонив нас толщью своих стен; увидеть его и сказать в душе дереву-великану: «Ты видел их всех здесь, на снегу, видел – они никому не хотели зла, мы так же

стояли тут, как и ты. Расти и здравствуй!» И, может быть, закрыв глаза, постоять минуту-другую, постараться воскресить в воображении – вырвать из небытия и толщи времени всех тех, кого сумела бы вызвать память сейчас.

Но когда все стало вдруг приобретать совсем другой характер и в ход пошли «трубы и литавры», то улегшееся было беспокойство (та ли эта Домбровка?), возвратясь с новой силой, не давало быть самим собой и соответствовать теплу вокруг. Под видом шутки я поведал нашему хозяину о своем сомнении, не без удивления отметив, что он говорил теперь не только нормально, но даже тихо. Сорок лет трудясь над изучением человека, его характера, предполагаемых реакций и рефлексов, я знал наверное, что радость и бравурность его сейчас позавянут. Тепло, радостно и громко он сказал:

– Дорогой наш гость и герой! Я видел ваше неповторимое выступление по телевидению. Вы сражались на территории Быгдошского и Торуньского воеводств – вы наш освободитель! Все остальное не имеет никакого значения. Мы любим, благодарим и пьем за ваше здоровье! – Он обнял меня и троекратно, по-русски, поцеловал.

Сомнения ушли – я почувствовал себя героем, и этот душевный праздник был бы полным, не споткнись я об остро направленные взгляды трех или четырех человек, которые также сидели с нами за тем прекрасным столом. О-о-о, я узнал их сразу, хоть мы и не встречались никогда раньше, – это были представители местной прессы!

Посетив кладбище советских воинов в Быгдоше, мы вместе с двумя работниками воеводства, по культуре и идеологии, любезно согласившимися сопровождать нас, двинулись к конечной цели нашего поиска.

До Домбровки двадцать пять километров. Пожалуй, это самый странный отрезок нашего путешествия: болтаем, шутим, даже над чем-то хохочем, но что шумим и над чем уж так развеселились безудержно – теперь сказать не могу. Возбужден. Спросили о чем-то – ответил, но не совсем «впопад» должно быть, потому как вдруг вижу неловко вывернутую и протянутую мне руку пани Ванды?! Даже не сразу сообразил о своевременности этого душевного дара. Ухватился, держу. Пани Ванда ни разу не обернулась. Успокоившись, смотрю в убегающий за спину пейзаж, надеясь вспомнить, узнать. Напрасный труд – не видел, не ходил я этими дорогами… ничто не задерживает глаз узнаванием; напротив – что-то вроде неловкости, что мы едем не в ту сторону, не покидало меня. Не исключив, что внутреннее чувство ориентации, прочно обосновавшееся с той давней поры двух лет

жизни на фронте, когда изо дня в день что бы ни делал, где бы ни находился – во сне, наяву, можешь, не можешь – но должен идти на запад, на запад, и только на запад, и опять, и снова неуклонно и постоянно на запад, – смутно и слабо дремавшее доселе, сейчас отказывалось принимать окружающее и мое положение в нем. Право, до смешного, – если бы, развернувшись на сто восемьдесят градусов, я оказался бы по отношению движения машины спиной вперед, вот тогда, наверное, чувствовал бы себя поставленным в верное соотношение с пространством. Справа – север, впереди – запад, значит, все нормально и правильно – вперед!

Машина с ходу переехала железнодорожный переезд, дорога щедро и широко уходила вправо, открыв с левой стороны небольшую пологую горушку с просторно расставленными на ней низкими амбарами…

Потом, позже, ехавший с нами представитель культуры воеводства говорил: «Ну, дорогой мой, нельзя так. Вы вдруг стали страшным каким-то и серым… мы спрашивали – может, случилось что, но вы не услышали нас и какими-то нехорошими глазами куда-то устремились». Впереди промелькнул шпиль костела, и машина была уже в центре деревни у низенького, похожего на декорацию в кино здания. Как же так – костел должен быть справа?! Полное недоумение! Так бывает порою, когда, изрядно проплутав, въезжаешь в какую-то улицу и не можешь определить: где же это ты находишься и что это за район города? До момента, когда вдруг узнаешь и место, и улицу, и оказывается: ты прекрасно знаешь эту самую улицу и вообще сейчас ты уже в двух шагах от цели, но въезжал в нее раньше обычно с противоположной стороны. Только-то и всего. Нечто подобное испытывал я тогда.

Однако предаваться всяким там размышлениям мне просто-напросто не позволили. От группы людей, стоящих у «карточного домика», отделились и пошли к нам навстречу две девушки. Подойдя, одна из них некоторое время молча ясно смотрела на меня, потом сказала:

– Здравствуйте, Иннокентий Михайлович, как хорошо, что вы приехали. Мы счастливы видеть и принимать у себя защитника и освободителя нашей Домбровки. Спасибо, хотелось, чтобы вы были счастливы и здоровы. Эти цветы вам.

Здесь они уже как-то вместе, обе и цветы вручили, и поцеловали меня. Я думаю, так происходило оттого, чтобы не выявилось уж очень резкого распределения обязанностей: одна говорит и цветы подносит, другая подбегает и быстро целует.

Все получилось замечательно, и, конечно, я был рад предельно и смущен, однако не настолько, чтобы не отметить, что, приветствуя меня, два этих прекрасных существа тоже

испытывали искреннюю радость, хотя, казалось бы, что я им вместе с Гекубой и каким-то там шекспировским шутом, бедным Йориком? Одно для меня стало совершенно ясно: если бы в ту далекую ночь в феврале 1944 года кому-нибудь взбрендило вдруг уверять меня, что через сорок лет на этом самом месте меня будут целовать, обнимать и дарить цветы молодые, столь прекрасные существа, – я бы немедленно, то есть не теряя ни одной секунды, сошел с ума. Отсюда вывод: как хорошо, что подобное редко кому может прийти в голову. Ну, правда, если говорить уж совершенно откровенно и серьезно, я тогда без всяких цветов, поцелуев и радужных уверений сам был очень близок к такому шагу. Ну да что… Всякое бывает, и именно поэтому да здравствует здоровый дух и, конечно, здоровое тело. Никаких рефлексий и аномалий – и всё тут.

Девушки, извинившись, что у них жаркая пора подготовки экзаменов и работы в поле, к моему великому сожалению, ушли.

Местные руководители так же по-доброму и просто жали нам руки, обнимали и, окружив затем дружной семьей, куда-то повели. Внутренние габариты помещения не превышали размеры железнодорожного контейнера, в которых у нас в России перевозят мебель для малогабаритных квартир. Странно, но мы все поместились, правда, сидели несколько уплотненным вариантом, чуть ли не друг на друге, вроде как десант перед выброской, и только хозяин, молодой красивый человек с ярко-черной бородой, указав мне на более свободное место у стены, обратив меня тем самым сразу ко всем лицом, сам напротив уселся на табурете, вытянув и скрестив ноги, вроде показывая, что у нас здесь места сколько угодно, только нужно уметь пользоваться им.

Был прекрасный кофе, такой же коньяк и вне всяких определений – окружение. Здесь, очевидно, знали цену времени и вскоре попросили рассказать, какою я помню Домбровку. После утреннего разговора по телефону с Андреем мне казалось, что с объяснениями все завершено, однако теперь я понял, что поиски действительно кончились, но объяснения все еще продолжаются. В этот момент я перехватил быстрый взгляд Яна, дескать: «Придется и здесь, дорогой. Они такие славные, хорошие, видите – ждут. Пожалуйста». Попросив карандаш и бумагу, я с прилежанием ученика нарисовал картинку, по ходу упомянув об амбарах на окраине, о костеле в центре и обо всем, что еще помнилось. Все, живо интересуясь, не исключая Яна, заглядывали в рисунок, улыбались, качали головами и о чем-то тихонько переговаривались, однако ответ «домбровцев» на мою живопись несколько озадачил тем, что он был едва ли не точно таким же, как и много раз раньше, когда мы еще не были в Домбровке:

– Все это здесь есть, но все это же вы можете найти едва ли не в любой другой деревне, как бы она ни называлась. Дело в том, что здесь проходила довоенная граница с Германией и метод ведения хозяйства немцев – высокий, оптимальный метод – оказался недурным и для многих польских пограничных хозяйств средней полосы страны. Отсюда амбары на окраине, и костелы, и многое-многое другое, что, к сожалению, не может служить какой-то определенной приметой. Вот железнодорожное полотно – это здесь; это, должно быть, действительно мы.

Сигаретный дым все более сгущался. В ушах гудело. Хозяйка, при знакомстве назвавшая себя «властью на местах», бдительно следила за тем, чтобы паузы между полными и пустыми рюмками были сведены к минимуму, и оттого, должно быть, помещение довольно скоро стало непомерно большим и гулким, и людей откуда-то понабежало незаметно (правда, припомнить хотя бы одного из вновь пришедших я, честно говоря, не смог бы). Я пытался было подняться, с тем чтобы пойти поскорее увидеть именно в Домбровке все эти вездесущие «пригорки-ручейки», но… каждый раз в руке у меня оказывалась полная рюмка, содержимое которой я только что выпивал! Совершенно обалдев от этого наваждения, я вдруг несуразно громко заорал (наверное, с тем чтобы во всех отдаленных концах зала тоже было слышно):

– Вот эта уж последняя, и все!

– Так мало – не позволим, – убаюкивающе-демократически прозвучало рядом, и рюмка снова была полна.

– А не помните ли вы название деревни по-немецки? – почему-то хором, в унисон проорали какие-то бородатые близнецы.

– Почему же это я не помню, интересно… ничего себе, нашли тупоголового Емелю – помню, и даже очень хорошо помню – Домирау!

Слово будто обожгло – все враз с шумом встали, в сутолоке кто-то нечаянно смахнул блюдце со стола, и тонкий звон фарфора потонул в радостном крике по-русски: «На счастье!» Кричали все. Гасили сигареты, оставив дымящийся свежий кофе. Мы ринулись наружу. Наш гостеприимный хозяин, первый секретарь комитета Домбровы Хелминской Здзислав Махевич, красивый человек с бородой (это он сидел, вытянув ноги, брат же его не то сбежал куда-то, не то мне показалось… что здесь еще был похожий на него человек), тоже вскочил, что, кстати, никак не вязалось с его внешним покоем и уравновешенностью. Он как-то по-новому, совсем по-другому смотрел на меня. И хоть помещение давно вернулось к своим реальным объемам и голова, как, должно быть, у всех непьющих людей, была яснее ясного, но подняться к моим польским друзьям я, к моему удивлению, не мог. Говорят: «ватные

ноги» – ох как точно!

– Нет-нет, не спешите, мы подойдем, – успокаивал меня Здзислав.

– Как только вы нарисовали дерево у дороги, – подбадривала меня молодая женщина, потчевшая нас коньяком, – тогда стало совершенно ясно, что это – мы!

К сожалению, она не дала своей визитной карточки, и теперь мне приходится прибегать к таким вот определениям.

Вскоре мы шли по улице деревни. Где-то справа промелькнули две темные, круглые тумбы. «Мои знакомцы», – пронеслось во мне, но так был взволнован тем, что предстоит увидеть минутой-двумя позже, что остановить себя был не в силах. Увидев треугольник конька крыши амбара, я заорал:

– Это он!

– Вам не терпится, мы понимаем… Точно такой же, но позже, – охладил меня Здзислав.

Как самая вершина пирамиды Хеопса в Египте, между построек выплыл действительно точно такой же, но теперь уж именно тот треугольник крыши амбара. Я действительно узнал его и был немало смущен и досадовал, что поторопился с его двойником раньше. Очевидно – нервы. Две трети прожитой жизни, в самом прямом, буквальном смысле слова, были отвоеваны здесь, под его кровлей.

Вот сейчас бы отдохнуть часок или хотя бы наедине побыть… это ведь так, в общем-то, просто понять.

Вот он, этот двор!

Седые виски в двадцать четыре года – след пережитого и здесь, у этих бурых стен. Две трети жизни были просто подарены – здесь. Сорок лет… Что же ты такое – судьба?! Будешь ли вести меня и дальше по жизни, людям, работе?! Я все тот же и твой, лишь стал слабее, а отсюда злее, нетерпимее, и в те редкие часы, что ты все еще даришь мне силы желать и стремиться жить, я обещаю тебе здесь, на этом дворе: быть послушным, постараться вернуться к тому безропотному «я», которое должно быть достойно твоей опеки, твоих испытаний, доброты в сорокалетнем прекрасном, полном надежд и света, так необходимом людям… чудовищном, адовом труде, уносящем последние силы, но и дающем сторицей их для продолжения его, для жизни, любви, веры, терпения и борьбы. Благодарю тебя. Я – здесь, и я – твой.

Мы на двадцать первом километре от того двора. Здесь холмисто. Само захоронение на высоком месте. Окраину городка рвали порывы холодного ветра. Вечер; хоть время еще не позднее, местных жителей не видно. Ветер вопит, неистовствует, рвет одежды на нас, до неприятного ощущения ершит наши

парикмахерские прически.

Цементно-серый, обделенный стройностью обелиск, ряды вздыбленных могильных плит. С указанием имен и фамилий совсем немного, все означенные перечел. Ни одно не связывало памяти с прошлым. Грустно, тоскливо. В братской могиле того холма 1284 человека… Свозили, должно быть, с разных сторон и мест. Стоим, ежась. Молчим. Воет ветер. Он рвет, кажется, совсем изнемогшие деревья, сея между близко стоящими распри. И те доверчиво наивны в своем простодушии, принимая ветреные наветы за правду, мечутся из стороны в сторону ветвями, резко набрасываясь одно на другое; и казалось, те, что послабее или подобрее, уже готовы смириться со своей судьбиной-участью, но неожиданно гордо вскидывают ошалелую еще голую крону, как будто обретя силы и основание постоять за себя, пригибают своенравного соседа, сбрасывают его объятия и под улюлюканье и хохот ветра с остервенением ломают предателю хребет. Но тотчас, опомнившись или испугавшись поверженной спины соседа, истошно воя, вкидывают руки вверх, стараясь уклониться от внезапных вероломных ударов своего вдруг воспрянувшего, еще недавно совсем сникшего ровесника. Готовые бежать вдруг понимают всю тщетность усилий уклониться, уйти и, в исступленной безысходности негодуя на себя, с новой силой обрушиваются на своего обидчика рядом.

Холодно. Мы стоим прибитым потерянным кружком, чтобы хоть как-то защититься от ветра. Передергивает озноб, у всех синие носы. На пьедестале обелиска, рядом с увядшими, кем-то ранее принесенными и придавленными камнем гвоздиками янтарем желтеет одинокий огарок свечи. Хорошо бы зажечь его, но это невозможно, нас самих швыряет из стороны в сторону. На одну из плит надгробий удается прикрепить несколько гвоздик, и они, вздрагивая своими прелестными, красными головками, разбивают застывшую, серую тоску плит.

Почему нет имен и фамилий? Надо полагать, существует отдельная книга, списки у работников этого мемориала, где указаны подразделения, звания и возраст погибших. Но сегодня здесь никого нет, кроме ветра, тоски и холода, и спросить не у кого. Пора возвращаться. Все устали. В Варшаву предстоит ехать в темноте.

Странные, ох странные мысли владели тогда моим уже достаточно за те сутки измученным воображением. Я гнал их, пытался уйти, но, нагло захватив, они волокли меня по своему оголенному руслу, нимало не заботясь о совести, душе человека, управляясь со мной, как этот ветер с запуганными деревьями. Судьба! Что ты такое – судьба?! Что, уже каждому раз и навсегда

предопределено – как, что, где, когда??? В живых после той ночи остались девять человек; не задетых, не раненых – и того меньше, единицы. Я – один из них. Однако я не делал ничего такого, чего не делали бы все остальные: здесь упасть, отползти, пригнуться, встать за укрытие, переждать секунду артналет, лежа на дне воронки, нырнуть в канаву от летящей сверху бомбы – в общем, я делал все то, что делали все, каждый вокруг нормальный солдат, боец, человек. Других, поступавших иначе, – не видел, не знал, за два года беспрерывной фронтовой жизни не встречал ни одного.

Скажу больше – в силу юношеской бесшабашности, беспечности, легкомыслия или порою просто лени я и к этим обычным мерам предосторожности не прибегал – но вот ведь цел, тогда как порою справа, слева, близко, просто рядом бывало совсем другое. Так что же это? Случайность? Везение? Прослеживая жизнь, иногда кажется: я «специально» (правда, это совсем не то слово) оставлялся какой-то силой или, если угодно, «кем-то», для того чтобы в будущем создать моего Мышкина, Гамлета, Моисея Моисеевича в «Степи» Чехова, Циолковского, Царя Федора, Войницкого в «Дяде Ване» и еще два – два с половиной десятка неплохих работ. Стоит представить: что бы было с этими персонажами, не будь в них моей жертвенной сути, природы самозабвения и исповедальности. Очевидно, не следует вопрошать прошедшее; происходящее сейчас – настоящее – убедительно и горько вопиет: «Что получается с этими высокими эталонами человечности, когда за них берется несостоятельность!» Конечно, я упрощаю, но, кто знает, может быть, для этого кто-то упорно и неуклонно ведет меня на этой земле по жизни, по работам, по людям. Оберегает, ограждает, бросает в омуты и круговерти, сводит с подлецами и монстрами, с ничтожествами, с грязными и низкими людишками, ведет, испытывает, ужесточает, черствит, но подсовывает соломку, чтоб смягчить, облегчить падение, удары.

Я все-таки попытался было зажечь свечу. Возражений не было, но и подбадривания прозвучали как-то сникше, вяло. Людей можно понять – нужно было ехать. При первых же попытках становилось ясно, что ничего не выйдет, не получится. Злюсь, уговариваю себя: «Ну хоть одну-единственную секунду пусть потеплится живое… пусть!» Снопиком по нескольку спичек безуспешно силюсь оставить сине-зеленое золото огня на фитиле. Спички кончались, когда маленький огонь, перекинувшись, затрепетал наперекор невозможному. Не веря этому чуду, не отрывая рук, я заорал:

– Смотрите – горит, горит, видите!..

Забыв о холоде, все уставились в мои ладони, где, как крохотное живое существо, билось нервное, маленькое пламя. Удивительно?! Теперь-то уж этот так трудно рожденный факел

справится со стихией и без моей помощи. Стоило отнять руки – огонь исчез. Нестройный вопль сожаления слился с мечущимся воем ветвей и ветра. Стало грустно. Салют окончен, путешествие завершено, этот маленький огонек послужил некой наградой за усталость, терпение и озноб.

Постояв немного, посокрушались – как коротки бывают праздники, и все наконец направились к машинам. Здесь произошло то, чему, наверное, не будут верить, ничего особенного не случилось, но вместе с тем оно было! Чтобы не было недомолвок, я говорю: в этой книге нет вымысла, да он здесь и не нужен, вся история на самом деле пронизана невероятными событиями, мгновениями – и украшать их излишне. Все участники нашего путешествия живы и, надеюсь, здоровы, и они просто не позволят мне сочинять небылицы, поскольку и сами были поражены случившимся не меньше моего.

Не помню кто оглашенно закричал:

– Смотрите… горит!!!

Развернувшись, мы онемели и какое-то время стояли не веря глазам своим: едва заметный огонек метался над свечой… горел!

Не сговариваясь, все ринулись к обелиску. Зачем? Почему? Кто-то что-то кричал. Взрослые, зрелые, пожившие люди, уже достаточно измотанные и уставшие, бежали и орали. Зачем бежали, почему орали? Что изменил, что утвердил этот бросок? Непонятно. Думаю, что ничего. Но вот такая ошалелость, тем не менее, была. Огонь еще бился, трепетал, когда с доисторическими, диковатыми возгласами мы обступили этот фитилек, но… вновь налетевший вихрь вместе с взревевшими деревьями погасил и эту упорно цеплявшуюся жизнь.

По природе своей человек, очевидно, склонен к вере в чудесное. Все, разумеется, понимали, что тогда огонек просто-напросто не совсем затух, как нам всем показалось и как, увы, окончательно произошло это сейчас, но… рассаживаясь в машины, все, как загипнотизированные, впились взглядом в огарок свечи у обелиска павшим.

Часть вторая. ДВОР
Меня оставили жить

Глубокая ночь, время самой вязкой ее власти. Монотонные ритмы долгого марша расслабляли, укачивали, и редко какому звуку удавалось выделиться в толще однообразных звуков движения колонны и пробиться в изнуренное, заторможенное сознание идущих. Сон скашивал, гнул, сокрушал. Шли давно. Пора быть привалу, давно пора, уже давно невмоготу, но шум идущих в темноте людей расползался цепкой заразой – давил, стирал, выматывая последние силы, а привала все не было и не было. Но вот далеко за спинами наконец что-то прозвучало. Никто толком не разобрал, что это за команда, кто кричал и вообще был ли то крик, однако кто слышал этот звук – затаился, притих, ждал его повторения, жадно надеясь услышать «стой, привал!». Но топот сотен ног вытеснял это измученное ожидание. Мысли о другой какой-нибудь команде в отяжелевших, набрякших головах не возникало. Однако вскоре, ясно и четко приближаясь, послышалось: «Остерегись, не спать, возьми вправо!» И легкая повозка, запряженная двумя лошадьми, резко прогромыхав, ушла вперед. Лошади не по-ночному неприятно громко фыркнули, словно давали сигнал, боясь наскочить на кого-нибудь в темноте. «Тоже не железные, поди, силы тоже, поди, на исходе». В повозке за спиной беспрестанно кричащего ординарца высохшим крючком промелькнул силуэт командира батальона, он вообще крючковат, будто ему всегда холодно, и, развалясь рядом с ним, кто-то, судя по безвольно мотающимся из стороны в сторону коленям, спал. «Скачут вперед, чтоб остановить голову колонны, по себе, должно быть, почувствовали, что пора». С этой мыслью было как будто светлее и легче, может быть потому, что других вообще не было, а она хоть и одна-единственная, но честно и добросовестно выполняла свою работу – заставляя двигаться, моторно тащила вперед. Темные спины впереди мотались тенями, то удаляясь, то вновь оказываясь совсем близко, и резкий запах давно немытых тел с тяжелым сопением заполнял собой сознание и все вокруг, и даже ощущалось тепло рядом идущих. Бормотание каких-то странных, незнакомых слов неясной звуковой круговертью надоедливо вползало в сознание. Пришла мысль: должно быть, быстро иду, нужно помедленнее или даже несколько приостановиться, а потом опять качнуть себя вперед, чтоб не отстать. В какие-то моменты ожидание привала, придя вновь, вдруг оборачивалось ожесточением и надсадной ношей оседало в душе, и только темнота лесной

дороги, казалось, была неизменной и бесконечной, как сама дорога.

Очевидно, та минута была одной из последних минут, когда еще мог соотносить себя, ночь, дорогу в лесу и все еще ждать, ждать… привала и, импульсивно переставляя ноги, все же двигаться вперед, не опасаясь, что вот-вот рухнешь подкошенным снопом, когда поднять тебя, по существу, уже не будет никаких сил. Еще какие-то совсем малые мгновения, и я действительно свалился бы, зайдясь в подступившей истерике, и, чтоб хоть как-то противостоять этому надвигающемуся тупику, задрав голову, я заверещал на каких-то совершенно не свойственных мне высоких тонах: «Не могли передние уйти так далеко, не могли, должны же они, наконец, остановиться когда-нибудь и дать… дать отдохнуть, лечь!»

Кажется, оттуда же, сверху, куда я только что невольно излил всю горечь накатившего приступа бессилия, ответили: «Лечь, где? Лес, снег, темнота». Не взяв в толк, что возражаю какому-то другому, совсем иному миру, все так же гнило пропищал: «Все равно, все равно – лишь бы лечь, остановиться и лечь!»

– Помочь, тяжело тебе? – теперь прозвучало совсем рядом над ухом.

Оглядываюсь… никого?!

– Вижу, ты не веришь, а я действительно готов помочь, – двумя шагами впереди меня, несуразно мотаясь, тащился худой, длинный, как вешалка, славянин… Он брел нескладно, вероятно, его так вело, и в те короткие моменты, когда он оказывался вывернутым в полуоборот ко мне и все же успевал выложить свои дурацкие наставления, что-то очень бледное, длинное, как полено, маячило там, где у него должно было быть лицо… и, лишь когда голые кроны деревьев уступали место темным разрывам – продыхам между ними, это «что-то» оказывалось все же чахоточно-длинным клином его лица.

– Чем поможешь, потащишь мой автомат или меня самого?

– Зачем такая крайность, она, надеюсь, тебе не понадобится. Да и не какая это не помощь, а так… минутная жалость, даже не сострадание – обман… Любит человек, чтоб его пожалели…

– Что ты несешь всякую х…, вот я издохну сейчас прямо здесь на дороге, и к чему тогда вся твоя сраная философия?

– Самому уходить из этого мира никогда не следует, об этом позаботятся другие. Видишь ли, ты попросту не прав, ты хочешь идти и спать – так не бывает.

– И совсем я не хочу идти – я хочу спать, и ничего больше, только спать, спать, спать… только спать.

– Такая определенность замечательна и похвальна, но сейчас-

то требуется идти, значит, надо идти, а спать будем, когда придем, и что тут толковать – не понимаю. Я, к примеру, не молод, как ты, и сил у меня намного меньше, а вот, как видишь, – иду, не скулю, не ною на судьбину, не жалуюсь, наоборот, рад – иду в тыл… значит, скоро отдохну и высплюсь.

Я пытался разглядеть эту редкую «жердь». Никогда раньше в нашем подразделении я такого не видел. Длиннота его не могла не обращать на себя внимание. Он был худ, как я, но еще головы на полторы, а то и все две выше, длиннее…

Этот удивительный рост… и память властно относила меня на Днепровский плацдарм, где моя собственная удлиненность едва не оказалась причиной гибели. Немцы точными и плотными по насыщенности артналетами перебили нашу связь, протянутую по дну протоки (со штабом полка, не то дивизии – точно не помню), докладывать об обстановке на плацдарме высшему начальству, находящемуся на острове, посредине Днепра, должно быть, было необходимо (???), и из подразделений выбирали самых высоких ростом, чтобы те вброд, под обстрелом, то и дело погружаясь с головою в воду, держа лишь над ней, над водой, пакет с какими-то там страшно секретными данными, могли, если повезет, пройти самый глубокий, а оттого самый опасный медленный участок протоки и, выбежав из воды опрометью, сверкая голым задом, нестись по совершенно открытому, пологому, как хороший пляж, песчаному берегу до какого-нибудь овражка или ямы. Какой овражек, какая яма – берег, ровный пляж, тут хотя бы просто залечь за вздутые от времени, нестерпимо дурно воняющие останки наших боевых товарищей – погибших лошадей, перевести дух и опять что есть сил до следующего укрытия, а там, глядишь, и до спасительного леса. В одну из таких увеселительных прогулок выбрали меня и одного (небольшого роста) бойца из какого-то, как помнится соседнего, подразделения. Ничего не объяснив, нас привели в землянку начальника штаба полка, поставили рядом и мне одному приказали поднять руки вверх. Ничего не подозревая и думая, что и здесь продолжается вечное подтрунивание над моим ростом и худобой, я глупо тянулся в этакую несуразную оглоблю, но, кажется, именно эта нелепая вытянутость произвела впечатление на стоящих перед нами офицеров; они едва ли не хором сказали: «О-о-о, здорово!» И именно в тот момент, когда они так дружно «проокали», в их глазах я вдруг прочел старательно скрываемую ими опасность или, вернее: «Жалко ребят, молодые такие, еще могли бы жить да жить…» Я все понял.

– Вот пакет, его сухим следует доставить в штаб на острове, через протоку ты идешь первым, ты – старший, он, – офицер показал на того плотного парня, молча, с интересом

наблюдавшего эти мои устремленные в накат блиндажа упражнения, – будет тебя подстраховывать, если что случится, ну мало ли, ранят тебя, захлебнешься или…

Помню, и заминка его, и это его «или», довольно выразительно им не досказанное, не вызвали во мне ни героического порыва, ни самозабвенного вдохновения, скорее, напротив, и я пересохшим вдруг горлом пытался было объяснить, что сейчас утро, все просматривается как на ладони, и у немцев брод пристрелян, и он бьет по нему не только навесным минометным огнем, но и просто-напросто видя цель, прямой наводкой, и, кажется, не самым мелким калибром своих орудий… К тому же вчера мы имели возможность наблюдать подобные дневные попытки пройти через эту же протоку, и оба посланных связных у середины брода были расстреляны. «И потом, – продолжал я увещевать спокойно, по-доброму слушающего меня, кажется, понимающего все, напутствовавшего нас начальника, – он совсем маленький, он захлебнется у берега, – показывал я на моего низкорослого подчиненного, – а там не меньше двух метров, я думаю, а местами так и поглубже; вчера те двое, не знаю, вы посылали их или нет, но не прошли же – мы видели». В общем, всячески убеждал, как мог убеждать восемнадцатилетний человек, страшно желавший жить: говорил, что подобное задание, кроме нашей гибели, ничего не принесет, что попросту мы будем следующими, кто у середины протоки пойдет ко дну. Говоря все это, я поражался молчаливости офицера, его терпению.

– Вот поэтому сегодня идете вы в таком соотношении, – мягко прервал меня офицер, – он без оружия, и, повторяю, если что… он доберется вплавь, он – прекрасный пловец, именно поэтому он и идет. Как видишь, мы все учли и исправляем ошибки вчерашнего. – И видя, должно быть, что «пловец» осознал наконец ситуацию и собирается что-то сказать, офицер все так же мягко, как и раньше, но как-то уж очень отчужденно произнес: – Да-а, вот так!

– Сейчас смеркается рано, может, лучше переждать пару-тройку часов, а то ведь так… – начал было до того безмолвствующий, но вдруг ставший страшно серьезным и с какими-то уж очень умными глазами мой помощник.

– Вы же знаете, у него все пристреляно по этому броду, ночью он бьет с еще большей плотностью, чтоб не допустить возможного подкрепления нам… так что… сами видите – из двух зол… ничего другого не остается, как идти сейчас… и-и-и… Все, там ждут, выполняйте! – Офицер, вроде сказав все, что он должен был сказать, смотрел куда-то вбок.

Мы еще какое-то время стояли, и я увидел, как мой боец рядом

чуть развел руками, они мелко-мелко дрожали и как бы спрашивали: «Как же это?» – и, услышав, – «Вернетесь – доложите, за вашим переходом протоки буду наблюдать сам, действуйте!» – опустил их. Мы вышли.

Затея эта была обречена, это понимали все. Мой напарник, лишь войдя в воду, был ранен и не мог держаться со мною рядом. Я же должен был уходить, пытаться прорваться сквозь зону обстрела – такое указание тоже было, и где-то у середины протоки, захлебываясь, едва успевая схватить воздуха перед тем, как опять уйти под воду, оглянувшись, увидел, как он, странно разбрасывая руки, боком, как споткнувшийся или пьяный, тяжело падал в воду, барахтался, вставал и опять валился на бок. Я что-то пытался крикнуть ему, но думаю, что это было неверно, глупо, да и просто бесполезно – грохот разрывов усилившегося обстрела (ребята у минометов видели, что я пока все еще жив и на плаву уходил) заглушал все кругом. Пройдя глубокую часть протоки, на бегу оглядываясь, пытался схватить взглядом пройденный участок брода, но никого уже не было: его или снесло течением, или он затонул. Из-за какой-то коряги я еще пытался осмотреть все кругом… но берег и протока были тоскливо пусты. Тот дурацкий пакет я доставил, в этом-то отношении все было в порядке, и меня даже представили к награде медалью «За отвагу», правда, вручили мне ее спустя 49 лет прямо на сцене МХАТа после спектакля «Мольер». Мои однополчане-москвичи (их осталось раз-два и обчелся) сами разыскали все документы по этому награждению, и в реляции (так, кажется, называется подобный документ) был кратко, по-казенному, описан этот нелепый, в общем-то никому не нужный (я и сейчас так думаю) эпизод. На острове мне разрешили задержаться до наступления темноты, и в свое расположение я вернулся ночью. Оказывается, за нашим купанием в Днепре наблюдали многие, и все, кто видел, как колошматили нас на протоке, были немало удивлены, узнав, что меня даже не царапнуло. «Ну везет тебе, длинный, ты просто счастливчик, несмотря что доходяга».

И теперь, когда в прозрачном сумраке ночи то появлялась совсем рядом, то едва не исчезала вовсе фигура этого действительно длинного и столь же разговорчивого человека, я наверное знал: будь он тогда на нашем небольшом плацдарме вместо меня, без сомнения, протоку проходил бы он, и никому тогда и в голову не пришло бы заставлять его поднимать руки. Он все так же молол какую-то ерунду, но говорил почему-то громче. Мысль, что в протоке купалась бы эта долгая, болтливая каланча, показалась почему-то смешной и отвлекла меня от надсадной усталости… Неожиданно белесые глаза человека, только что

мотавшегося бледным призраком в студеной протоке Днепра, оказались у самого моего носа и уставились в меня.

– Слушай, что тебе, в конце концов, надо, ты напугал меня, отстань наконец… конца этому… наконец… не видно конца… в конце… на конце концов!

– О, это понятно… так… заклинит на одном месте ни туда и ни сюда и никого, в конце концов… конца… Понимаю, я призван все понимать и прощать. – Голова, колыхнувшись несколько раз в такт шагов, вознеслась восвояси, и оттуда сплошным потоком понеслось невесть что о каких-то концах, которые в конце концов… наконец… к концу… в конце… конец.

Я уже ничего не соображал и плохо слышал, отвлеченный тем, что только что колыхнулось передо мной. Какие… мутные уши… и размер… ничего себе… ничего подобного никогда не видывал… они были куда выразительнее этой его необычной долготы; вцепившись в них взглядом, я, тем не менее, услышал нечто, что многое объяснило:

– Никто и ничто не обходится без меня. Я – всюду, я – везде, я – был, я – есть, я – буду, потому что я – всегда и присно и во веки веков!!!

Очень хотелось встрять и сказать «аминь», но стало неуютно вдруг и немножко страшновато… было совершенно ясно – рядом сумасшедший, как же это я раньше не догадался? А в армию-то его зачем же взяли??? А-а-а, он, должно быть, уже здесь, на фронте, свихнулся… он же здесь перебьет всех своих на хрен! Сумасшедший, совершенно определенно… уши, уши мутные – первый признак! О-о-о, с ним надо поосторожнее… не то, не ровен час, влепит ни за что ни про что, и ищи-свищи ветра в поле, не случайно он как-то присматривался ко мне… вот они – уши!

И тут вроде его опять подзарядили на ходу:

– Без меня человечество – вонь, грязь, плесень и чесотка, я его отмываю, делаю чистым, свежим, бодрым, способным на добрые дела и все еще, надеюсь, достойным моего внимания.

Оставаться дальше безучастным было небезопасно, выбора не было, и, легонько сторонясь его, я деликатно согласился с ним:

– Да-да, понимаю, товарищ… потому что вы – Господь Бог!!!

– А вот и не угадал, но близко… потому что я – варю мыло! Я – главный технолог мыловаренному заводу з мисту Николаеву. Ты був там? Це моя батьковщина – гарне мисто! – перешел он вдруг на одесский диалект. Все услышанное о мыловарении было столь неожиданным, что, очевидно пытаясь свести это открытие к простому и реальному и определить, кто все же из нас двоих ненормальный, я остановился.

– Во, бачишь, хлопче, яка сила слова – ты встал, это так и

должно быти… потому что, – перешел он опять на русский язык, – вначале было слово и слово было у Бога и слово БЫЛО БОГ, а потом уж появилось мыло, человечество и все остальное, со всякими там семью парами чистых и, кажется, таким же количеством крупного рогатого и не менее интересного, но совсем немытого, нужного, но не очень ухоженного всякого другого, в любом хозяйстве скота, которого срочно нужно было мылить, мыть, чесать и гладить, иначе не было бы равновесия в мире, гармонии и, конечно, не было бы никакого мыла и, что, разумеется, огорчительнее всего, – не было бы нас с тобой. Как пусто, правда, и печально – не выговорить.

Совершенно запутавшись и перестав вообще что-либо соображать, я теперь решил по-доброму попросить его больше ничего не произносить – ни единого слова, потому что, для того чтобы осознать все произносимое им, тоже ведь нужны силы, и немалые, а поскольку… Однако новая волна откровений, дошедшая до моего сознания, оставила меня на ногах, но принудила быть не только настороже, но просто наготове.

– Я – червь, я – раб, я – царь, я – Бог! – уже как-то заходясь, выкрикивал он, нащупывая в темноте мою руку. – Теперь давай попробуем вместе, повторяй: «я – червь»…

Как если бы прося пощады, я выдохнул:

– Я что-то не могу понять, о чем ты все время говоришь… и почему это я вдруг стал каким-то червем?

– Ну что ж тут непонятного, подумаешь, бином Ньютона. Все намного проще, повторяй за мной и иди в ногу: «Я – червь, я – раб, раз-два, я – царь, три-четыре, я – Бог, пять-шесть и опять раз-два, я – червь».

– Ну хорошо, хорошо, Я – червяк, араб, Мифусаил… и кто там еще, все равно ничего не понимаю, и не хочу, и оставь, пожалуйста, ты видишь, я просто не могу.

– О-о-о, это непонимание и есть первое проявление очеловечивания, даже можно сказать, что ты на пороге сознания…

– А вот сейчас тебе будет совсем хорошо, именно это состояние когда-то совсем недурно определил мой предшественник Декарт. Правда, он был дилетант и совсем не умел варить мыло. Он говорил: «Я мыслю – я существую!» Ну ты сам подумай, как можно уметь мыслить, не умея варить мыло! Бред – сущий бред! – И он чем-то очень холодным, освежающим, даже не спросив ничего, протер мое лицо, и запах далекой спокойной жизни приятно ударил в нос. И вот уж не знаю, не то он меня добил, не то я сам сломался, но я даже не испугался неожиданности его проделки и наконец имел возможность разглядеть, что же такое творится с его ушами… и был огорчен – это какие-то большие нахлобучки,

которые только имели форму ушей, но были много больше, и этот странный мутный цвет, и все это совсем не хитрое сооружение уходило под пилотку, оставляя действительно очень узкий абрис его бледного лица.

Светало… Привала, как видно, решили не объявлять, и усталость, вернувшись, давила с новой силой. За спиной вдруг что-то произошло?! Обернувшись, успел заметить метнувшуюся с дороги тень, и треск в бессильной злобе разбитого о дерево котелка (как потом выяснилось – полного молока) слился с истошным воплем солдата:

– Что хотите делайте, дальше не пойду, не могу! – Мгновение мы растерянно топтались на месте и горохом сыпались на снег и дорогу.

Отбежав пяток шагов от терзавшего все же меня «Мутных ушей», я рухнул на землю. Солдат от одних ног перекатывался к другим и неприятно, надрывно, громко орал. Все молчали. Дорогу и небольшой редкий лесок у обочины заполонили собой кашель и тяжелое рваное дыхание. Все всё понимали и тем не менее, если бы были хоть какие-нибудь бы силы, то, пожалуй, в душе благословляли бы эту минуту, позволившую наконец вытянуть ноги, а так как сил не было напрочь – то просто лежали, сопели, дышали.

Появился лейтенант, молча уставился на происходящее и, присев, старался поймать катавшегося солдата. Когда ему удавалось задержать его, он гладил по спине, голове и как-то уж очень уныло твердил:

– Успокойся, просто полежи тихо, отдохни, так лучше.

Было противно на душе, всего какими-нибудь двумя-тремя минутами раньше со мной должно было произойти это, (да полноте – должно было! – уже происходило, только я не орал как зарезанный, вот и вся разница, оттого и невмоготу). И не я ли своим писком невольно подтолкнул этого любителя молока на его вопль и конвульсии?

И как ни убеждал я себя, что он был далеко и не мог услышать меня, – мысль, что я-то услышал его сразу и хорошо, так почему же он, будучи на таком же расстоянии, что и я от него, не мог услышать меня, СНЕДАЛА, было противно, как близко, как опасно близко был я к такому же! Однако, правда и то, что вокруг меня тогда, во время моего вопля, было все наше подразделение, но никто же другой не завопил, не стал разбивать автомат о дерево, не бросился на землю, скорее напротив, человек с ушами, к примеру, – он просто был рядом, и более уравновешенного, спокойного человека трудно было сыскать… Кстати, где он? Спросил и тут же уперся в него.

Облокотясь о дерево, «Мутные уши» сидел спиной к «лобному месту» и смотрел в мою сторону (лучше б я его не искал). «Ты видишь – мы поступали правильно, а такое, как видишь, гадко!» – кричали его глаза, и лишь редеющая темнота, тоже, должно быть, уставшая от борьбы с разливающимся рассветом, понимая меня, не спешила уходить, чтоб в сумраке мне было легче бороться с самим собой.

Все! Сейчас встану, подойду к этому прекрасному человеку с мутными ушами и скажу: «Я такое же говно, как этот, я кричал первый!» – но не встал, не подошел и никому ничего не сказал… пожалел сил?.. Нет… не мог, было стыдно! Было нестерпимо.

Угнетенный борьбой с самим собой, я, к сожалению, не мог в полной мере воспользоваться и впитать так неожиданно предоставившийся отдых. Вскоре мы опять шли. Намерений, чтоб уклониться или, напротив, искать соседства с «Мутными ушами», не было, острота пережитого все делала безразличным, но, увидев его около себя, испытал что-то вроде облегчения, радость, хотя что он мне или что я ему? Но вот, тем не менее такое было.

«Мутные уши» с мылопроизводства перебросило на виноделие, и перед тем как шарахнуться в еще какую-нибудь область человеческой деятельности, он вдруг спросил:

– Ты любишь виноград?

– Где ты возьмешь его сейчас?

– Ты меня или не слышишь, или я тебя переоценил, и если хотя бы одно из предположений подтвердится – никакого винограда ты, конечно, не получишь… Итак, я еще раз повторю свой вопрос: ты любишь виноград?

– Люблю – обилие вдруг хлынувшей слюны делало меня покорным и совсем немногословным.

– Прекрасно, сейчас мы все это вместе и проделаем, повторяй за мной: Вайн-трауб… и в ритм этих вечных звуков и надо шагать, итак… Вайн-трауб.

– А что это такое, вот это: «Вайн-трауб»?

– Это и есть виноград и некоторым образом – моя фамилия, мы с ним однофамильцы, он – виноград, и я – виноград, он – везде, и я – всюду, я тебе уже об этом как-то говорил.

– Ну, виноград… это я понимаю, а ты-то почему всюду?

– Потому что я делаю мыло, после хлеба и вина мыло – продукт первой необходимости… Итак, повторяй и шагай: Вайн-трауб, раз-два, Мендель-Блок, три-четыре.

– А это что еще такое?

– Мендель – это мое имя, а Блок – вторая моя фамилия, в отличие от моего родного брата, он тоже Мендель и тоже Блок, здесь уж ничего не поделаешь – местечковая еврейская

ограниченность. И отец у нас Мендель, поэтому я для пущего смеха взял себе фамилию матери – Вайнтрауб… Однако мы отвлеклись…

Вскоре за ним пришел запыхавшийся связной, и я невольно узнал, что мой новый знакомый еще и переводчик при штабе полка. Пообещав найти меня в месте дислокации, куда мы так долго держим путь, он ушел.

Конечно, это был необычный человек, не сумасшедший, нет, но и обольщаться по поводу его уравновешенности, как вспомню его эти выкрики: «Я – всюду, я – везде, я – всегда!» – я бы тоже поостерегся.

А вместе с тем как легко и очень просто он заставил меня навсегда запомнить его фамилию, хотя мы расстались с ним тогда навсегда, однако непростая фамилия его вот уже полвека живет в моей памяти, как пять других фамилий друзей-товарищей моих, с которыми довелось прожить долгие месяцы фронтовой жизни, таких как Михаил Васильевич Привалов, Николай Георгиевич Степанов, старший лейтенант Кривошеенко (имя-отчество, к сожалению, не помню), генерал-лейтенант Каладзе, Фомин. Правда, еще одну фамилию я помню, но не хочу вспоминать ни фамилию, ни самого того гадкого, мерзкого, страшного человека – он не достоин упоминания даже в обычном перечислении. А вот этого действительно прекрасного, замечательно доброго, нежного человека, кажется, не забуду никогда уже хотя бы и потому, что он был последним человеком, кто был внимателен ко мне перед тем кошмаром, о котором я начинаю рассказ.

Ничто не предвещало того, что произошло здесь всего за одну на исходе зимы февральскую ночь. Это была небольшая обычная деревенька, каких огромное множество побывало уже на нашем долгом пути. Ее можно было бы отнести даже к уютным, чистеньким селениям, в которых жить покойно, надежно – да так оно, должно быть, и было.

Мы пришли сюда засветло, немногим позже полудня, но шли всю ночь и утро этого последнего для большинства из нас дня. Спина ныла, ноги гудели, и тяжелая, вялая голова медленно склонялась вниз, временами как бы спохватываясь, закидывалась вверх, борясь с одолевшими ее усталостью и сном. В общем-то, это – обычное состояние человека после долгого перехода, и во время войны никто никогда об этом не говорил. Дело это было, как говорится, привычное. Фронт, передовая – не самое подходящее место для разговоров об усталости. Да, уставали, так было.

Передовая требовала предельного выявления напряжения человека, его возможностей. Однако сейчас, собираясь написать о случившемся в этой деревне почти 50 лет назад, испытываю

неловкость, вспомнив об усталости, и если все же продолжаю говорить о ней, то только потому, что именно в ней, думается, в ее предельной крайности таилась одна из зловещих причин случившегося.

Плетясь, буквально волоча отекшие ноги, мы разбрелись по нескольким домам, ютившимся около почему-то очень темного, тонкого костела, однако часть из нас, в которую входил и я, сразу же должна была двинуться на окраину деревни. Эта необходимость казалась безрассудной и оттого противной. К чему же здесь эта скоропалительная чехарда, если мы действительно шли и пришли в тыл, как говорили нам сутки назад, когда снимали наши подразделения с утомительного, но все же победоносного преследования отходившего на запад противника? Однако приказ остается приказом, и здесь уж никакая там усталость в расчет не берется – ее нет, и все тут, хотя по делу-то только она одна и была. И кроме нее – ничего.

Выбор пал на нас. Тяжело поднявшись, мы стояли, сонно сопя, ничего не соображая и не чувствуя, кроме разве зависти к тем, кто оставался сейчас в доме. Никто из них не смотрел в нашу сторону, чтоб не выказать невероятной радости везения – возможности вытянуть изнывшие руки-ноги, а может быть, и вздремнуть. Но вот ведь как непредсказуемо все и странно бывает! У них, кому мы так завидовали, всей жизни оставалось каких-нибудь два-три часа. Всех нас было человек сто пятьдесят, и если больше, то совсем немногим. Тогда же казалось около двухсот, и в этом невольном преувеличении повинно, пожалуй, простое чувство самосохранения, а не какая-то там вдруг взыгравшая фантазия или безответственная выдумка – болтовня. Психотерапия, обычное успокаивающее человека самовнушение: нас много – мы сильны! Ну, правда, это уже где-то недалеко от стадного чувства, но, право же, на фронте бывало и такое, но об этом почему-то умалчивают, не говорят – не то стесняются, не то боятся. И еще одно (это уже из области мистики и математики, если вообще подобный симбиоз возможен): если на войне без жертв не обойтись, то не попасть в это фатальное, неминуемое число жертв – возможность, значительно более реальная в большем количестве находящихся вокруг тебя, чем в незначительном. Вот отсюда-то эти неосознанные, но совсем не злонамеренные преувеличения.

Последний двор деревни, к которому вел нас командир, как объяснил он, – передовая (почему передовая, какая передовая в тылу?). Сейчас, пока еще светло, необходимо увидеть все собственными глазами, на случай, если недругу вздумается пойти по этой дороге ночью, мы легко и безбольно его остановим! Ну

остановим, так остановим, что там говорить лишнее… Не в первый раз… Пришли. Действительно, это была окраина деревни, дома которой чуть полого спускались к небольшому болотцу. Дальше, метрах в двухстах пятидесяти, сплошным скучным валом шла железнодорожная насыпь. Ее однообразную унылость разбивал единственный проезд под нею, или то был мост, под которым протекал ручей. Сейчас не могу припомнить точно, скорее же всего, подробность эта не была выяснена и тогда. За полотном поднималась лоскутная вспаханность полей со скудной белизной запавшего в глубокие борозды снега. Железнодорожный путь скрывал от наших глаз еще одно болото, тянувшееся вдоль него с противоположной от нас стороны, и совсем вдали спокойно темнел лес. Все кругом было тихо и мирно, и никаких признаков врага или какой-либо иной опасности мы не заметили, и, когда на фоне огромного, раскинувшего свои голые черные ветви дерева у дороги мы увидели вдруг солдата, усиленно махавшего нам руками, дескать, «ложись!», кто-то из наших сострил: «Ну да, как же, сейчас разбежимся, мы только для этого сюда и пришли, чтоб ложиться». Раздались даже отдельные смешки солдат, оценивших шутку, и ни у кого не возникло и намека на зловещую изнанку этого доморощенного каламбура, что всего через несколько часов станет явью, вещим, страшным предсказанием. Короткая команда заставила нас горохом рассыпаться по двору и канавам вдоль дороги.

По другую сторону дороги упрятанное ветками, настороженно пригнувшись, вроде чего-то ожидало 76-миллиметровое орудие с распластавшимся вокруг и под ним артиллерийским расчетом: человека четыре, напряженно всматривавшихся в сторону лощины. Тревога была неожиданной, и эта ее внезапность в каждом из нас откликнулась излишне сковывающей напряженностью, у которой, как говорят в народе, глаза велики. Обдало холодной испариной, внутри неприятно засосало, и мелкий нервный озноб понуждал учащенно дышать. Хотелось перевернуться на спину, вдохнуть всей грудью сырой, холодный воздух и сбить эту предвестницу неизвестно где ждущей, но явной, близкой опасности. Стряхнув вялость, голова работала ясно, не допуская преувеличения, но гнала прочь и излишнюю успокоенность. Однако все вокруг молчало и было, как казалось, миролюбивым.

И опять страшное подтверждение ограниченных человеческих возможностей, или действительно настолько мы все валились с ног, что не воспринимали даже обычного: опасность подтвердили и даже рукой махнули… и тем не менее ни прямо, ни краем или каким-нибудь закоулком чувств никем не ощущалось, что из-за дорожного полотна в этой же тишине, затаясь, с не меньшим

напряжением, чем вслушивались, всматривались мы, то же самое жадно проделывали те, кого мы должны были не пропустить, и они, учитывая все – сколько, где, как, готовились к своей акции.

Порою приходится слышать удивительные истории о предчувствии беды смерти и едва ли не предвидении надвигающейся катастрофы, и рассказы эти не только воспринимаются, но и звучат в устах очевидцев всех этих вещей, обстоятельств или самих героев, обладающих этим редким даром, убедительно и достоверно. Однако, если и мелькнет некая настороженность, то лишь от чрезмерно подробной доказательности увлажнившегося рассказчика. Здесь же, во дворе этом, ничего такого не происходило, а казалось бы?! Сколько прекрасных, молодых, всемогущих, бурлящих жизнью, жадных к ней существ – всех этих людей, полных не только здоровья, жизненной энергии, обычных физических сил и повышенных нервных, чутких импульсов и реакций (три-четыре месяца фронтовой жизни вырабатывают в человеке этакий «локатор» восприятия всего происходящего вокруг, когда каждая клеточка, пора, даже легкомысленный кончик волоса трепетно, по-родительски подскажет, живо и быстро предупредит, даст почувствовать, где нужно не раздумывая плюхнуться куда ни попало, а где, напротив, можно спокойно пренебречь и шальным роем пуль, и точно высчитанной определенной площадью разрывов мин и снарядов). Ну, правда, это не столько предчувствие грядущего, сколько восприятие сиюминутности, где порою реагируешь, как ранее уже много раз попадавший в подобную облаву затравленный зверь, – тогда же не было и этой малости.

Почему ни одного из нас (если существуют эти биотоки предчувствия и ощущений), ни одного, в том числе и меня (правда, обстоятельства оставили меня жить, как и еще трех бойцов нашего подразделения), не захватило ощущение своих последних часов жизни??? Что же все эти россказни – пустая болтовня, ля-ля, давайте попридумаем, чего нет, но уж очень хотелось бы иметь? Не знаю, не знаю… Конечно, можно попытаться объяснить этот глухой тупик душевной отгороженности от мира и от самих себя, но ведь это – только предположение, не больше, которое так и остается лишь неловкой попыткой объяснения. Вот, право, и не знаю, как тут быть? Что говорить, доброе желание присваивать человеку больше, чем это обусловлено его чудесными, невероятными, вызывающими удивление и, собственно, создающими человека и его ощущение чуда жизни, пятью чувствами, – похвально, однако жизнь не слишком часто подтверждает наличие этих новшеств, и не могу сказать, чтобы это вызывало уныние, у меня, например, нет.

Многие тысячелетия понадобятся для полного освоения того,

что имеет сейчас отобранное скрупулезной эволюцией, современный человек! Куда же больше? С этим бы совладать в меру. Разумно справиться в себе, среде и времени.

Большинство вместе с лейтенантом укрылись в огромном кирпичном амбаре в глубине двора, тянувшемся параллельно дороге. Я оказался в группе поменьше, недалеко от того дерева с орудием. Нам ближе и проще было уйти в другой, поменьше амбар, такой же кирпичный, расположенный под прямым углом к своему большому соседу, с разрывом между ними в 6–7 метров.

Внутри амбара было сено, и – разумеется, это так понятно! – быстренько вытянувшись на нем, мы почувствовали, что есть жизнь и что наконец-то мы пришли домой. Однако отдыху не суждено было длиться.

Амбар наш вдруг вздрогнул, как от внезапного испуга, плотная волна воздуха, резко хлестнув в лицо, так же быстро исчезла, оставив по себе лишь запоздалый скрежет скользящей с крыши амбара черепицы и звон в ушах. Артиллерийский расчет умел не только наблюдать, и по этому поводу начали было острить, но с треском ударившая в косяк сарая дверь от второго выстрела орудия недовольно предупредила, что все не так весело, как кажется. Послышались крики: из большого амбара нас требовали к себе, и, уже пригнувшись, хотя для этого не было никаких видимых причин, мы перебежали туда. Оттого ли, что стали острее впитывать окружающее, не то два этих выстрела орудия насторожили, но привлек внимание ствол нашей громыхающей пушки – он был направлен куда-то вниз, даже немного ниже горизонтального уровня. Для нас, уже что-то повидавших на фронте, подобное положение орудия означало, что орудийный расчет просто видит цель и бьет по ней прямой наводкой. Значит, враг здесь, рядом. Теперь становилась понятной та поспешность, с которой нас перебрасывали с запада на восток, в противоположную сторону от фронта, и что, к сожалению, для того спринтерского ночного марафона были основания.

Эти мои мысли прервал приход той отдыхавшей в это время другой части нашего подразделения, представив теперь другим возможность ознакомиться со всей этой несколько странной обстановкой и местностью. Наш взвод или наша рота – не припомню точно, короче, мы оказались в двухэтажном доме не то школы, не то почты. Я и раньше часом назад заглядывал сюда в поисках воды, но не видел, чтобы там были какие-нибудь раненые, а теперь их было несколько человек. Даже не верилось. Может быть, я что-то и перепутал, но раненые – вот, налицо.

Двое, видно, только что перевязанные, лежали поодаль, и свежесть их бинтов с проступившими на них алыми пятнами

крови, как зажженный фонарь для мошкары, в темноте неотступно притягивала к себе, заставляя вновь и вновь возвращаться к ней взглядом. На третьем бинтов не было видно, он лежал пластом, вроде продолжая стоять по команде «смирно», только лежа; он до боли пусто приоткрывал глаза и здесь же снова отчужденно, медленно, как бы бесшумно дыша ими, закрывал их. Было видно, что дело худо. Не зная, как в таких случаях поступать, дождавшись, когда он в очередной раз открыл глаза, наклонившись к нему, я спросил: как ты? Тяжело? Что ты хочешь?.. Он не увидел, не услышал меня, но, показалось, еще скупее сомкнул веки, как-то уж совсем медленно и плотнее, чем проделывал это раньше, вроде в последний раз, навсегда… Хотелось схватить, трясти, толкнуть, чтобы еще попытаться вырвать его из власти тихо, давно и терпеливо ожидающей смерти. Обожгло чувством вины: может быть, я своим приставанием невольно ускорил его кончину?.. С испугом и надеждой уставившись в его закрытые веки, я ждал… ждал долго… Они не открылись. Я начал было терять терпение, когда заметил, что грудь тихо… поднимается!!!

– А-а-а, жив, дорогой! – радостно заколотилось внутри, словно он не только останется в живых, но и никогда больше не будет так страшно закрывать глаза, а через какое-то время вообще встанет и разделит с нами необходимость превозмочь усталость (никто еще не знал тогда, что в ожидавшем нас это будет самым малым, едва ли не легким, наивным усилием), будет рядом здоровым, бодрым. И радость крепла, становилась большею, чем яснее доходила до меня нелепость моего вывода – если человек так закрыл глаза, да к тому же долго не открывает их, – значит все???!

– Не-е-т, не все… живем!

От моей столь бурно вспыхнувшей радости осталось лишь скомканное ощущение неловкости, когда я увидел, как он открыл глаза… и он ли открыл их… они приоткрылись неосознанно, повинуясь лишь великому инстинкту жизни, прорвавшемуся через хаотическое нагромождение поверженной гармонии, чтобы хоть раз, еще только один последний раз восстановить угасающую связь с уходящим от него миром мысли, света и духа.

– Эй, солдат… не мучь его, видишь, он отходит…

– Я хотел помочь ему…

– В этом помогать не надо.

– Я совсем не в этом. Я…

– Ну, вот… и отойди от него.

– Ну, если ты все знаешь, так ты подойди, а то из-за Волги глотку лудить, бревна катить…

– Ты смотри, какой умный… про Волгу знает, а про пеленки давно забыл, засранец?..

И что-то еще несвязное недовольно, про себя бормотал тот человек, но понукал не зло, скорее вяло, устало, безразлично. Я умолк, стараясь вспомнить молитву, которой научила меня баба Васька Шевчук еще на Украине, когда меня, сбежавшего из немецкого лагеря военнопленных (я успел побывать и в этом обездоленном, горьком положении), умирающего от истощения, болезни и душевного шока, рискуя своими жизнями, укрыли, пригрели, отмыли и выходили дорогие моему сердцу украинцы в Каменец-Подольской области (теперь Хмельницкая область). Это конец 43-го и начало, а точнее январь – март 44-го года. Пленен я был под Житомиром 3 декабря 43-го года. Но об этом обо всем нужно специально, подробно, не спеша. Слушая лишь сердце и благодаря мгновения за восстановление правды.

На столе, запрокинув голову и как-то уж особенно шумно дыша, неловко подпирая себя руками, сидел еще один раненый… Ему, должно быть, обязан я в какой-то степени своим спасением тогда. Он, разумеется, не знал об этом, да и не знает, если он остался жить, но, думаю, вряд ли – в ту ночь и после нее выйти из деревни тяжелораненым было совершенно невозможно.

Раненые в жизни фронта – явление частое, страшное, многострадальное, но все же повседневное, к чему привыкаешь. Они, собственно, составляли одну из постоянных частей этой жизни, и часть значимую, высокую, но порою такую тяжелую – просто невыносимую. Идет война – они есть, к несчастью, должны быть, и это никакой не вывод – это страшная суть войны. Однако внезапное появление этих раненых сейчас здесь, черт те где от линии фронта, было не доброй, совсем не доброй приметой, и не я один так считал – по лицам моих товарищей было видно, что встревожены все. Свежая белизна бинтов раненых вопила, кричала, что ребята попали в беду, если не только что, то и не так давно, и скорее всего недалеко от этого места, где мы сейчас, пытаясь осмыслить увиденное, таращим на них глаза… Да, хотелось хоть что-нибудь знать, и это одно было бы значительно большим, чем знали мы, но спросить было не у кого, никто ничего не знал… Как же так, например, мы за все время ночного перехода ни разу не вступали с противником ни в какое соотношение сил, намерений или настроений. Да мы, вроде бы, и не должны были попадать ни в какие там передряги…

Мы шли себе и шли, и в этом нет ничего такого необыкновенного или непривычного, но однако же… Мы-то шли в тыл, нам так и говорили: вы идете в тыл, чтобы просто своим присутствием, наличием, так сказать, морально давить на

«окруженную группировку», которая, видя, что мы здесь и ее дело поэтому просто плохо, в конце концов, сдается – вот и всё! Ну вот мы и пришли, готовые давить морально, психически, да как угодно, а тут оказывается – обыкновенная война, и к нам попадают раненые из каких-то других частей, которые уже встречались с этим противником и выяснили, что он не очень согласен с тем, что ему уж так совсем плохо и что его кличут «окруженной группировкой». Да к тому же это подозрительно долгое отсутствие санитаров, впопыхах доставивших группу раненых, бросивших их и исчезнувших куда-то, надо полагать, не по личным делам… Значит, либо мы, идя в тыл, каким-то образом опять вышли к фронту, что, кстати, запросто могло случиться: попробуй-ка всю ночь едва ли не бегом, дорогой, правда, но в лесу, темно, а порою так и буераками… либо, активно окружая уже окруженного противника, сами ненароком немного попали в окружение, что, естественно, много хуже и скучнее первой половины этого второго предположения.

Как бы там ни было, но все вокруг говорило о противнике, а мы не слышим никакой стрельбы и никаких тебе разрывов, кроме двух выстрелов нашего орудия, и то каких-то странных – себе под нос?!

Не могу сказать, чтобы все это было слишком радостным и внушало какие-то повышенные ощущения полноты спокойствия: ведь он же все-таки где-то здесь… Значит, что же? Затаился… Зачем? С какой целью? Где??? И это бы еще ничего – привычно, и мы не раз могли не только постоять за себя, но порою принудить, заставить понять ту, другую сторону передовой, что каждый может иметь не только силу, но и достоинство, убеждения, права, и не считаться с этим – нехорошо! Но в том-то вся и закавыка, что здесь все было иное, начиная с того, что никто не знал – где и вообще есть ли она – передовая, и враг здесь мог быть, которому все нипочем, лишь бы выйти из окружения, да и нам самим недурно бы иметь врага где-нибудь с одной стороны, а здесь все пока неясно…

Нервно перебирая все это в башкенции, я вдруг увидел нечто невероятное – раненый на столе, очевидно устав ждать или решив переменить положение, повернулся другой своей стороной! У бедняги были сорваны все нижние ребра с правой стороны груди, да, собственно, она вся была срезана, открыта, зияла огромная темная дыра, и при вдохе темно-синяя с перламутровым отливом плевра легкого, клокоча и хлюпая, выходила неровными скользкими вздутиями наружу. Как он терпел?? Не знаю, чем объяснить, но крови, как ни странно, было немного.

– Ну где же они! – взмолился он. В голосе слышалось, как он

страдает. Не нужно было обладать какой-то повышенной сообразительностью (да такой у меня никогда и не было), чтобы понять, что он ждал и звал санитаров. Нависла тишина… Тишина была неприятной, долгой, нехорошей… За нею даже не скрывалось, а было понимание ее всеми, и всё же все продолжали молчать. Напряжение последних дней и бессонная ночь перехода вытравили душевные силы, и их хватало лишь на то, чтобы каждый стал глуше, скупее в голосе и движениях. Признаюсь, и я бы промолчал, так как сил ну просто напрочь не было, но меня угораздило быть рядом и, проклиная, что всегда это так – все в конечном счете сваливается на меня, – стал оглядываться по сторонам в надежде отыскать кого-нибудь из медсанбата, однако какой-то славянин, подозвав меня жестом, тихо и с досадой пояснил, чтобы я не очень хорохорился: санитары, внесшие их сюда, забрали с собой и наших двоих из санроты, ушли за оставшимися еще где-то ранеными и скоро должны вернуться. Но вот время идет, а их что-то нет и нет… Так что ты не вылупливайся, а угомонись, так будет лучше… тебе… ему… да и всем.

– Кто-нибудь… перевяжите меня… я умру! – уже прокричал раненый на столе. В общей сутолоке его, должно быть, не очень-то и слышали – оправдывал я себя, всех и эту ненормальную, надсадную тишину, а кто и слышал, не знал, как и что делать в этом редком случае. Я продолжал стоять самым близким к нему и испытывал страшную неловкость от невнимания всех к его горю, но меня уже одернули, выговорили, что я суюсь не в свое дело, и я молчал, но, видя, что он вдруг учащенно задышал, и боясь, как бы этот измученный болью и страхом мир не взорвался в исступлении и безысходности и, израсходовав остаток сил, не угас бы одиноко среди множества разбросанного на полу люда, подошел к нему:

– Потерпи, дорогой, видишь, здесь из медроты нет пока никого… все молчат… не знаю, как и чем помочь тебе… – Я дотронулся до его руки. – Теперь, должно быть, уж скоро придут.

Он поднял дикие глаза и, также хлюпая легкими, остановился взглядом на мне, как если бы вопрошал, ждал, что я скажу что-нибудь, могущее успокоить его. Что я мог сказать, я молчал, продолжая равнодушно, как бы совсем безразлично смотреть вареным судаком, кляня про себя и минуту ту, и его лихорадочные глаза, и что опять я туда куда не следует полез, и что я такая тряпка, а главное, что опять, опять не отдохну и что черт меня дернул оказаться именно здесь – на этом, казалось, более свободном месте. На самом же деле, увидев этих раненых, все расползлись по углам и стенам, чтобы избежать хлопот-забот о них, и, в общем-то, это понять можно – все валились с ног, и я устал не меньше других, но как-то наивно предполагал, что будем

делать все вместе – сообща и быстро, и никому тогда не будет в тягость, уже хотя бы потому, что каждый из нас мог тоже оказаться в подобном положении, а может быть, оказаться в худшем. Однако жизнь распорядилась иначе.

Он продолжал сверлить взглядом, и, казалось, этому не будет конца. Я был близок к тому, чтобы прервать это насилие и сдаться, но тут дало себя знать то, на что я никак не мог рассчитывать в ту далекую пору, – сработало, должно быть, врожденное, гены, и я ни с того ни с сего, вроде у меня не колотило во всех висках, так же безразлично-сонно глядя на него, спросил:

– Ты что смотришь, узнаешь, что ли, меня? Я тебя не знаю, например, не помню, из какого ты батальона, или ты не наш?

Видя, что вроде недурно получается, и, осмелев, уже пытался я ухлопать двух зайцев: и подозрение его отвести, и какая часть, откуда и что случилось с нею, разузнать. Однако он был совсем не дурак и откровенно недобро смотрел на меня.

– Мне просто даже неудобно, я думаю, ты перепутал что-нибудь, мы только сегодня пришли сюда, так что видишь…

Без труда в нем можно было заметить, как безуспешно он боролся с полным недоумением в самом себе. Какое-то время он продолжал, как и раньше, смотреть на меня, вроде оставляя мое актерское выступление без всякого внимания, затем, очевидно решив переменить подход к этой задаче, совсем по-другому осмотрел меня всего. Кажется, в нем промелькнуло сомнение: уж не идиот ли перед ним. Плуг был глубоко, и я пахал свою борозду:

– Нет-нет, ты ошибаешься, я, например, тебя не знаю.

Я видел, что он готов и очень хочет верить, но не хватает лишь йоты, капли.

– Ты перевяжи, – сказал он тихо-тихо, – у тебя получится. – Казалось, сжалился он, а может быть, и действительно поверил, что ничего такого страшного я в нем не заметил и у него еще есть надежда выжить. Я, чувствуя, что удается, теперь уже бесстыдно, но все так же скучно уставился в его разверстую грудь и чувствовал, что он в это время изучает меня не меньше, чем раньше.

– Не смею, боюсь, у тебя же вона-а какая царапина… не страшно, но не просто, совладай-ка с ней, например, попробуй. Ан не в раз, здесь прилежание, как в школе, подавай тоже, а то, не ровен час, и повредить недолго, – болтал я что-то такое, чтобы уйти от его пристального взгляда. – Слава богу, что еще ничего не задето, открыто, и все… Можно сказать, повезло тебе, парень, потому-то они тебя и не перебинтовали, должно быть… Подождет, дескать, ничего, других-то вона как, что твои дети в пеленках лежат, замотали так – где начало, где конец, не найдешь.

– Думаешь, не страшно, пронесет? – не сразу, но жадно цеплялся он.

– Чего тут думать, и не собираюсь заниматься этим, вижу просто, потому-то они и махнули рукой на тебя, – сказал и уж потом сообразил, что это можно понять двояко. Осекшись, я не сразу обрел уверенность и нужный тон и стал нести совсем уж какую-то жуткую ахинею, вроде: «а теперь, не умеючи, поди-ка попытайся и не сразу, не вдруг, – школа нужна, навык». Он молчал. Скажи он хоть слово, и я бы уж теперь законно перевел разговор на то, где это их всех так угораздило, но он только настороженно, вопрошающе смотрел.

– Ну давай попытаемся, попробуем, хотя, честно говоря, боюсь, никогда не делал этого… ты пока потерпи, брат. Запрокинь голову, как ты сидел, тебе так легче, кажется, было… – И этого говорить не следовало, и он это понял и совсем по-иному, недобро, подозрительно смотрел на меня, устав, должно быть, от непонимания, кто же, в конце концов перед ним – слабый, доверчивый, «без царя в голове» придурок, пентюх или затаенный, вероломный, все видящий и понимающий дьявол??? Ему было над чем подумать, впрочем, это не лишним было бы и мне.

– Давай, запрокинь, запрокинь… я же видел, как ты отдыхал давеча, от меня, брат, ничего не скроешь, я всюду, я всегда, я царь, я… брат, я червь, и не думай, что я дурак дураком, все замечу, все учту, потому что я был, я есть, я буду… потому что я… этот… этот… никакого винограда, конечно, не получишь… но голову запрокинь… эта поза называется Вайнтрауб… нет-нет… мелкий блок… запрокидывай, вот так! – тут же вовсю командовал я, понимая, что хоть и проговорился, но теперь, чтобы выстоять, нужно продолжать тянуть одну и ту же линию. Был какой-то момент, когда показалось, что он вот-вот спросит, сколько лет мне, откуда и кто я такой, но, боясь должно быть, совсем запутаться, где правда, а где ложь, глубоко вздохнул и закрыл глаза – смирился, я доконал-таки его, но больше – самого себя, помнится.

– Ребята, эй, не спать… У кого индивидаль… индуваль… идивидидаль… – Слово «индивидуальный» не давалось. – У кого бинты, пакеты личные есть, дайте, тут солдату необходимо, – уже едва ли не нагло, громко кричал я, на радостях, что избавился от пытки, но больше оттого, что под личиной необходимости сгустить краски для успешного сбора пакетов могу, наконец, сказать правду. Оказывается, все эти мои манипуляции наблюдал наш лейтенант и одним из первых протянул мне пакет.

– Помоги, помоги ему, сержант… все правильно.

Откуда только силы берутся – подбодренный, я носился по

дому, как хорошо выспавшийся, отдохнувший бегун какой-нибудь, ну, правда, это самочувствие такое было; внешне же я не очень, наверное, подтверждал то состояние души, не случайно кто-то, протянув пакет, крикнул: «Эй, доходяга, вот возьми!» Но это все мелочи, важно, что у меня уже было полно пакетов, и, увидев, что мой раненый смотрит, как я все это проделываю, строил ему в ответ веселые рожи, показывая кучу прекрасных, запечатанных пакетов: живем, дескать, совладаем и с этим, ты только потерпи, брат! Невероятно, показалось – он улыбнулся.

И опять вспомнился Вайнтрауб и его это совершенно непереборимое «жить и радоваться жизни», почему-то его нигде не видно. Наверное, в штабном доме где-нибудь… хотя здесь тоже офицеров пруд пруди и он мог бы быть здесь, но вот пока нет нигде. Наконец я приступил к перевязке и волновался так, словно это я сорвал ему грудь. Да-а-а, дело-то это, оказывается, совсем не простое и много всяких непонятностей, вопросов: рана немалая – пакеты небольшие, надо сшивать и опять шарада – дотрагиваться до стерильной поверхности нельзя и края раны необходимо каким-то образом промыть, продезинфицировать, откуда-то появилась кружка не то со спиртом, не то с несколькими глотками водки… и снова загадка: как и чем прикрыть саму рану, а то ведь можно вместо помощи еще больше повредить. В общем, я изрядно попотел, кто-то издали корректировал, подсказывал, но помочь никто, к сожалению, не помог – все сидели, лежали, сопели, храпели, но… то ли врожденная крестьянская жила – все делать так, чтоб уж потом сто раз не переделывать, то ли ответственность дела сказались, а может быть, то была одна из прекрасных минут жизни и созидания ее – не знаю, что там такое было, однако перевязка с трудом, но получалась, выходила, и я радовался и не мог скрывать этой своей радости. Меня всего маленько колотило, знобило, в глазах колики появились, и мой раненый, недоумевая, что это со мной происходит, уставился в меня и опять тихо спросил:

– Ты что?

– Знаешь, кажется, получается, вот меня и трясет от радости.

Он смотрел строго, серьезно, и я даже подумал, что он хочет спросить: кто же я все-таки, откуда, из какой части, но он не только не спросил, но я увидел, что, находясь во власти своих мыслей и болей, даже не видел меня, а через малое время вообще забыл бы меня и мое воспаленное лицо и жар, в который меня так неожиданно бросило, если бы события несколько повременили со скоростями… Перевязать до конца не удалось.

Автоматные очереди с противоположной стороны улицы,

истерически захлебываясь в шальном азарте, прорезали окна и двери нашего дома. Такого не ожидали. К счастью, никто не пострадал, однако все повскакали, готовя оружие:

– Спокойно, оставаться на местах! – Наш лейтенант был не молод и в свои двадцать восемь – тридцать лет был завидно уравновешен. Я легко уговорил моего раненого спуститься на пол под подоконник только что расстрелянного окна, и он, как переломанный в пояснице, тяжело опираясь на мою руку, осторожно посылая себя в сторону каждого шага, медленно перешел туда. Ему, наверное, было много хуже, чем казалось. Очевидно, я имел дело с редко сильным человеком.

Где-то недалеко спеша, вроде стараясь опередить друг друга, разрывая тишину ранних сумерек, взрывались мины. Колотило долго, жестоко. Слышались не выстрелы, а разрывы – значит били не мы, а другие нас. Да и по внезапности, жестокости налета это тоже не могли быть наши… Злорадство и спешная плотность артналета вернули нас в жесткие будни передовой. Что происходит? И что же наши? Где они? Почему молчат? Может быть, я не разглядел, но, кроме той пушки, я что-то не приметил, чтобы у нас была еще какая-то артиллерия. Да-а… дела! Не шибкие. Совсем не шибкие. Отдых, к которому с надеждой шли и ждали, не начавшись, кончился. Теперь мы должны быть там, это понимали все. Однако лейтенант, подпирая спиной стену, пусто смотрел перед собой. Я, ожидая, когда мой раненый расположит себя на подставленный ему ящик из-под боеприпасов, заметил, как некоторые солдаты скрыто поглядывали на лейтенанта, боясь своими взглядами напомнить командиру, что – пора.

Заканчивать перевязку на полу было неловко, не с руки, ко всем другим трудностям теперь прибавилось еще и стена – она просто мешала, и я все делал, но получалось все страшно медленно, но никто не понукал, не подгонял – все ждали.

Как-то страшно вбежавший связной негромко, но, судя по всему, что-то неприятное сообщил лейтенанту, тот дернулся, отвернулся к стене и какое-то время вроде безучастно сидел боком. Лица не было видно, и что поразительно – не хотелось, чтобы он поворачивался, вообще было неловко смотреть в его сторону, стало вдруг тесно, хотелось глубоко вдохнуть. Я проглядел, когда лейтенант встал, но, увидев его, на мгновение не поверил своим глазам – он был бел как известка.

– Пошли и мы, – тихо сказал он.

Все слышали, понимали, но остались как были.

– Взвод, встать! – так же негромко, скорее, проговорил, чем скомандовал лейтенант. Чтобы выйти, он должен был пройти мимо меня и уже на ходу бросил: – Догоняй!

И все это многоликое, но в чем-то очень схожее один с другим скопление людей двинулось в свой последний путь.

Санитары не появлялись, и мой раненый, поняв, должно быть, что они и не придут, стал совсем отрешенно тихим – смирился, однако, увидев, что я собираюсь уходить, взял мою руку и, помолчав, попросил воды. И когда я, раздобыв ее, вернулся, он, устав от боли, или все же сказалась потеря крови при ранении, впал в полузабытье. Другой так же послушно вытянуто лежал под лестницей, но глаз больше не открывал. На грудь его не глядел – боялся. Двое, что смотрелись близнецами, также тяжело и основательно лежали «затонувшими бревнами», и помочь им чем-нибудь конкретным, кроме как подать воды или свернуть цигарку, я не мог, да они ничего и не просили, а лежали себе, никого не обременяя, и все вокруг им было нипочем, его для них просто не существовало. За стенами дома перестрелка не унималась, и пули то и дело, не встретив никого на своем пути, в бессильной злобе залетали в наше помещение, сердито отбивая штукатурку со стен. Надо было идти. В возвращение санитаров я не верил (уж очень долго они не появлялись), а теперь я просто знал: с ними что-то случилось, в любом другом случае они были бы здесь. В доме еще оставался какой-то штабной люд: группа офицеров и человек двадцать саперов, связистов. Попросив посматривать теперь уже за моими пострадавшими, я вывалился за порог и тут же уткнулся носом в какую-то каменную или чугунную тумбу, служившую, очевидно, когда-то основанием для парадного фонаря. Теперь времена иные и много удобнее и надежнее обходиться без всяких подсветов. В полутьме сумерек мелькали темные силуэты. Кто такие, определить было трудно. Никого не окликая, чтоб вместо ответа не получить в живот очередь из автомата, перебегая от одного дома к другому и сам превратившись в одну из мелькавших теней, я быстро добрался до знакомых амбаров.

Дальше все пошло, покатилось, стремительно нарастая, переплетаясь, завязываясь в сплошной клубок боли, нервов, озверелого ожесточения, смертей, невыразимо тяжелой, давящей тоски, отчаяния и черных провалов тупого безразличия ко всему происходящему вокруг и к самому себе, словно впереди предстоит прожить еще три-четыре сотни жизней и этой одной, такой рваной, нервной, не сложившейся, можно, пожалуй, сейчас и пренебречь, потому как уж очень тяжело и долго, мучительно. То все вдруг уходило за внезапной, буквально вламывающейся, невероятной жаждой выжить, выстоять, не пустить: вы претесь, ломитесь, вам непременно надо пройти – это понять можно, мы сами иногда лезем черт-те куда на рожон, однако в подобных случаях мы больше во власти жертвенности, исполнения долга, но

никогда не истребления всего вокруг – никогда! Нет, голубчики, не такой ценой! Вы что-то перепутали или не додумали. Но так нельзя! Не надо! Не надо!

Те давно ушедшие часы представляются мне сейчас какой-то беспрерывной спешкой к единому, уже предопределенному, неуклонно тянувшему к себе концу. Могло лишь показаться, что среда и время все еще пребывали в том соответствии, которое несет в себе надежду на то, что еще многое впереди, все будет, и поэтому никто не заметил уже случившееся.

…Неясные, темные пятна вытягивались в неровную полосу, и она, изгибаясь, собиралась, сгущаясь до черных провалов на фоне снега, и вновь распадалась на отдельно бегущие группы.

– Опять гости!

– Ох, видно, немало их там, за полотном!

– Почему за полотном – тебе их и перед ним хватит.

– Мне их хоть бы век не видать и не слышать ни одного, так не очень бы…

Быстрые, нервные вспышки за насыпью железной дороги то тут, то там четко высветили ровную черную границу ее. Начинается!

– В укрытие, в укрытие!

Мы ринулись в амбары. Через полторы-две минуты они будут здесь. Только бы вовремя залечь после налета, иначе…

– Проверить оружие!.. Гранаты наготове?

Писк, вой, скрежет, свист, грохот, остервенелое месиво взрывов, резкий стукоток осколков, пыль и осыпающаяся земля с развороченного потолка амбара. Видно, не на шутку взялись, надоело цирлих-манирлих разводить…

– Приготовились!

Невольно разбившись на две группы, тесно прижавшись друг к другу, одни по одну сторону дверей, другие – по другую.

– Сейчас он перенесет огонь в глубь двора, и вы, – указал на нас совсем незнакомый какой-то человек, – всей оравой налево между сараями! С вами будут еще из того сарая с лейтенантом, а вы все со мной… – И без того, кажется, надорванный голос его потонул в неистовом грохоте разрывов, амбар трясло, с потолка уже валилось, и, казалось, в следующее мгновение, не выдержав, он рухнет. Было нечем дышать. Несколько мин со страшным ревом взорвали черный снег у наших дверей, обдав нас вонью взрывчатки и жженого металла. Вдруг три-четыре быстрых острых вспышки и грохот орудия рядом. Всех отбросило, прижало к углам…

– Молодцы, братва! – орал кто-то из угла.

Я не мог пробить горло от пыли, душил кашель. Кто-то пытался колотить меня по спине…

– Пожа… лей, бра… з… здесь ви… вилы… о-осторож…

В следующее мгновение весь двор превратился в ослепительно яркий, взрывающийся мир… Все ринулись к дверям. Вспарывая темноту, ракеты снопами взлетали за нашим сараем. Ночь уступила место страшному карнавалу. Тени амбаров, огромного дерева метались в дьявольской пляске, наскакивая одна на другую. Двор стонал от разрыва мин и визга осколков.

Незнакомец, осторожно высунувшись из ворот, напряженно всматривался в сторону большого амбара. Мы стояли, дыша друг другу в шеи, плечи. Вытянутая рука незнакомца слегка дрожала, как бы говорила, сдерживая нас: сейчас, сейчас, потерпите!

– Пора. Пошли-и!

От большого амбара бежала группа наших, человек восемь… Лейтенанта не было, не увидел…

Надсадный ор из лощины. Бегущая темная полоса с лихорадочной перекличкой вспышек автоматных очередей. Тряска приклада… Рядом, справа, до боли в ухо глушит автомат соседа. Ничего не слышу… надо бы отползти… Пытаюсь спустить ухо шапки. Где-то за спиной бешеный хоровод взрывов и истерический визг осколков над головой… Стоявший за углом амбара чей-то темный силуэт выронил автомат и медленно сполз вниз.

– Ах, мерзавцы, что творят, что делают?

Комки земли, камней сыпались не переставая, осатанелый, сплошной вопль летел внизу нарастая, и пляска светляков автоматного огня, устремившихся на нас, была близкой. Вой пропадал в остервенелом хохоте наших автоматов и опять истошно врывался в сырую темь ночи, когда руку сводило острой болью судороги и немалых усилий стоило распрямить искореженные ею пальцы. Темнота, устав скрывать, быстро приближала к нам мутно-серые пятна орущих лиц. Их много – огромная колыхающаяся гряда, уже слышно тяжелое дыхание бегущих и топот ног.

– Гранаты, гранаты!!! – разрывая хаос звуков, неслось из-за амбара в темноте. Слева исступленно, с силой махали руками. Вскочив, далеко швырнул гранату и, вырвав кольцо у другой, момент высматривал место нужнее – вторая полетела за первой. Гранаты еще не долетали до цели, но сдерживали, останавливали от вала, приступа, в котором они неслись на нас. Автомат справа, глушивший меня своей близостью (его хозяин лежал за большим металлическим колесом, еще мелькнула досада – моя булыга так не защитит, как его колесо), вдруг смолк, и только эхо его резкой стучащей скороговорки продолжало колотиться в ушах. На короткое мгновение, приподнявшись на руках, сосед (не помню его фамилии – он из старожилов, все они были не словоохотливы и с

нами, «сосунками», не очень-то общались) неподвижно уставился в темноту, ожидая что-то, и вдруг, вроде отрицая все на свете, замотал головой, кровь ручьем хлынула из носа и рта, и он рухнул.

– Эй, эй, эй! – Я полз к нему и орал, словно ошалелый крик мой оставит, задержит жизнь. Развернув набок вздрагивающее, размякшее тело, понял, что все закончилось – тепло, накопленное жизнью, вместе с кровью покидало его. Глаза заволакивала мутная пелена, и они остались вяло прикрыты. Кто-то кричит? Кто и где – не пойму! Тащу из-под него автомат, весь в липкой теплой крови с комками земли и снега. Кажется, сейчас, отплевываясь, он заорет: ты что, обалдел, что ли? Вместе с ремнем вытягиваю руку, и она, рвано вздрагивая, вдруг совершенно безразлично отпускает автомат… Весь диск изжеван попаданием роя пуль. Опять крик, но откуда, кто и что кричат – понять не могу. Странный, «фырчащий» звук над головой… Какое-то мгновение сознание ничего не фиксирует – его нет. Что – все?.. а, вот опять вижу, слышу… Рву затвор на себя – привычно напрягаюсь, как палка, ожидая напор давления выстрелов… диск пустой! В низине частые беспорядочные взмахи рук и опять этот «хромающий» звук летящих на нас их на длинных, деревянных ручках гранат… Некоторые, в шальном азарте бросить прицельно и дальше, вскакивали в полный рост. Какие-то неясные быстрые тени, скользкими силуэтами метнувшись в сторону, исчезли, оставив загадку и вопрос: показалось или было? И что это? Опять разрывы, но много дальше – перестарались, слишком подползли, наверное… В них уже вызрела уверенность, решимость: вот сейчас, уже в следующее мгновение расстрелять в упор, смести, стереть, убрать. Отрывисто и гортанно, нагло громко, вроде пытаясь догнать что-то, пронеслось в долине по-немецки, темная полынья, вскочив, ожила… вопль с каждой секундой усиливался, набирая силу, черная масса, неистово вдруг взревев, колыхнулась и бросилась на нас!

– ОГОНЬ! ГРАНАТЫ! ГРАНАТЫ! – раздирал темноту и нарастающий ор хрип за спиной…

Одна за другой летели они навстречу орущей, обезумевшей бледной темноте… Но и это уже не спасало нас.

Все. Конец.

Вдруг огонь, грохот орудия рядом. Ошалев от отчаяния и мелькнувшей надежды жить, мы дурными, истошно-дикими голосами тоже что-то такое вопили, отдаленно напоминающее «ура». Черная лавина внизу сбилась, распалась на части, вой оборвался, кто-то ринулся в снег, кто-то повернул бежать обратно, основная темная масса в растерянности топталась на месте, казалось, обиженно смотрела в нашу сторону. Орудие

разразилось еще четырьмя-пятью едва ли не слитными в единый залп выстрелами; лежа, мы завыли уже более определенно и внушительно. Более дикого ора в жизни больше не слыхивал… Уж не виделось бледно-серых размытых лиц, и черная плотность распадалась на нервные черные дыры, быстро разрывая себя, тая во тьме. Они бежали. Надолго ли, но деревню пока отстояли. А если удалось бы совладать с собой и легкими и осторожно схватить ими воздух, так, чтобы их не разорвало, – то, может БЫТЬ, и саму жизнь. ТЯЖЕЛО. Ком земли или снега, ударив, рассыпался здесь же, возле меня. Оглядываюсь – у амбара, уставясь в меня, лежит солдат.

– Ты ранен? – ору я ему.

Тот зло, без звука широко открыл рот, вроде показывает, какой он у него большой, и быстро захлопнул… Опять как бы чего-то продолжал ждать от меня.

– Ты ранен, что ли?! – недоумевал я.

Он резко вбок мотнул головой и нетерпеливо, коротким взмахом руки потребовал меня к себе. Ползу…

Здесь я должен несколько отвлечься. Сперва солдат тот сказал мне слова, которые я сам знал довольно хорошо в ту пору и даже, наверное, порою высказывал вслух некоторые из них, однако, помнится, чаще приходилось выслушивать, и… что говорить… слова эти безусловно расширяли возможности воздействия великого русского языка, но расширяли… сюрреалистически, что ли… в общем, уродливо, какой-то опухолью, отростком, в котором перемешивалось все и вся настолько, что выходило, например, так, что этот орущий на меня ни с того ни с сего человек был не только хорошо знаком с моей родней, но и был наделен какими-то столь совершенно неограниченными полномочиями, что мог запросто отослать меня отсюда к ней, то есть к моей родне! На самом же деле это была полная чушь, не имевшая под собой никакой основы, надо же все-таки соображать и учитывать обстановку вокруг, а она была и оставалась совсем не для родственных встреч и связей. Да и сам он, наверное, в глубине души понимал несостоятельность всего того, что так необдуманно в сердцах наорал мне; это было видно из тех слов, которые произнес он, перейдя на обычный, здравый человеческий язык без всякого «сюра»:

– Оглох, что ли? Они здесь за сараем, к пушке подбираются… Сержант приказал идти к нему, – четко выговаривал он мне в самое ухо, а я с удивлением слышал его тоненьким писком комарика на фоне все еще клокочущего в ушах стука автомата и каких-то отдельных, остаточных выбросов его «сюра».

– Ага, понял, пошли! – кричал я, обрадовавшись, что понимаю и

меня понимают и ничего расшифровывать не надо. – Да-да, я видел… видел с нашей стороны амбара, по-моему, их не больше пяти-шести.

– Это мы сейчас узнаем, только не ори ты.

– Я же не по-немецки ору, они если и услышат, так все равно ничего не поймут – в школе русский не изучали… не то что мы: «гутен морген, вифель ур».

– Да заткнись ты, наконец…

– Это я от радости, что мы победили… у тебя диска лишнего нет? У меня все…

Мы бежим вдоль маленького амбара, на бегу он сует мне, чувствую по весу, неполный рожок. Радость и огорчение вместе: еще покажем что по чем, постоим за себя… неправда ваша… поживем. Жаль – рожок… в нем вдвое меньше, чем в диске, да еще и неполный к тому ж.

Воистину нужно было обладать недюжинным запасом душевных сил, чтобы продолжать жить, видеть, говорить, чувствовать после случившегося в ту ночь, и хоть никто не знал, да и не мог знать, что барьер перейден, кризис миновал, но все, что суждено было пройти оставшимся в живых, было невероятным настолько, что преодолеть его было под силу лишь совершенно бездушным или таким, какими стали мы к исходу той долгой ночи.

Орудие, точно оно «сорвалось с цепи», изрыгая огонь, яростно и гневно посылало в темноту: «Не надо, не надо больше ходить сюда ночью!» Это были его последние выстрелы. Не понимая, что происходит, и опасаясь, как бы по ошибке нас не приняли бы не за тех, но больше, наверное, от неожиданности мы ринулись на землю. Но все было правильно – орудийный расчет тоже видел прорвавшихся и теперь расстреливал землю за малым амбаром в надежде остановить и не дать им закрепиться за стенами, проникать дальше. Но здесь случилось то, что должно было рано или поздно произойти, – вскочив во весь рост на лафет орудия, раздирая ворот гимнастерки (шинель сбросил наверное, чтоб легче было управляться), исступленно потрясая сжатыми кулаками, орал единственный уцелевший из расчета боец. Не верилось, чтоб он в одиночку с такой скоростью мог выпустить целую обойму снарядов.

– Тебе сюда надо, иди убивай, сволочь, я здесь, на… на… давай!

Все произошло мгновенно, внезапно, лишая нас возможности вмешаться, остановить… но, правда, какая-то шинель (или то казалось) тенью метнулась к орудию, но и это было поздно: ответ последовал без раздумий и пауз – приглушенная, нагло короткая автоматная очередь в упор из-за угла амбара… Парень на лафете нелепо отбросил руки, вроде не умея, но все же решился нырнуть,

подался вперед и всем своим измученным телом обрушился на орудие, повис на его щите, издав при этом нелепое: «а-а-авв!». Руки не доставали до земли и как бы сожалели об этой малости, они вздрагивали, тянулись, замирали, опять тянулись… и застыли.

– Гранаты, гранаты! – надсадно хрипело рядом. И – «придержи на раз, на два!» – выдернув чеку и отбросив руку в сторону, мгновение стоял, замерев… и с силой швырнул гранату за амбар.

– Через крышу давай, через крышу… не тяни! – требовал он, и в его надрывном хрипе звучала жуткая радость, что ему это уже удалось.

– Только придержи, придержи. Не раскисай, ребята!

Отбежав друг от друга, мы с лихорадочным проворством выдергивали кольца, отпускали рычаги и, зажав живую смерть в застывших кулаках, высчитывали секунды, посылали круглые чугунные лимонки за крышу и торцы нашего спасительного укрытия, слыша в ответ суматоху их разрывов за амбаром. Они хотели нашей смерти, они шли с этим и смели бы нас, все к тому шло, но тот парень на орудии был не так слаб, как казалось. Он сдерживал основную лавину, но, оторвав своих убийц от общей массы, к сожалению, не смог только одного – скрыть, что все было последним, и снаряды, и нервы, и самообладание. У нас не было выбора. Наши гранаты не позволили прорвавшимся к амбару сообщить залегшим в снег, что орудие теперь будет молчать, и только это избавило нас от их последнего приступа. Их обманула плотность разрывов наших гранат, по ней никак нельзя было предположить, как близко были они к своей цели. Мы не могли уступить в этом положении без выбора (к этому моменту нас осталось только девять человек), мы должны были!..

– Все, чисто… – выбегая из-за амбара, бросил деловито все тот же хрипун. Им оказался сержант, что был с нами в амбаре во время их артподготовки (не знаю ни имени его, ни фамилии, он был не то из первого, не то из третьего взвода).

Пустовато, редко было, да к тому же двое раненых, один из которых был просто плох. Оставшиеся ошалелыми глазами упирались один в другого, молча спрашивая: «Ты здесь?.. Хорошо… Ну вот и я, видишь… А, и ты здесь, друг, славно!!! А где… Вот ведь как…» Однако каждый в душе надеялся, что еще подойдут, соберутся, забыв, что сами уже подошли и собрались. Никто не говорил, не спрашивал, все рвано дышали и, заведенно шатаясь, не в состоянии остановиться, топтались на месте. То один или несколько, случайно объединившись, растворялись в темноте и тут же возвращались, также тяжело дыша, вроде там им приходилось бежать, а вот теперь и пешком пройтись можно, подышать свежим воздухом. На глаза все время попадались два

«гиганта,» и одного так бил надсадный кашель, выворачивало наизнанку, что казалось: вот тут-то уж с ним будет окончательно покончено, несмотря на его могучую стать. В общем, на победителей мы не походили, и если отстояли деревушку и дорогу, то просто чудом, случаем. И не скажу, что было тяжело – нет, это слово не в состоянии определить то, что пришлось перенести.

Невозможно, невыносимо – был какой-то душевный столбняк, шок.

Ушло время, вообще ничего не было, кроме мятущегося сердца с короткими, как уколы, проблесками сознания. Напрочь были забыты боль, страх, смерть, сами мы. Мысль, осознанность вообще надолго уходили и только позже, вернувшись, отметили четкостью и остротой все виденное, прочувствованное, пережитое.

– Мужики, гранаты остались? – Голос звучал тихо, ровно, не раздражая, почти без хрипов. Я был поодаль, но сразу узнал его и все слышал четко и ясно.

– У меня одна.

– Две.

– У тебя?

– Да откуда, что я, делаю их, что ли…

– Тоже нет ничего…

– А у тебя? Чего молчишь?

– Есть… этого добра навалом – вон в ящиках, хватит на всех. Жизни нет, а это-о-о…

– Вот это дал, философ! Ты сейчас-то жив только благодаря им, дурило. Гранаты есть – жизнь будет! Здесь, брат, все взаимосплетено – не разрежешь, не порвешь… Не до жиру – быть бы живу.

– Да какая же это жизнь?!

– Не пойму, тебя контузило, что ли?

Я слушал их и недоумевал: они так же, как и я, всего полчаса тому назад случайно остались живы, а теперь спорят, «отстаивают свои взгляды» на эту и сейчас все еще на волоске висящую жизнь. Случись спор этот в любой другой обстановке, я не обратил бы на него никакого внимания, но оба они были столь серьезны, что я не мог, хотя бы молча, не принять участия в этом с виду простом диалоге. Говорили о жизни! Ох, как хотелось жить – невероятно! Все чувствовалось обостренно, должно быть, оттого, что каждый момент мог стать последним.

Непонятный, непривычно слабый, похожий на крик подбитой птицы, тихий, несколько раз долетавший до нас звук утонул в промозглом воздухе ночи… Все замерли, прислушиваясь.

– В амбаре… раненые или куры.

– Нет здесь никаких кур.

– Да раненые же, слышишь, стонут!

– Раненых забрали всех.

– Тихо вы… Кто-то у пушки!

– Кто же это их успел забрать?

– У пушки был… да сплыл. Теперь наша очередь!

– Да замолчишь ты, наконец! Может быть, это условный знак у них! Вы оба и ты – можешь или уже нет… туда, в проем между амбарами, вы втроем и ты – пошли со мной… а-а-а. – И он диковато оглянулся, только сейчас, казалось, осознав – до чего нас мало.

– Да-а, не густо! Тогда оставайся здесь и свяжешь, если что.

– Тихо… Слышите?.. Стон, явный стон!

Звук одиноко опять прорезал настороженное затишье. Плач?.. Не похоже! Может, домашнее животное какое ранило, вот оно и стонет!

– Какое животное… кроме тебя другой живности здесь нет.

– Смешно, молодец… а главное, вовремя и по делу!

– Цыть, какие вы, право!.. Кто-то плачет!

– Что здесь, детский сад, что ли?

Здесь опять последовали словеса, которые по смыслу (если, конечно, позволить себе вольность – предположить наличие в них какого-нибудь смысла) ну уж совсем не подходили к данной ситуации, поэтому я их и опущу, но вот ведь какая петрушка: должно быть многослойность, что ли, тех изречений подействовала отрезвляюще, и все как миленькие затихли, застыли, напрягая слух, стараясь уловить малейшее, что выпадало из плотной толщи ночных шумов, но никто ничего не слышал, кроме разгула потаенной жизни ночной тишины, собранного воедино гигантской раковиной, образованной амбарами и темнотой. Тишина мстила за долгое пренебрежение к ней, и стоило теперь лишь осознать и почувствовать, что все погрузилось в тишину, как она буквально обрушивалась шквалом шорохов и всевозможных шипов и скрипов. Мучительно хотелось освободиться, избавиться от этого пресса.

– Ребята, я знаю… – робко прозвучало рядом…

Если бы нежданно-негаданно нас обдали ледяной водой или под нами ходуном вдруг заходила бы земля, то эффект от этих катаклизмов был бы не большим, чем от той тихо сказанной фразы. Когда первое обалдение прошло и действительность стала ясной и близкой всем, конечно, захотелось развернуться и дать как следует, чтобы в другой раз не повадно было так некстати высовываться со своими знаниями, и если ничего не дали, то

только потому, что плохого-то он, в общем, ничего не хотел.

– Что вы все дергаетесь, как белье на веревке, что такого ужасного я сделал? Сказал, что знаю, кто орал, – и все… Немцы не забрали всех подстреленных, вот они и подают сигналы, но кричать в голос боятся, чтоб до нас не долетело, правильно кто-то говорил здесь.

Довод был убедительным, и все помягчали, примолкли, не зная, что делать, как поступить? И присмиреешь, задумаешься, есть над чем – все не просто. Когда он перся с автоматом, орал, хотел убивать и убивал – это одно; теперь тишина, никто не стремится ни голову размозжить, ни свинец всадить в тебя – это уже другое, иной коленкор… Стон, как вздох, раздавшись, избавил нас от размышлений…

– У пушки! – Опрометью ринулись туда. У разводной опорной станины (не знаю, как точно называются эти две длинные трубы, которыми орудие упирается, чтобы во время стрельбы не откатываться и не становиться на дыбы) на снегу спиной к нам сидел солдат… И было непонятно – ранен он или цел? Но с ним было худо, и это виделось даже в темноте: руки неожиданно взбрасывались, как бы желая задержаться на лице, и тут же вяло, тряпками падали вниз. Сержант помог ему удержать кисти рук у подбородка.

– Хочешь голову поддержать? Нужное дело. Давай вместе! – Однако результат был не большим, если б все то же самое проделали с манекеном или чучелом. Было неловко видеть его, ушедшего во что-то такое, куда не хотелось бы заглянуть… Между ним и нами была разящая пропасть. Было жутко и неприятно оттого, что его самого напрочь здесь не было. Кто-то протер ему лицо снегом, сержант с силой несколько раз «взболтнул» его, держа за плечи, – все было напрасным, наши домогания и вопросы он попросту не замечал. Он был страшно далек от того, чтобы осознать, что он здесь, от него что-то ждут, хотят его возврата. Его подняли, пытаясь поставить на ноги, и показали, как надо ходить – ничего этого он не видел и не понял. То, что недавно было человеком, теперь превратилось лишь в неудобную вешалку для рук и ног, которых, казалось, стало вдвое больше, и все они были плохо привязаны и оттого болтались, не находя единой цели в действии и лишь мешая друг другу. Попробовали здесь же на месте пройтись с ним – шагал, но шагал не он, а как бы память его вздрагивающих мышц, которые жили сами по себе. Пробовали ставить и отпускали – он оседал, рушился и сникал совершенно. Единственным проявлением жизни в нем был вот тот выдох с сипотой, похожий на плач, который привел нас к нему.

– Что же это такая хиленькая артиллерия у нас – тот выступать вдруг начал, теперь этот… всех на дачу отправил…

– Выедешь… Это ты, лапоть, пехота, каждый день с немчурой чуть не чай пить ходишь, а они – артиллерия, бог войны. Это всегда где-то за долами и весями, далеко и недосягаемо, а тут вдруг нос к носу – и встречать нечем, ни хлеба, ни соли… один чтец-декламатор, так что понять, я думаю, можно.

– Может, ему приказ какой отдать? – мягко, неуверенно предложил кто-то.

Сержант, который больше всего возился с артиллеристом, скользнув взглядом по предложившему этот эксперимент, вдруг активно, с силой подвел его к затвору орудия и, поддерживая солдата, резко, шепотом проговорил:

– Слушать мою команду – орудие, огонь!

Невероятно! Откуда-то из страшной тьмы надломленной психики первым пришел «здоровый» озноб. Солдата дернуло, руки опять подбросило, они, прежде вялые, вдруг начали дрожать, готовясь к какому-то поиску. За доли минуты солдат взмок.

– Огонь! – неуклонно давил голос.

Днем, при нормальной видимости, смотреть на происходящее, я думаю, было бы неприятно и даже страшно, но сейчас все молча, окружив их, стояли и ждали.

– Огонь! – неумолимо требовал сержант.

Каждая команда заставляла солдата изнутри, рвано, выбросами вздрагивать всем телом, вроде силы, возрождающиеся в нем, готовы были к действию, а вот сознание, логика все еще не могли уразуметь, осознать – вот его и бросало короткими конвульсиями. От него дохнуло теплом, он учащенно задышал, силился (было видно, что, наконец, почти осознанно) приподнять, взбросить голову. Сержант был рядом, и, казалось, он подхватит эту безвольно, нелепо мотающуюся голову, но он, напротив, совершенно отпустив солдата, отстранился от него и зло, в упор, жестко бросал:

– Беглый огонь!

Возвращавшиеся силы солдата, на что-то натыкаясь внутри, пытались догонять команду, вскидывали голову с запозданием. Чувствовалось, что он хотел, страшно хотел зацепиться за неровные выступы рухнувшего духа; казалось, еще совсем короткое время – и он обретет себя, вернется. С беспорядочными скачками головы вместе с дрожью впервые появились бессвязные хрипы и звуки. Все еще подбрасывая голову, солдат остановился взглядом на лице сержанта, но не видел его, совсем не видел, лишь сила голоса заставляла его искать источник какого-то резкого возбудителя. Энергия, так валом нахлынувшая, вдруг, видимо, так же быстро стала покидать солдата. Он осел, ударившись скулой о затвор пушки, и никакие команды до него не доходили.

– Все, ушел… совсем… сломался!

Солдат действительно не производил впечатления живого человека – это была груда того, что было человеком. Ему расправили ноги, разбросали руки и оставили лежащим на снегу.

– Вот сейчас он и отойдет сам по себе, без всяких криков, –

недовольно проворчал солдат, который сетовал на отсутствие жизни.

Однако через некоторое время все тот же сержант заговорил вдруг так просто, мягко, что было непонятно, что это с ним теперь случилось и с кем это он так.

– Теперь лучше, ну вот и хорошо, только поглубже дыши, и все будет славно!

Солдат лежал все так же, разбросав руки, но глаза его теперь были глазами человека – сломанного, может быть, раздавленного, но живого, мыслящего и слышащего. Жизнь медленно, коряво, но приходила, ничего не обещая, а лишь требуя следовать ее нелегким, непростым путем.

Может быть, не к чему было бередить память, воскрешая случай с солдатом, однако все события ночи связывались этим вот неутомимым сержантом, заставившим меня немало пошевелить башкой, чтобы как-то восстановить в памяти отдельные пятна нашей фронтовой жизни. Если вся ночь прошла единым страшным мгновением, то время по реставрации человека в том надорванном артиллеристе, казалось, остановилось, и ему не будет конца. Сержант обладал каким-то невероятным терпением и настойчивостью, на которые никого из нас просто не хватило бы. Солдат уже довольно живо для его состояния смотрел, переводя взгляд с одного из нас на другого, но, казалось, никак не мог взять в толк – кто мы такие и что нам нужно от него. Узнать он нас не мог – он не знал нас и раньше, а вот когда взгляд его наткнулся на расстрелянного друга, лежащего теперь недалеко от него на снегу, он долго, пусто смотрел на него, пока ему не удалось замкнуть цепь событий ночи, и он, часто и коротко задышав, потихоньку заплакал, что, казалось, просто обрадовало сержанта.

– Ну вот это ладно, давно бы надо так! – И это все действительно было бы хорошо и славно, если бы я не узрел в поведении сержанта странную жажду заставить солдата говорить. Сержант был неутомим, и этот его хрипловатый голос, манера настаивать что-то скрывали за собой, где-то уже, вроде, были, звучали, но где и что именно, никак не давалось собрать во что-то предметное, определенное. Совсем не взрослые всхлипывания солдата, казалось, только распаляли сержанта. Он добился своего: оттепель пришла. Через нагромождение хлипи и стонов стало прорываться порою нечто вроде осмысленных звуков, и нам теперь уже сообща удалось уловить суть рваных причитаний солдата: он удерживал друга, тот ничего не слушал, потому что устал… потому не выдержал… устал… сошел с ума. Наконец становился понятным тот спасительный шквал огня нашего орудия – их было двое.

– Ну, теперь-то уж что… Слышишь, успокойся! Может быть, глоток водки выпьешь. Вы что… давно были вместе в расчете?.. Когда вы пришли сюда?.. Снарядов у вас нигде больше не осталось, а? Ну-ка вспомни, вы к кому были приданы? А ты знаешь, что ты всех нас спас, дорогой? – И еще навал всяких вопросов, увещеваний. Голос хоть и выговаривал всякие добрые хорошие слова, но хрипел, становился противным, гундосым, неприятным. Что он навалился на этого несчастного? От одного голоса убежишь куда глаза глядят. Однако я слушал и смотрел со все возрастающим недоумением на обладателя этого «ржавого наждака». Что-то было связано у меня с ним, и это «что-то» было совсем рядом… Но что? Хоть «матушку-речку» пой – не мог припомнить, как ни смотрел, ни прислушивался…

– Полно, полно… А мы ведь до сих пор так и не знаем, как тебя кликать, звать-то тебя как?

– …ле-те, нег… те-не…

– Какой такой «те не» – таких и фамилий-то не бывает на свете. Может, я неправильно понял, говори яснее… Как?

– …те, неле… теге…

– Тенелев? Терентьев?

– Не-ет… Те-ле. негин…

– Теленегин… Телегин?! Ну, брат, дела! Телегин! – произнес сержант эту фамилию так, словно произносил нечто высокое, чему невозможно подобрать ни цены, ни измерений, настолько оно редко и прекрасно. – Какая замечательная фамилия – Те-ле-гин! А нервы у тебя, просто скажем – никуда не годные, как у Раз-ва-лю-хина какого-нибудь! Это не дело, брат, нет, ты уж извини!

Слушая нехитрые, доморощенные доводы сержанта, я вспомнил наконец, не мог не вспомнить. Невероятно, невероятно! Ай-яй-яй! Он замечательный человек, и другого определения ему нет… И голос его такой славный, с надорванными обертонами, прямо скажем, задушевный, право, какой-то. Ах, какое счастье, что есть такие хрипуны на белом свете и до всего-то им дело, забота и разуменье. Да, да, это – он! Он запал в память с одного привала, когда мы шли на запад и тылы не очень успевали за нами. Наша кухня, проплутав где-то, привезла все холодное, и сержант этот достойно и просто выговаривал интенданту-офицеру, едва ли не капитану, точно не помню, что они обязаны быть всегда вовремя, готовыми и в кондиции, и упрямо твердил: «Не дело, капитан, не дело, извини». Я еще подумал тогда: вот я – старший сержант (правда, различие это не очень уж и велико, а если честно говорить – никакого), а вот так говорить и вести себя с начальством, прямо скажем, не смог бы – слаб в коленках. Теперь хотелось подойти и сказать ему что-нибудь хорошее, душевное. Ну да что ж… ладно.

Будет талдычить: не дело, брат, не дело… Ладно, действительно не дело, да и к чему. Сентиментальность – все это сахар, патока. Человек как человек… и голос-то ржавый… в дрожь бросает.

Между тем двор, дорогу, амбары и лощину погрузило теперь уже в настоящую, глубокую тишину, и хотя желанная гостья эта пришла вдруг – никто не удивился ей. Она давно должна была быть, но что-то вот уж слишком долго тянула, и оттого казалось, что уж теперешняя, наконец-то пришедшая, она не может, не должна таить в себе что-то там еще, кроме нее самой. Разговаривали шепотом, но все было слышно и понятно. В растворившуюся благодать расстояние могло донести громко гортанные голоса наших неудачливых недругов из-за полотна дороги, но и этого не происходило – и они надорвались, должно быть, хоть и «высшая нация», а ведь тоже, поди, достукались с этим их дурацким «Дойчланд, Дойчланд юбер аллес», и сейчас ночевать в поле на снегу не очень-то сподручно, потому, должно быть, и перли напролом – в дома, в тепло, хотелось вздремнуть с уютом, а вот поди ж ты – откуда ни возьмись, как черт из рукомойника, русская братия – сама не спит и другим не дает. Да-да, чего-чего, а это мы иногда умеем!

Ну да не о том речь. Стало действительно тихо – так вот, наверное, было в мирной жизни. Мирная жизнь – что это? Какая она? Прекрасная? Или обыкновенная, простая жизнь, а весь этот теперешний кошмар – лишь сон… Но нет, это была такая военная обстановка, такая жизнь, похожая на кошмар. И стало вдруг всех жалко: и Телегина с его несдюжившим другом, и соседа, загородившего меня от взрыва гранаты, и сержанта с его неуемной жаждой выжить, и самого себя, так как по всему выходит, что завтра (то есть уже сегодня), может быть… И стало жаль даже всех тех, за полотном железной дороги, – какого черта они не сдались там, в городе-крепости Торунь? И им было бы сейчас хорошо – спали бы где-нибудь в помещениях, отведенных для военнопленных, и мы все были бы целы… А так вот, поди ж ты, все наоборот – нехорошо! А тут еще совсем непонятно – куда подевались остальные? Треть – ранены или легко задеты, но и вместе с ними всего десять человек! И больше никто не подходит. Неужели все… Раненые оставались с нами, да им, собственно, и некуда было уходить – кругом враг, и они вынуждены были разделить участь всех нас, уцелевших. Так казалось мне той ночью, однако приходившее утро принесло с собой некоторые загадки, которые я до сих пор так и не сумел разгадать.

Долгая ночь, отнявшая у нас понятия цены, жажды жизни, уходила нехотя, вдоволь желая насладиться тем, что ей так недурно удалось. Брезжущий рассвет, стесняясь, не спешил к

страшным плодам своей предшественницы и сперва робко, издали обозначил только светлую бурость построек и груды серых шинелей вповалку во дворе и между амбарами. Должно быть, прошло страшно много времени?

– Слушай, скажи, пожалуйста, я что-то ничего не понимаю… это что же… все наши, что ли?

– А то чьи же… Конечно, они. Отдыхают!

– Когда же это их всех?

– Вот те раз – ночь целую месили, а ты – «когда же…» Артналеты те, да крупнокалиберные с насыпи приговорили здесь многих. Долго ли умеючи-то? Время было…

– Так среди них и раненые, должно быть, были?

– Конечно, были. Ты от Телегина заразился, что ли? Были… Все было. Их собрали и стащили в сарай, легко раненные сами ушли… Не знаю.

– Куда ж они ушли?

– Не сказали, говорю – не знаю и… отстань, бога ради!

– Да не сердись ты… эти-то все, что ли?

– Да! Как видишь…

Что с лейтенантом? Спросить же о нем как-то не осмеливался, боясь услышать страшное. Где он может быть? Совершенно не помню, каким путем опять оказался около Телегина. Он стоял на коленях у ног своего друга, бормотал что-то и пригоршнями греб к нему снег. Но у него это не получалось. Побыть с ним, помочь ему ни сил, ни желания в себе не нашел, хоть такая мысль и промелькнула. Несмотря на тишину и полученную передышку, покой беспричинно вдруг ушел, нервы сковали все внутри. Поговорить бы с кем-нибудь – и я вернулся на старое место.

Когда накануне, подбежав к лейтенанту у дальнего торца амбара, я доложил: «Я здесь», – не то он считал само собою разумеющимся, что «я здесь», не то просто забыл, что оставлял меня добинтовывать безгрудого, но посмотрел он на меня как на незнакомого, явно не понимая, чего я хочу, и сказал: «Ты и должен быть здесь, иди к тем, что между амбарами». Это было последним, что я слышал от лейтенанта.

– Это опять я, извини… можно я просто постою здесь… Когда собирали их, рядовых и офицеров брали вместе?

– Где, каких офицеров?.. Ты о раненых, что ли?

– Да.

– Откуда же я знаю… Я их не допрашивал, а они не докладывали – кого брали, кого нет, оптом или в розницу. Видел только – бегали тут, лазили, копошились, но не приметил… ни к чему было.

– Сейчас-то они тоже здесь?

– Что ты пристал ко мне как банный лист? Пойди да посмотри! Тоже следователь – что, где, когда, почему?.. Потому! И не подходи ко мне больше, пошел отсюда… врежу, ей-богу, врежу… Много здесь вас – куда, зачем, откуда, почему…

– В том-то и дело, что не много… Тошно, тяжело, потому и спрашиваю.

– Вот и иди себе… кого хочешь спрашивай, кому хочешь отвечай, а меня оставь… здесь у самого душа не на месте… нашел громкоговоритель!

Видя, что с ним действительно лучше не заговаривать, какое-то время стоял, молчал, потом отошел. Надо поискать лейтенанта. Смотри-ка, санитары вернулись-таки, молодцы! Как там мои хворые? Интересно, не повредил ли безгрудому своей неумелой перевязкой? И те двое – как они, бедняги? Телегин-то вряд ли совсем отойдет, уж очень слаб, вояка никакой. Странное дело, но только теперь стал по-настоящему мне понятен его плач. Телегин – маленький какой-то, как ученик младших классов… Потерять друга прямо на глазах – можно свихнуться. Правда, у меня с друзьями как-то не получалось и в школе… не могу сказать, что всегда был один… нет, характер, что ли, плохой или по-настоящему не интересен был никому. Вот только однажды, пожалуй, – Сережка Кожевников и Колька Терентьев в третьем классе, но и те что-то недолго продержались, отстали. Да, наверное, что-то неприятное есть во мне, скрытое, что и я-то не знаю, отталкивающее. Хорошо бы узнать – что именно, что за скверна, и я поборол бы в себе это зло, этот страшный, отталкивающий недостаток, порок, и друзей у меня было бы полно, они все были бы добры ко мне, дорожили бы мной, я был бы им нужен, и мне было бы хорошо, и им было славно, и не было бы у меня этой душевной недостаточности, как теперь. А то стоит кому-нибудь взглянуть на меня по-доброму, как я уже готов опрометью ринуться в огонь и воду. А может быть, это-то и есть тот страшный недостаток, от которого все шарахаются, как черт от ладана. Но я же не навязчив?! Да-а-а! Такое, конечно, цениться не может. И вот хотя бы сейчас – не знаю, как у других, а у меня и здесь нет друга, а уж как надо, чтобы он был здесь сейчас, это-то уж я знаю точно. Вот разве только раненый тот, да и лейтенант… похвалил вчера и глазами вроде одобрил. А виноград этот… как это? Вайнтрауб – смешное слово… Э-э, фамилия… Интересный человек, это есть, это ни в какие вещмешки не засунешь… Немного сумасшедший, зато умный, черт те что, это тоже нечасто встретишь, и добрый, кажется: подбадривал меня, боялся, чтоб я опять не сорвался, и пахучкой меня какой-то намазал – до сих пор

воняю. В ногу заставлял идти. Правда, вот еще сержант этот, тоже человек замечательный, редкий, и это терпение его невероятное, вызывающее восхищение, завидное просто, как это он управляется с ним – ума не приложу, но уж очень конкретный какой-то, даже скучно становится – все дело да дело… и голос!.. Это ж надо такое – скрипит и всех пугает. Вот и все! Ну, правда, никто из них и в ум не возьмет, что я их друг, и от этого немного грустно.

– Ты что как соляной столб стоишь? – Вона-а, стоит припомнить, так он в ушах и скрипит. Деловой уж очень, хозяйственный. Там за холодную пищу набросился на бедного интенданта-обозника, здесь пересолили все ему… Никто-то ни в чем не угодит ему никогда!

– Плохо слышишь, что ли? – Сбоку от меня стоял сержант и как-то странно смотрел на меня. – Не надо расслабляться, не время, они вот-вот опять, надо думать, полезут… а ты где-то такое витаешь. У тебя все на мази, в порядке, готов?

– Я? Да… готов. Все в порядке… вот с патронами у меня не очень, просто худо.

– Так в чем же у тебя порядок? Э-э-э, да ты, я вижу, как из детского сада, действительно. Ты кто по профессии?

– По специальности, что ли?.. Никто, не успел еще, просто человек, по улицам бегал и немного киномехаником работал.

– Ого-о, ничего себе… Это немало, а говоришь – никто; и механика – прекрасно, и бегать тоже уметь надо… А жить хочешь, человек?

– Еще бы, конечно… Кто ж не хочет-то?

– Ну вот видишь, как ладно получается… Это и надо делать сейчас, а потом и постоять успеем, и помолчать, и подумать… Вон их, бедолаг, сколько навалили… Ни за что ни про что, тоже ведь, поди, недурно бегали, хотели и постоять, и подумать… и кино посмотреть… Ах ты, боже ты мой, – как-то совсем сокрушенно выдохнул он. – Беда! Ты поползай-ка между ними, собери, набей себе диски, пока обстановка позволяет.

– Ладно, сделаю! Сержант, правда, что ли – завтрак привезли или ты подбодрить хотел, агитировал?

– Завтрак?.. Нет, не думаю, сюда трудно просто. Какой завтрак, где?.. Кто тебе такое бухнул?

– Ну вот ты, стол, говорил, поставили, соли много вроде стоит, – ты говорил?

– Я говорил: соли много? Какой соли? Ничего не знаю… А-а-а! Вона куда ты дал… – Хохотнув, он цепко, пристально взглянул на меня. – Ты, должно быть, артист?

– Ну что ты… какой там артист… в школьном драмкружке

участвовал, только и всего, – это так. И то недолго, но потом… я из второго взвода автоматчик, командир отделения.

– Понятно… Вот уж и не знаю, как тебе объяснить… В одной из древнейших книг рассказывается, как одна женщина оглянулась, на что оглядываться и подсматривать не следовало, и сразу превратилась в соляной столб.

– Фокусницей была, что ли?

– Да-а-а… Я все забываю, что ты автоматчик… из второго взвода, и боюсь – не очень поймешь… ты вот что… мы сейчас…

– Вот те на-а, почему же вдруг так-то? Гранаты вместе с тобой бросал и все тогда понимал, а здесь сразу оглупел и ничего не соображаю…

– Твоя фамилия… я все забываю…

– Смоктунович…

– Так ты… не русский, что ли?

– Почему же так-то? Самый обыкновенный русский, из второго взвода. – Не исключено, что я и дальше бы объяснял ему, откуда я такой автоматчик, но он, должно быть, устал говорить со мной и довольно сухо оборвал меня, сказав:

– Наберешь патроны и займи место у дороги. – И ушел.

Ну вот, и этот не состоялся – сбежал. Есть, есть во мне что-то такое, что пугает, отталкивает, заставляет бежать. Хорошо бы действительно, если повезет и буду жив, узнать эту скверну в себе, побороть ее и заиметь друга-двух возле себя – куда как недурно. Я бы заботился о них, они – обо мне, и всегда было бы с кем поговорить. Никто бы не сбегал. Вспомнились бинты на моих раненых. Как они там, жив ли Безгрудый? С этой мыслью я и поспешил в амбар в надежде узнать у санитаров о раненых, оставшихся в доме. Но ни санитаров, ни кого другого в темноте амбара не оказалось. Ни на какие мои возгласы и вопросы, брошенные в темноту, никто не ответил. Было неприятно глухо, и когда глаза, привыкнув, стали различать окружающее – в разных местах на сене удалось разглядеть человек шесть скончавшихся наших бойцов, перевязанных, но, увы, не смогших совладать со своими ранениями.

Узнать удалось только двоих. Один был едва ли не мой ровесник, ну года, пожалуй, на три, не больше, старше, и ничем особо себя не проявивший, разве только тем, что был большим любителем поспать. Где только мог притулиться – там раздавался храп. Он умудрялся спать на ходу. Впрочем, никакая это не диковинка и не выдумка. Я не однажды ловил себя дремлющим на монотонном движении марша. Он же был большой специалист, профессионал, можно сказать. Помню, несколько растерянное лицо его, когда его понукали за то, что, задремав на ходу, он

ударил козырьком каски идущего впереди в затылок.

– Команды «стой» не было, – вяло оправдывался он. – Если бы он шел как нужно… вперед, – неожиданно добавил он совсем неподходящее к нему, не его слово, чем и разрядил эту перепалку. В общем-то, он был славный малый, который относился ко всем ровно и добро. Не помню его фамилии, думаю, что ее и тогда-то мало кто знал – настолько он был неприметным, обычным и простым человеком. Мою фамилию тоже вряд ли кто знал тогда, я уж не говорю, чтоб помнить ее до сих пор. Ко мне и обращались: «сержант», «славянин» или «эй, слушай», а самое распространенное – «солдат». В силу моей худобы и сутулости еще и «доходягой», «костылем» нередко звали, и еще как-то, и все в этом же роде, так что я уж и не помню. Никому не приходила охота окликать меня по фамилии, тем более что она такая длинная, ничего собою предметного не выражающая и оттого непроста в запоминании.

Второй, кого удалось мне при скудном отсвете ночи, скупо пробивавшемся в распахнутую дверь, рассмотрев, узнать в глубине амбара, был личностью в высшей степени примечательной. Лет ему было 33–35, и, как вспоминается сейчас, человек он был молодой, полный сил и надежд, но тогда, на фоне всех нас – юнцов-сержантов, только что окончивших в глубине страны училища, новичков, попавших в порядком боями истерзанную, поредевшую часть, – он выглядел совершеннейшим стариком. Фамилия его – Егоров, однако запомнилась фамилия не потому, что она проста и без труда ложится на память, а, скорее, оттого, что с легкой руки заводилы-острослова, сократив ее, перелицевали в имя, прицепив к нему своеобразное в сочетании с именем определение – *животновод, таившее, на мой взгляд, некую загадку и привлекательность: «Егор-животновод». Ни на какого животновода, в моем представлении, он не походил и никогда им не был, а просто Егоров случаем подобрал где-то совсем крошечного, еще слепого котенка, бережно носил его за пазухой шинели и нежно кормил этот малый незрелый комочек из своей ложки. Славный симбиоз этот и послужил отправной точкой в его прозвище, он-то и понуждал, надо полагать, Егорова всегда держаться особняком. Однако не котенок, не прозвище и не возраст самого Егорова выделяли его среди всего состава взвода. Вот уж, право, и не знаю – в чем здесь, как принято говорить сейчас, первопричина: характер ли такой либо действительно его лета, как он, должно быть, полагал, давали ему право, но на любой вопрос, просьбу, обращение или даже приказ у него всегда был готовый ответ – «опять я?», либо «я-то тут при чем?», либо «я уже был», или «почему обязательно я?». Он был неиссякаем и*

неутомим в готовности выдать целую обойму падежей, склонений, изменений и всевозможных измерений этого самого «я», и только одно оставалось постоянным и неизменным – это то раздражение и неприязнь, с которыми он произносил это «я», словно оно ему так осточертело, что слышать о нем у него уже больше не было никаких сил.

Теперь Егоров был непривычно спокоен, лежал под шинелью на животе с закрытыми глазами, будто все еще продолжал прислушиваться к боли внутри. И, может быть, темнота рождала ту умиротворенность, но весь вид Егорова напоминал легко занемогшего больного, которому ставят горчичники или банки. Он терпеливо давил и без того приплюснутую щеку: «Опять я? Тут-то уж при чем я?» – это его всегда недовольное немое воскресила память. Я никогда не видел того котенка, только слышал рассказ о нем, но здесь, сидя на сене рядом с Животноводом, понимая всю несуразность, нелепость этого наваждения, я тем не менее не мог не думать о котенке и хотел увидеть его. Убеждая себя, что меня интересует лишь, что погубило Егорова, приподнял на нем шинель… Из-под гимнастерки в темноте белели бинты, по-видимому спина Животновода была прошита автоматной очередью или пропахана осколками… Глазами я шарил вокруг Егорова по углам амбара, по каким-то темным доскам над головой, и хоть наверное знал, что без постороннего источника света не может быть никаких светящихся глаз, тем не менее ждал, что вот-вот где-нибудь вспыхнут два крошечных уголька и своим свечением уведут в то прекрасное время душевной свободы, когда была всего-навсего одна и единственная опасность – учитель в школе по поведению, по глазам ли (тоже ведь, должно быть, какое-то свечение было) или по другим каким признакам заметит во мне, что заданный урок не готов, не выучен, – вызовет к доске и поставит двойку. Но всюду было темно, тихо и пусто, как в склепе, а когда устоявшуюся тишину амбара вдруг прорезало ласковое «кис-кис-кис-с-с-с» и нежный мираж этот, отголосок мира и нормального жития, просвистев, растаял в запахах медикаментов, крови и сена, я еще какое-то время продолжал молча стоять на четвереньках, честно пытаясь понять – не сошел ли я с ума? Сознание, подстегнутое возвращением к реальности, настойчиво и жадно перебросило в пору детства, живо пропуская перед внутренним взором моим четкость образов и событий, словно раньше, когда все это происходило, оно было заснято на какую-то дорогую моей душе пленку и теперь, в трудные минуты, специально прокручивалось вновь, с тем чтобы показать: будучи ребенком, ты мог и переносил это, а сейчас тебе уже ого-го-го, почти девятнадцать, так что же

ты, голубчик? И почему-то эти «просмотры», как бы разны они ни были, начинались всегда с одного и того же: кругом – бело, хруст снега под ногами. Снег сухой. Мороз сковывает дыхание, и я мечусь в переулке. По этой дороге я только что проходил – отчаянию моему, казалось, не будет конца… Валенком я разгребал, даже пинал малейшую неровность в снеге в надежде найти все же где-то оброненную только что купленную, новенькую коробку прекрасных, разноцветных, еще не отточенных карандашей! Снег, звеня, рассыпался веером… меня душило отчаяние… горе было разящим. Я не знал, куда себя девать настолько, что и по сию пору не могу пройти мимо магазина «Канцелярских товаров», чтоб хоть мимолетно глазами не обласкать это удивительное богатство нашей цивилизации – коробки цветных карандашей!

Был здесь и мой отец, и просвет в темном небе Сибири, и ослепительно яркая звезда, долго летевшая параллельно земле над нашим городом, появился почему-то и Егоров, что лежал теперь рядом, однако был осиротело примолкший, держал одну руку за пазухой шинели и, казалось, всячески старался избежать встретиться взглядом со мной. Его вытеснили деревья за кладбищенской стеной того же Красноярска, которые на фоне увядающего дня всегда образовывали точное очертание фантастически огромной головы кошки. Все-таки котенок, должно быть, нелепое желание увидеть этого маленького, неудачного поводыря по жизни родили рой этих воспоминаний. Выплыл из темноты и образ тетки моей Нади, что растила меня как родного сына, и матери – кроткого, сильного, загнанного работой человека – все прошло передо мной так четко, ясно, что, помнится, нужны были определенные усилия, чтоб не остаться в плену этого ложного, успокаивающего возбуждения, иными словами – не впасть в забвение, не свихнуться.

Звук одинокого выстрела вернул реальность. Черная тень, соскользнув с дальних соседних построек двора, быстро подбежала к распахнутому амбару и на короткое время исчезла вовсе. Невероятная, сахарная белизна всего, что увиделось в проем двери, неприятно колола глаза, словно все окутали свежайшими крахмальными простынями. «Разве шел снег?» Ракета, косо упав где-то невдалеке, недовольно шипела, борясь со снегом. Феерия белизны так же неожиданно исчезла, как и появилась. Какое-то время, казалось, двор погрузился в непроглядный мрак. Не могу припомнить – когда же шел снег?.. Теперь надо к ним… набрать патронов… и ждать… каникулы, видно, кончались.

Хотел было набросить на Егорова шинель, да вдруг все стало ни к чему, и эта его причуда с котенком, ранее таившая в себе много человечного, доброго, рождавшая желание тоже прихватить

какого-нибудь куренка, цыпленка, щенка, показалась вдруг глупой, слащавой, совсем-совсем ненужной, даже противной. Конечно, это маленькое зверье отвлекало, согревало и долго поддерживало, однако, увы, не смогло уберечь его здесь – значит суть не в этом… А в чем? И вообще есть ли она? Злой, мятущийся, не в силах остановиться на какой-нибудь определенной, одной доброй либо просто спокойной мысли, я вновь окунулся в промозглую сырость двора. Оказывается, в амбаре было тепло. Влажная мерзлость воздуха вызывала озноб. Надо успеть, пока темно и все в тумане. Это он покрыл все своею белой ленью. Странно – кругом тихо. И наших никого не видно, должно быть, им так же тяжело и сидят где-нибудь у стен. Меня-то должен был бы кто-нибудь окликнуть, а вот ведь – молчок. Чтоб не случилось чего-нибудь непредсказуемого, я громко в голос выдохнул: «Господи ты боже мой!» И долго стоял на месте, убеждая себя, что привыкаю к темноте, однако долго длиться этот самообман не мог – в амбаре было не светлее. Чувствовал, как вползала тошнота безысходности – нас мало, а их вчера черным-черно, да и за насыпью их, должно быть, не меньше. Ох, нехорошо на душе. Не хотелось никуда идти, вообще ничего не хотелось. Стоял, борясь с собою… Однако патроны нужны, и если уж пойдут напролом, то хотя бы на время защититься, кто их знает, что они там надумали, для чего ракеты бросали?.. Привыкнув глазами к дышащей мгле, многого не узнавал, не видел. Вспомнилось, как вчера нас приводили сюда знакомиться с местностью. Теперь мы все это знаем, но только все куда-то исчезло, ушло, растворилось, и только стены амбаров то появлялись, проступая призрачными, загадочными островами чужих замков, то вновь проваливались в серую муть. Там, где за крышами вчера виднелся шпиль костела, было пусто и темно… Ничего кругом, кроме гиганта дерева впереди справа и дымчато-белесого плена двора. Однако дерево было столь белым, что и оно, казалось, вот-вот сольется с этим зыбким миром холодного серебра, и если оно пока виделось, то только потому, что, разглядев тихо лежащих под ним на снегу людей, как бы задумалось и скорбно распростерло саван своих ветвей над ними. Да, лежат вот, как неровно вспаханное поле. Ни нерва, ни страха – мертвый покой и холодная тишина, а ведь у всех были мысли, были чувства, не могли не быть, – где же все это? И хотя они лежали всюду, почему-то пошел к тем, что были в центре двора. Теперь только они могли выручить нас, оставшихся… Тяжело, мутно…

Может быть, обстановка, атмосфера всего случившегося с медленной плывущей белизной тумана заставляли воспринимать так, но они с непроницаемыми белыми лицами лежали

поверженными богами, и было неуютно искать у них патроны, ползать темной улиткой между этими остывшими надгробьями. Я встал. Голод на патроны заботил, как видно, не только меня – в разных концах двора, используя время передышки, копошились два темных силуэта, разбивая собой страшное согласие белого единства утра. Должно быть, наше дело и впрямь худо. У них у всех мутные, студенисто-серые глаза. При жизни светлые, карие и темные, всякие были… а вот сейчас только серые. Безразличная, неприятная, отталкивающая, холодная серая студенистость. Что это? Отражение влажного тумана? Прикрыв сверху рукой лицо одного погибшего, понял, что утро с его белой сыростью тут ни при чем. Должно быть, последние проявления ушедшей жизни. Вот у него, как сейчас вижу, – темно-карие глаза, а вот ведь – тускло-серые. Когда еще ночью в доме мне кто-то протянул кружку с водкой или спиртом для промывания раны тому Безгрудому, этот человек, вдруг оказавшись рядом, как само собою разумеющееся быстро и четко проговорил: «Смочи тампон, остальное дашь мне». Я обрадовался, что есть наконец помощник, а может быть даже знающий и умеющий, что и как делать, который сам вызвался помочь.

– О-о-о, спасибо тебе, дорогой, а то я здесь совсем запырхался… оказывается, дело-то это совсем не простое…

Но он вдруг резко оборвал меня:

– Нет-нет, не могу, видишь – руки дрожат, да и сам справишься.

Это был не простой, совсем не простой, скорее странный человек. Казалось, он все время о чем-то упорно думал, и в эти его минуты раздумий он просто был нелюдим и резок до наглости, и тогда к нему лучше было не подходить. А хохот и дурашливая трепотня одного нашего, легкого, согласного нрава молодого солдата никак не могли быть созвучны с минутами мрачного состояния этого теперь спокойно и тихо лежащего здесь человека. Напрочь не помню ни фамилий, ни имен ни того ни другого. Единственно, что запало: что имя и фамилия первого происходили из одного корня, как например: Карим Каримов, Гамза Гамзатов – он из татар. А «лягушонка» с большим ртом… вроде… Семеном, Степаном звали… но нет, нет – это всего лишь «вроде», и быть уверенным хотя бы в одном имени, к сожалению, не могу – не помню. Так вот, ничего не подозревая, этот «головастик», исходя слюной и шепелявя, нес какую-то чушь, строил уморительные рожи, сам хохотал, однако, нужно отдать ему должное, совершенно не заботился, чтоб кого-то рассмешить. Да, по-моему, он даже и не осознавал своего обаяния.

– Перестань! – резко, как хлестнул, крикнул мрачный. –

Ломаешься, как говно через палку, надоел, замучил всех!

– Чего ты вдруг – люди отдыхают, смеются.

– Тебя, дурака, обидеть не хотят. Свободная минута – письмо матери напиши. Мозолишь здесь людям души, глаза.

Пристыженный «затейник» вместе со всеми умолк. Я хоть и смеялся не меньше других, однако вскоре не без удивления ощутил действительно свободу и отдых. И, помню, уже по-другому смотрел на того мрачного, неприветливого, чем-то обозленного, тяжелого в жизни человека. И, наверное, так и держал бы его и дальше, не окажись нас несколько человек в одном полуразрушенном доме вместе со «святой троицей», как называли их троих. Они, в общем-то, так и держались всегда особняком. До того привала мы долго шли под дождем, время было осеннее, все кругом промозгло, и на нас не только сухой нитки не было, а просто ручьем текло. Нам выдали водки. Делали это редко: иногда перед боем и в большие праздники, меня это не заботило – водка была мне противна, и если я все же выпил ее тогда, то только потому, что зуб на зуб не попадал. К сожалению, сейчас наши отношения с нею несколько изменились и порою… ну да что толковать об этом, пройдет, как те острова. Для двух приятелей того мрачного мужика водка, как видно, тоже не представляла особого интереса, была необязательна. Лишь отхлебнув ее, как чай, они все отдали ему. Слив все воедино, не моргнув, не охнув, легко и безбольно он заглотнул все это пойло враз без всяких «кряков» и ужимок. Это походило на фокус: вот она есть, а вот ее и нет. Правда, потом долго сидел, уставясь в точку, глубоко задумавшись. Что руководило новым действующим лицом – не знаю (должно быть, он просто был ошеломленным очевидцем только что происшедшего), но подошел солдат и предложил ему, «если, конечно, тебе не будет худо от всего этого», свою порцию водки. Очнувшись, тот принял дар, лишь скользнув взглядом по солдату, ожидавшему свою кружку, и тут же проделал с этой новой порцией то, что и с предыдущими.

– С чего здесь худу-то быть? – сокрушенно выдохнул он. – От сырости разве… Всякое бывало… я и пивал ее так, что и теперь иногда вспоминаешь, да думаешь: «я ли это?».

Он помолчал, недобро покосился на солдата, отдавшего ему водку, словно тот в чем-то виноват перед ним, и, ничего не объясняя, как если бы продолжая давний рассказ, заговорил:

– Мы справили свадьбу сестры моей Нюрки, но с просыханием как-то не получалось – сначала пили на радостях, что Нюрка наконец-то ныть перестанет, семьей и детьми обрастет, а потом с горя: вроде наладили, что не ровня ей никакая синюшный этот, и нос-то весь в угрях, хоть и районная шишка, какой-то там

начальник, этот жених-то ее. А тут еще уборка и надо вкалывать с утра до поздней ночи, но и, вместе с тем, все как-то уладилось и чередовалось от одной пятидневки к другой. И так оно, наверное, и продолжалось бы, не случись небывалой в наших краях жары и повторного приезда молодых, хотя все отпуска у них давным-давно покончались… И опять, по новой наладили в радость, да так, что через несколько дней Нюрка закатила скандал мне и Райке, жене моей, что мы спаиваем интеллигентного человека, и еле увезла своего милого живым. Признаться, уволокла она его вовремя… жара не унималась, голова трещит, председатель орет, а родня ноет: «Какая Проньке, этому дохлому хмырю, добрая девка наша досталась, и всем-то она взяла, а он даже пить как следует не может…» – и опять с вечера до свету пить, и все это, прямо скажем, тяжело… лучше бы уж Нюрка наша похуже была. И вот в один прекрасный день председатель, видя, что я совсем из колеи вышел, снял меня со скирдовки, кажется, и отослал засветло домой, чтоб дать оклематься мне, но зато поднять чуть свет назавтра. Прихожу… И в щель руку просовываю, чтоб щеколду на калитке поднять, хотя и без всякой калитки к дому пройти можно, но вот так уж получилось – одно к одному… и чую – кто-то ласково так гладит мою руку шерсткой. Сибирская кошка была у нас, Дунька, смышленая такая, все сало из бочек у русских соседей таскала, хозяин тот пристрелить ее поклялся. Мы уж ее и мордой в сало-то тыкали – ничего не помогало, на редкость деловой и хозяйственной была. Она, думаю, больше некому… открыл, захожу во двор… нигде никого… показаться не могло, ясно помню, как схватил ее, но лапка ловко вывернулась и поймать второй раз, как ни шарил, не удалось. Оглядываюсь – никого…

Куда она могла запропаститься так быстро? А у нас от калитки до сеней настил выложен из чистых, хороших досок, и светлым-то еще светло, лето только каких-нибудь полмесяца на убыль шло… глядь… на самой чистой доске… черт этак сидит и лапку о лапку от боли трет. Мне бы нужно так и остаться стоять, и все было бы хорошо, но ведь нечасто скотина такая в гости к тебе на твой тротуар захаживает; не привыкший к ней еще, я, не раздумывая, изо всей силы как дал по нем ногой… Никого нет! Меня от такого пустого пинка даже в обратную сторону развернуло. Я и так и сяк кручусь, ищу, думаю – между ног где-нибудь проскочил, а жена, заметив мои выкрутасы, в окно кричит:

– Чего это ты там вытанцовываешь?

– Оступился! – говорю; сказать же, что черти за руку хватают, а теперь еще лапу о лапу трут, как-то страшно неудобно вдруг стало. А она хитрющая, ее на какую-то там шарагу не шибко-то того, вмиг раскусит.

– Со стороны показалось, как ловишь кого?

– Кого же ловить? Ну вот скажи на милость, кого здесь можно поймать, черта лысого, что ли? – говорю, а сам аж взмок весь оттого, что никак этих слов говорить не хотел и не собирался, а слышу, что именно их-то я и говорю.

– Тебе видней! – кричит. А сама руку о руку вытирает, ну точь-в-точь как тот. – Да что с тобой сегодня, никак припекло?

Что мог ответить ей? Ничего. Махнул рукой, дескать: «Баба ты и есть баба, ни ума в тебе, ни разумения». А сам незаметно зырк в одну сторону, в другую – нигде никого. На этом все вроде кончилось и пошел мыться. Рукомойник у нас на летнее время в сенях, обычный такой рукомойник: рукой снизу толкаешь пестик вверх – вода льется, и мойся себе… Толкаю я этот пестик, а он не поднимается, упирается во что-то мягкое, и вода еле-еле капает… открыл крышку, чтоб устранить помеху, а он оттуда, как пружина, и головкой крышку подпирает, и видно, что неудобно ему, больно. Я как заору и крышкой туда его обратно, он уперся, а я что есть силушки давлю его крышкой и ору, как жена потом уж говорила: «Да отстанешь ты, наконец?» И когда я уже всей своей тяжестью лежал на рукомойнике, прибежала перепуганная жена.

– Он здесь, зови председателя, парторга, быстро, милицию, он здесь, только что хотел улизнуть!

Жена долго стояла молча и только смотрела. Потом тихо-тихо сказала:

– Пусти, пожалуйста. – И, легко приподняв крышку, она опять спокойно и мягко уставилась в меня, даже не заглянув в рукомойник. Помню, что было стыдно почему-то: но в умывальник я все же заглянул – в нем ничего не было, был пуст… как карман перед получкой. Вот когда было худо, так худо. Нюрка всю ночь не отходила. Меня же всего стыдом пропахало, как голенище вывернуло, и я был послушный, как теленок, никогда раньше мы с ней не говорили так согласно и спокойно, а утром она отвезла меня в районную больницу.

Многое слышалось и смешным, но оттого, что он рассказывал как-то мрачно, никто не смеялся, и, когда он умолк, вернувшись к тому замкнутому, неприветливому человеку, которого мы знали и порою просто сторонились, долго еще стояла тишина, все оставались на прежних местах, вроде передумывая каждый свое. Однако по-настоящему удивлял, привлекал к себе этот человек другим. Несмотря на сложную жизнь нашу, они довольно часто пели. Пели всегда втроем. Начинал и вел, собственно, один – молодой, тяжелый в кости, неожиданно подвижный парень. Вел он тихо, неназойливо, не спеша свою грустную, одинокую, несколько даже унылую ноту. К нему пристраивался не очень чистый, но не

по возрасту высокий голос их старшего, которого они необыкновенно уважали и слушались как родного отца. И затем уже, вроде издали, «из-за леса, из-за сопок», осторожно напоминал о себе низкий хрип. Он так хрипел сначала, что казалось – вот сейчас прокашляется, «раскочегарит» и уже потом все вокруг заполнит гущей баса. А нехитрая гармония двух голосов его приятелей, как бы подгоняя друг друга, вырывалась в верхи, паря над оставшимся где-то там внизу, каким-то чудом ставшим густым и сочным тоном его голоса, на фоне которого, радуясь жизни, звучала легкость взлетов и замираний, уходящих вдаль и звучащих совсем рядом каких-то вздохов, радости, тоски и пронзительного зова надежды его запевал. Может быть, в той простой слаженности и было многоголосье – не знаю, но задушевность пения без основательности низов этого человека была немыслима. Как все истинно народное, пение их имело свою необъяснимую привлекательность. Никаких слов мы там не понимали, но было слышно их тоску-кручинушку по раздолью степей, дому, по оставленным родным и по каким-то еще только народу этому понятному стремлению и мечтам. В строю они всегда были в одной шеренге и однажды на марше…

В тот день по той дороге прошло много всяких подразделений, и никто не задел искусно закопанной в полотно дороги мины, а вот здесь это произошло – погиб сразу старший из них и еще двое наших ребят, а запевале оторвало по колено ногу. И наш (Карим?) с полмесяца не проронил ни звука, хотя оставался исполнительным и точным. Мы все переживали нелепую, зряшную потерю друзей, но трудно сказать, как не хватало нам всем их заунывного, но оттого не менее утоляющего, успокаивающего всех нас пения.

В один из тех великих дней, когда радость приближения конца войны клокотала в каждом из нас и мы неудержимо шли на запад, он сперва как-то для себя подвывал, а затем громче и яснее загудел отчетливо и, казалось, даже радостно. Мы все, предупрежденные лейтенантом неделей раньше, если он вдруг «запоет» – не обращать на него никакого внимания, молча шли, глотая комок, душивший нас, радуясь возрождению человека, и от неизбывного горя, что те трое остались около той злосчастной дороги, а многие, многие другие не дошли и до того рубежа, и оттого еще, что жизнь в каждом из нас, оказывается, – такое хрупкое, невероятное чудо.

Теперь он лежал, раскинув руки, рот открыт и искажен – и ни единого звука из того множества напевов, которыми они так искусно и просто создавали атмосферу душевности и доброй грусти, как я ни силился, вспомнить не мог. Ни подсумка, ни самих

дисков с патронами у него не оказалось. Лицо было гладкое, и без того глубоко сидящие глаза ввалились и оттуда, как издалека, застывшим бельмом безразлично смотрели в туман. Какие там патроны, гранаты – было до того тошно, внутри вскипало, жгло, душило, становилось невмоготу. Минуты эти страшны и тем, что ты совершенно не властен ни в ощущениях, ни в продолжительности их, и, когда в короткие мгновения возврата к себе удавалось увидеть и осознать все происшедшее, они лежали строго, величественно, словно принимали присягу. Проносилась мысль: «Это не страшно, тяжело и неприятно сейчас, а потом вот – полный покой». И стоило эту псевдоспасительную, уродливую по природе самой жизни мысль связать конкретно с собой, как обжигала пустота – безнадежность давила и угнетала настолько, что ничего не хотелось, все вокруг становилось ненужным, непонятным, ничего не значащим, пустым. Безразличность противная, тупая, нехорошая, с глухо заворочавшимся чувством ненависти к самому себе, заполняла все существо, эти короткие наваждения бывали столь чудовищны, что, надсаживая душу и сознание, оставляли надолго тягостную, с чем совершенно невозможно было бороться, тоску. Тоску снедающую, непереносимую. Невольно думалось: скорей бы уж они шли… Так тяжело было, пожалуй, только однажды, в давно угасших сполохах детства.

То немногое, что еще сохраняет память из моего детства, почему-то неизменно связывается с тем временем, когда были живы мой отец и его родная сестра Надя, моя тетка, что взяла меня, пятилетнего, из деревни к себе на воспитание. Слово «воспитание», должно быть, сказано слишком высоко и выспренно, следовательно, неверно. Какое там воспитание, просто у тетки Нади с ее мужем, дядей Васей, детей не было, а у матери с отцом их был переизбыток, но, правда, на этом родительское изобилие и кончалось, всего же остального у них просто не было. Это были 1920—1930-е годы. По всей Сибири смерчем пронесся голод, и в каких-то местах он несколько задерживался.

Страшной остановки этой не избежала наша Татьяновка – деревня, где я родился. Для того чтобы хоть как-то противостоять этой беде, одни сами бежали в город на заводы и фабрики, другие, оставаясь в деревне, старались избавиться от лишних ртов. Не думаю, чтоб я уж очень объедал семью, но тем не менее меня спровадили в город, а старший братишка, Митька, оставшийся с родителями в деревне, умер, после чего уже вся семья перебралась в Красноярск. Мальчишеское воображение и сердце в ту пору еще не умели, да и не было поводов (детей не посвящали ни в

сложности, ни в трудности жизни) заходиться в тоске и безысходности. Тогда жизнь воспринималась мною (как, впрочем, всегда и всеми детьми) как сплошная поразительная сказка, в которой было тьма непонятного, порою пугающего, но вместе с тем все вокруг было светлым, беззаботным, до удивления возможным, своим, а главное – годным для жизни, и нередко детское сердце переполняло радостью предощущений подлинного понимания праздника жизни, которому не будет конца. Часто поздним летним вечером на пологой крыше погреба, запрокинувшись на спину, лежал, радостно замирая под властью темного звездного неба, необъяснимо маясь, волнуясь от чуда мироздания, и Млечный Путь, казалось, неотступно манил в свою хрустальную глубину, завораживал своею далью и обещал в конце усилий, познаний и труда приобщить к своему вечному мерцанию. Невзгоды страны вместе с «головокружениями от успехов», как нарекли их несколько позже, канули в повседневности, заботах, труде, растворясь в терпении, добре и мощи народа, – жизнь входила в свои прекрасные права.

В один из таких замечательных дней человеческих именин мы с отцом были где-то на Бадалыке (название места осталось, должно быть, еще со времен татаро-монгольского нашествия), что километрах в тридцати от города. Запасали сено на зиму. Отец косил, а потом вместе уже высохшую траву небольшими охапками носили к повозке. На подобные заготовки отец брал меня не впервой. На сей раз он не нашел ничего остроумнее, как косить траву на военном полигоне, стрельбище, где совсем невдалеке белели плоские фанерные домики-мишени и такие же сплюснутые и оттого смехотворно-миролюбивые танки, и даже их темно-бурый цвет не делал их внушительнее и опаснее. Однако смешного было не так уж и много, скорее это было безумием, но отец, увидев здесь сочные, свежие травы, не мог удержаться, чтобы не накосить их для своего любимца – старого мерина.

Опасность была явной хотя бы уж и потому, что в этой ядреной траве то тут, то там валялись полувзорвавшиеся, начиненные небольшими металлическими шариками снаряды, а местами так и целые лежали, и хотя все устремления мальчишек моего возраста были мне не только понятны, а просто-напросто и не в меньшей степени были и моими, не помню, чтоб меня уж очень тянуло нагрести полные карманы этой дурацкой шрапнели. Настроение, несмотря на необычность обстановки, было не очень романтическое, скорее, напротив, – тревожное, неуютное, и все время пересыхало горло. Я старался поймать взгляд отца, но ему, как видно, все было нипочем, и он с азартом и увлеченностью косил, полагая, должно быть, что его этаким полуметровым

снарядом не очень-то и свалишь. И все это так, и все действительно хорошо, только как же я-то?.. Однако все вдруг изменилось, прервав мои размышления, и стало тревожным, даже непонятным, пугающим. Отец как ошпаренный бросился в траву, жестами и нетерпеливым шиканьем заставляя и меня сделать то же самое. Было ясно, что вот сейчас-то и тарарахнет – и нипочем пропадет моя головушка! Вот уже приближение какого-то грохота ветром донесло… Сейчас – все, конец!

Подъехала небольшая грузовая машина – полуторка, так называли ее тогда, это значит, что полторы тонны груза она могла легко и свободно везти и ничего бы с ней не случилось, и колеса остались бы на месте, и сама она нисколько бы не развалилась. Но это были не единственные ее положительные параметры в характеристике. У нее, например, была деревянная кабина, и у непосвященных людей сейчас это, пожалуй, может вызвать улыбку, а совершенно напрасно: летом, в зной, сидишь в ней как у себя в домике на садово-огородном участке – ни жары, ни зноя, и разница в том только, что там сосны скрипят, а здесь – сама кабина. Ну понятно, что я позволяю себе некоторое ехидство в адрес этого детища машиностроения в ту довоенную пору с позиций полувекового научно-технического развития всей нашей цивилизации, а не только нашего отечественного автомобилестроения. Правда, на фронтовых дорогах даже в 44-м году можно было еще встретить это незлобивое сооружение, однако же и тогда оно, помнится, производило ошарашивающее впечатление, как если бы, рассматривая скелет какого-нибудь птеродактиля в зоологическом музее, вдруг заметили бы, что этот зверящер заклацал челюстями. Тогда же, в прекрасный мирный день покоса на стрельбище, рядом со сколоченными из фанеры танками эта машина смотрелась аппаратом внеземной цивилизации, черт-те что излучающим и влияющим на всю окружающую нас и ее биосферу. Я никогда не замечал раньше, чтобы отец – не просто сильный, но не раз удивлявший своих товарищей-грузчиков, когда он позже работал в Красноярском речном порту, на спор носивший тяжести, которые никому не были под силу, – этот великолепный человек вдруг неузнаваемо сник, делая мне из зарослей травы какие-то странные рожи, но самое поразительное: когда через какие-нибудь ну самое большее полминуты подъехала эта машина, отец глубоко и спокойно спал, закинув руки за голову. Нет-нет, что ни говори, а машина эта явно что-то излучала.

– Та-а-к, в выходной денек, когда охрана стрельбища снята-а, мы здесь, на закрытых территориях, потихоньку тра-авку пока-аши-ваем, да-а?

Странное дело – отец обычно довольно чутко спал, а здесь ну просто как провалился, ничего не слышит и не чувствует. Начальник тот, что спрашивал про травку, открыл дверцу кабины и встал во весь рост на подножку машины, оглядываясь по сторонам, отыскивая, должно быть, кого-то. Настроение его явно менялось к худшему.

– Эй, пионер, толкни-ка дядю этого, пусть он ваньку-то не валяет!

– Это не Ванька, а мой папа.

– О, папа!.. А сколько вас сюда понаехало с папой?

– Нас?

– Да, да, да, вас! Кто только что травку-то косил?

– Нас… это… нас немного… Вот, две лошади. Отец мой да я!

– У-у, как интересно… А как тебя звать? – слышал я что-то страшно знакомое и родное…

– Кешкой…

– О! А я думал – Власом… «Ну, мертвая! – крикнул малюточка басом… – ворча себе под нос известные стихи Некрасова, направился он к отцу, – рванул под уздцы и быстрей… задремал», – начал он как-то нехорошо видоизменять нашу русскую классику.

Ничего не понимаю. Отец сегодня то сразу заснул, то быстро, свежо и ясно вдруг проснулся, как, впрочем, делал это порою и раньше, но не всегда, и как старому своему доброму другу ни с того ни с сего ляпнул этому начальнику:

– Ну что, брат, как ты живешь, ничего? Кешка, давай костришко быстренько сваргань, сынок! Картошки испечем, яйчишек сварим, чайком ребят угостим…

На какое-то время начальник тот несколько оторопело и уж очень внимательно впился в отца глазами, вроде заметил на нем что-то страшно заинтересовавшее его; он даже нагнулся. Отец и дядя, застывши, смотрели друг в друга. Потом эта немая самодеятельность последнему, как видно, надоела, и он сказал:

– Ладно, ты мужик, я вижу, сообразительный, так давай-ка запрягай своих коняшек и мотай отсюда, чтоб глаза мои тебя больше не видели вместе с твоими вареными яйчишками, понял? Ну вот и давай, милый, намазывай!..

В кузове машины поднялись хохот и улюлюканье.

– Это, брат, совсем не так… Свежий чай да еще на таком раздолье – никогда и никому не лишнее… вареные у тебя яйца или нет, – просто и мягко говорил отец. Он, как все сильные люди, не любил ссориться и, кажется, даже не умел, а зная, должно быть, что его великолепный рост и статность мужика всегда вызывали расположение окружающих, поднялся.

Тема вареных яиц была, как видно, близка, а потому пришлась

по душе всей ораве, что приехала под началом этого неглупого и, в общем, неплохого парня, и они, вначале обсмеяв отца, чуть не вываливались из кузова, хохоча теперь уже над своей властью, однако самое замечательное, что и сам «стратег» тот вместе с отцом смеялись не меньше. Смеялись все, но сено забрали, сетуя и объясняя тем, что нас засек в бинокль какой-то очень большой начальник, дежурный по военному городку, и что без сена им возвращаться вроде бы даже и нельзя, – ну врали, конечно. Просто самим не хотелось косить – лень, а сено для военных лошадей нужно. Однако указав нам направление, где без помех мы все же могли бы накосить травы, они уехали.

С этой минуты каждый шаг, поворот дороги, отдельно, осиротело стоящее дерево или испуганно прижавшееся друг к другу зеленое братство, тихо и немо смотревшее нам в спину, прохладная свежесть воздуха, живительный запах свежескошенной травы, что оставили нам наши друзья, огромная спина отца, молчаливо сидящего впереди, – все, все готовило и приближало меня к моему первому и страшному открытию. Не думаю, чтоб отец понимал или знал толк, чувствовал зов давно ушедшего времени, просто случайно, должно быть, остановился там, где остановилось, но место было на редкость удивительным и таким диким, что вот уж действительно ни в сказке сказать, ни пером описать. Эту последнюю фразу я написал, пожалуй, в оправдание своего неумения создать атмосферу того, что почувствовалось на том диком месте. Это была самая высшая точка длинного пологого косогора, по которому мы долго поднимались. Спад за этой вершиной был резким, местами крутым обрывом и уходил вниз сразу и определенно, теряясь, казалось, в нескончаемой, завораживающей вечерней мгле балки. Оказавшись лицом к лицу со столь широко, полно открывшимся передо мной миром, я был поражен необычностью и дикой красотой его, раздольем того открытого места, выбранного для покоса, прислушивался к сиплым прерывистым стрекотаниям, свистам, пискам, шорохам, невнятным таинственным шепотам, ползущим отовсюду, говорящим о доброй мелкоте вокруг, вдыхал в этом насыщенном покое жизни прохладу засыпающей природы, а фырканье и храп поодаль пасущихся лошадей уносили открытое, готовое для фантазии и мечты мальчишеское воображение в недавно проходимые в школе, но давно отшумевшие во времени набеги Золотой Орды. Жизнь, это чудо, во всем выявлялась здесь явно, сочно, щедро. Должно быть, не хватало ни душевных сил, ни только-только проклевывающегося сознания, чтобы если не вместить, то хоть как-то противостоять этому преждевременному, безусловно неравному столкновению. И много

вопиюще несовместимого здесь вдруг совпало, объединилось, подчиняясь моменту, словно желая избежать малейшей возможности неточного или ложного толкования, и, бесцеремонно обнажив явь, представило ее такой, как она есть.

Солнце уже зашло за край земли, но золото его лучей зло, ярко осветило оттуда в темных, по-вечернему печальных облаках кромки их и глубину образовавшегося просвета. Распахнутые ворота эти были ослепительно четко очерчены. В мрачных, сгущающихся сумерках они создавали впечатление зияющего, наглого входа в какой-то иной, вечно утопающий в праздничном и оттого неприятном освещении мир, где лишь из-за отдаленности этой пугающей и зовущей цивилизации не слышны были звуковые проявления вечной жизни, которые там, сливаясь с голубой почему-то прозрачностью позолоты всевозможных храмов, замков и дворцов, возносились вместе с ними в неизъяснимую, недоступную высь.

Нет! Нет! Я был здоровым ребенком, и если болел золотухой и годами меня донимали лишаи – неминуемая, должно быть, дань любви ко всяким бездомным и своим кошкам, собакам и телятам, то эти недуги не могли служить основанием для душевных изъянов, рефлексии и слабого самочувствия, но я, очевидно, был так подавлен и атмосферой полигона, и страшно долгим путем к этому высокому месту, и загадкой полыхающего света в глубинах тех ворот, и общим настроем позднего вечера уходящего лета, что находился в состоянии какого-то страшного возбуждения. Глядя в этот зияющий провал, я вдруг четко осознал крохотность человека, временность нашей жизни, отчетливо ощутил ее краткость, что все мы, как это прерывающееся стрекотание кузнечика в траве: сегодня живем – стрекочем, а завтра навсегда замолчим и никогда, никогда уже… никогда…

В страхе и исступлении я метался, катаясь по траве у телеги, и стонал, кричал, несогласный с законами природы, с их вечными проявлениями. На мои вопли спешил отец, загородив своим силуэтом уже исчезающий, оказавшийся тоже временным и коротким вход в загадочную, зловеще-красивую вечную даль неизвестного. Задохшийся в бессильной истерике, на простую, вечно живую заботу отца – что со мной? что испугало меня? – к великому сожалению сейчас, не мог сказать правды тогда: открытие раздавило, оно было страшным, явным и неотвратимым. Дальше предстояло жить с ним. Наив и детство кончились навсегда!

Прибитые тишиной, мы ждали рассвета, наивно надеясь, что его приход избавит нас от предстоящей заведомо обреченной

схватки, однако и предположить не могли, что это уже давно началось. Ночь жестко обозначила крайности, но то, что выявилось, было пределом, приучить к которому было едва ли возможно вообще. Озираясь вокруг, мы не могли взять в толк: что же это такое? И как ни напрягали слух, ни вглядывались в неясные пятна, выплывающие на нас из серой мути тумана, – ничего оттуда не приходило, зыбкие разводы превращались в темную слизь соседних строений, отнимая у нас последнюю надежду. Дело в том, что нас осталось четверо. Где хрипун, Телегин, где раненый, что так невероятно стойко держался со всеми нами, теряя вместе с кровью силы и сознание, и, наконец, где те двое, не только здоровые, но просто здоровенные детины, – два солдата, что виделись гордыми, неутомимыми сказочными витязями на общей усталости остальных, когда, отбив последнюю атаку и приходя в себя, мы толкались друг о друга в нестройной общей группе. Где все они? Куда вдруг и зачем подевались? И как, наконец, мы-то теперь? Сколько ни проносилось бы подобных и других вопросов и как бы исступленно-неистово мы ни вопрошали себя и окружающее нас – ответа не было. И как-то само собою выходило, что именно тишина и туман своей западней были повинны в нашей отверженности и, теперь уж просто ясно, в нашей обреченности. Вспомнился замечательный сержант, и мысли о нем не были столь хороши сейчас, как те, что приходили раньше. А его невероятная энергия вообще показалась какой-то дьявольской, хотя именно она оставила нам жизнь тогда, но тем более непонятно – почему же теперь-то, когда эта ее направленность была так необходима, она вдруг стала другой? Что разрушило ее непримиримую стать и увело его куда-то? Припомнилось вдруг то, что он вроде собирался сказать мне что-то… да-да… и, как виделось по лицу его тогда, что-то важное… но я, должно быть, не показался ему, не вызвал доверия или просто-напросто пришелся не по душе, вот он и сбежал от меня как от чумы, придумав какую-то нескладную историю о фокуснице с солью.

Туман, один туман. Без продыхов, приступом стала давить мысль о лейтенанте. И чем больше я старался не думать о нем, тем назойливее человек тот вставал передо мной, я видел его грустные глаза, слышал голос. Противясь завладевшей мною идее, шарахаясь в стороны в надежде уйти, освободиться от наворота уставившихся в меня глаз, боясь, признаюсь, как бы невольно указанное им место в цепи обороны не обернулось предсказанием, пророчеством для меня («Ты и должен быть здесь, иди туда, между сараями»), я метался из одного угла двора в другой и, обессилев, оказался там, куда она так неотступно призывала, – между сараями у моего соседа справа. Стоял и тупо соображал: «Сюда-то

зачем занесло меня? Как неловко лежит он на боку». Кольнула боль. «Это же я оставил его в таком положении…» Бедняга был неузнаваем. Предрассветный иней не успел осесть на его лице, оно было открыто и искажено последней страшной мыслью. Нагнувшись поправить его, обнаружил под колесом перед ним два полных тяжелых диска, я увидел их, как если бы сам положил их туда, и с облегчением понял, что именно мысль, что у него не могло не быть запасных дисков, все это время досадным сожалением томила меня, ускользая от конкретного осознания. «Она и привела меня сюда», – успокаивал я себя. Объяснение смягчило навязчивость исчезнувшего лейтенанта, и радость, что для «предсказания» его нет пока никаких ни причин, ни оснований, что все это нервы, усталость, что всему виною этот вползающий брезжущий рассвет, заронила в душе что-то вроде надежды и тепла, но тот миг оттепели был недолгим, и уже в следующее мгновение все было вытеснено тоской, и она оставила молча стоять у развороченной жизни.

– Ты не очень бы торчал тут… видишь, место здесь самое такое… – Из глубины двора шел солдат, кого я двумя часами раньше допек своими выспрашиваниями. Он хоть никак и не выделил слово торчал, тем не менее прозвучало оно не очень уважительно. Уж не узнал ли он меня? Но, поразмыслив хорошенько, понял, что ошибся: во-первых, если бы он заподозрил, что это я, уж наверное, как-то оценивающе взглянул бы на меня – кто же это не давал ему покоя ночью? – и, уж конечно, не заботился бы обо мне теперь, а во-вторых, он тогда в темноте почти и не смотрел в мою сторону и узнать он меня мог только по голосу. Опасаясь, как бы не напомнить ему о себе и своей приставучести и опять не возбудить в нем неприязнь, затаясь и опустив голову, я собрался было отойти к углу маленького амбара. В этот момент он хотел было что-то сказать, и совсем не вдогонку, а прямо мне и в лицо, – я видел это, но он, должно быть, передумал. И совсем не лучше меня, а таким же столбом остался торчать между амбарами. Поразительно – в том мгновении было что-то… Я знал, почему он стоял там, и даже знал, что собирался сказать мне. Бывают минуты, когда наверное знаешь, какие мысли сейчас начнет высказывать тебе твой собеседник. Расхождение лишь в словах, но мысли – точно. Та минута была именно такой, и не бойся я разоблачить себя перед ним, я и сам бы сказал ему примерно то же самое: «Ничего, пусть видят, что мы живы, что нас еще предостаточно и оттого мы ходим в полный рост, а нет – просто стоим, молчим и в ус не дуем». Мысль эта осталась невысказанной ни им, ни мной, потому что в ней все было неправдой, кем бы она ни была сказана. Она не

могла что-либо изменить ни в положении, в котором мы оказались, ни в нас самих. И мы молчали, каждый на своем месте: я – подпирал стенку, он – неудачным пугалом торчал у колеса моего соседа справа.

Да и что говорить: как ни страшна действительность вокруг, но дорога перекрыта, деревня – наша, те, за насыпью, не прут, ночь на исходе, впереди день и жизнь, хоть и через пень-колоду, но катит своими непростыми путями, катит, и мы живы, черт побери, стоим, торчим и подпираем, и что самое поразительное – все еще надеемся. Вот только не достает уверенности, что порядок этот будет долгим, и оттого немного точит сожаление, что тех наших пяти товарищей нет с нами, тогда уж совсем было бы хорошо, славно и прекрасно.

Но на фронте, видно, такое если и бывает, то страшно редко – вот и мы подпали под эту неумолимую, нехорошую сторону статистики. Меня-то больше всего снедала вероломная скрытность их ухода. Уж такой тихой сапой все произошло, что долгое время не покидало ощущение, что все они должны быть где-то здесь, только затаились. Но время шло, а они все не выползали из своего подполья, и становилось больно и все более беспощадно ясно – они ушли. Ну допустим, этот скоропалительный уход их был необходим – раненые, и один едва ли не безнадежно, и Телегин слаб, необходима помощь, кто спорит, все понятно и правильно – но хорошо… а мы-то как же? Какие ни на есть, а тоже, поди, живые, из клеток, нервов, видим, слышим, чувствуем и, что смешнее всего, то же самое хотели бы проделывать и впредь. А вот поди ж ты – не всегда сбывается, что хочешь! Отведите раненых и возвращайтесь – речь ведь все-таки идет о жизни вместе с вами отстоявших деревню четырех товарищей.

Первые приметы утра за неровной размытостью тумана порою приносили с собой надежду увидеть возвращающихся, но туман плыл, превращая идущие тени в темные стены амбаров, и тоска новой холодной волной обдавала душу.

Время от времени из кювета дороги высовывалась макушка одного из наших дозорных (второй был где-то за деревом – вот, собственно, и все наше могутное войско), он вопрошающе немо глядел в нашу сторону и, не узрев ничего нового, так же тихонько исчезал в своем укрытии. Да и кого спрашивать, о чем? Разве что самих себя, но тогда должно было бы и ответить… этого сделать нам было не дано!

Из серой мути тумана, как из-за нарисованных облаков в кукольном театре, выдвинулось вдруг темное лицо. Я знал, что он где-то там, но это внезапное явление из-за слившегося с туманом дерева было как бы выдуманным, нарочным, причем придуманным

плохо и оттого несколько нелепо-смешным. Все вокруг было слишком иным, страшным, и появление этого «петрушки» было некстати настолько, что, скажи он с какой-нибудь фистулой или писком в голосе, мы бы даже хохотнули, наверное, но солдат спросил до обидного просто, ясно, что напрочь не вязалось с его помятым изнуренным лицом:

– Будем, нет, что делать?

– Снимать штаны и бегать! – сердито проворчал мой знакомый, но так, что слышал об этом редком, развеселом аттракционе только я. Этому, должно быть, трудно поверить, но я испытал тогда момент некой радости – оказывается, не я один способен вызвать его раздражение.

– Я куда тебя просил смотреть? – теперь уже намеренно громко грубым, надорванным голосом нетерпеливого массовика-затейника заорал он на дозорного. – Ну-ка напомни мне – куда?

– Я смотрю… толку-то что? – И страж исчез за белесой размытостью дерева. До меня вдруг дошло, что я, оказывается, стою рядом с вновь испеченным начальником и, чтобы не накликать на себя гнев, а больше, наверное, из желания показать, что я умею не только торчать, но и быть исполнительным солдатом, почел за благо быстренько спросить:

– А мне куда смотреть?

– В жо-о-пу!

Как видите, ответ был коротким, но совсем уж не по делу. Хотя бы потому, что не считаю, что, упершись взглядом в такое, можно было как-то изменить наше положение к лучшему. Я стоял и ждал, что сейчас разразится скандал в связи с невыполнением приказа… а я, честно говоря, вообще не представлял, как такое могло происходить; может быть, он просто так, к слову решил сказать, хотя лицо было очень серьезным, но он тихо, как-то совсем по-человечески вдруг попросил:

– В самом деле, ты не стоял бы на одном месте, а там покажись, в другом где месте выползи, высунься… если что заметишь – я здесь, и тоже поползаю, покажусь… поору. Кстати, и поорать было бы не лишним…

Боже мой! Боже мой! Как же это я просмотрел, совсем… не заметил даже… так ко мне мог обратиться только друг, оказывается, они у меня есть и я им нужен… нужен. Вот сейчас же буду орать… что бы такое дельное придумать? Как он это… здорово… не стал выговаривать меня больше и только как-то вскользь, но все равно не приказал, а попросил меня поорать… Нет – он замечательный такой. Друг! Поймал себя на том, что очень хочу быть похожим на него. И орать буду, как он… Ага, вот: «Эй, вы, что вы там приташились за полотном, дурачье вы этакое… Все,

небось, смотрите сюда, а смотреть-то нужно совсем в другое место!» Нет, так не годится, чем же все они там виноваты, что у меня здесь друг появился?

Непонятный, странный грохот, внезапно появившись, застал нас врасплох. Звук шел откуда-то сверху… нет – от амбара, теперь за нашими спинами!.. Гул быстро нарастал, и вскоре на дороге, что вела из деревни в лощину, с каждым моментом все четче вырисовываясь, вылетела пара мчащихся галопом лошадей, запряженных в легкий прогулочный тарантас. Возницы видно не было – похоже, что повозка была пустой, и обезумевшие лошади самостоятельно неслись в серый рассвет. Казалось, в каждое следующее мгновение они врежутся в изгородь, строение или дерево, но грохот, так неожиданно прервавший хоровод прекрасных мыслей и возмутивший дремлющую тишину вокруг, быстро уходил, таял и совсем замолк в лощине, оставив по себе лишь отголоски невнятного шума. Предыдущей ночью повозка эта (я узнал ее сразу) много раз обгоняла нас на марше, когда в темноте мы стремились сюда неведомыми путями-дорогами. В ней ехал тогда наш командир батальона, капитан, и еще какой-то офицер, дремал должно быть, развалившись, сидел рядом. Теперь пустой экипаж загадкой прогрохотал мимо, и лишь мечущиеся в воздухе черными змеями оборванные концы поводьев говорили о том, что лошади, напуганные чем-то, сорвались… и, как ни странно – это было прекрасным знаком: «значит сам-то капитан остался, он здесь и обязательно придет и приведет с собою, он же старший, того офицера, что сидел с ним рядом в ночном экипаже… прикажет, и все – никуда не денешься, да и вообще наведет какую хочешь подмогу: и лейтенанта нашего отыщет, и сержанта того с точилом вместо горла вернет, да и мало ли кого еще… многие вчера оставались там в доме, да, наверное, и в других строениях, так что все в порядке, сейчас-то уж мы им не дадимся и без орудия, а повезет – так, глядишь, и деревню удержим, и жить останемся… и друг теперь у меня есть, и он, вот он – рядом торчит… нет… это… так что – будь здоров – кони-то одни мчались. Этот факт никуда не денешь, седоки живехоньки, и они остались здесь. Теперь только надо запастись терпением и подождать немного, всего-то дел – подумаешь!» С этим рождественским настроением и как-то неестественно улыбаясь, я и подполз к своему не очень разговорчивому начальнику – другу. Тот, не отрываясь, смотрел вслед умчавшемуся живому испугу. Что приковало его так?

– Что там, друг? – мягко и как бы между прочим, как само собою разумеющееся, хотел выговорить я, но получилось как-то нарочно, и я поспешил сделать вид, что сам немало удивлен тому, что в самый неподходящий момент что-то там в горле засвербило

и оскал этот дурацкий откуда-то взялся. Сначала он только скользнул по мне взглядом – отстань, дескать, но здесь же, вернувшись, рассмотрел меня намного дольше, чем того требовал бы человек, просто спросивший: «Что там, друг?» – так что продолжать выяснять, что там или где-то в другом месте, было довольно глупо да и просто рискованно, я понял это по его взгляду. Должно быть, воспоминания ночи были еще слишком свежи.

Между тем туман, поднявшись в долине, завис теперь над нею мягким, неровным потолком, и мы здесь, лежа на возвышении, просто упирались в него головами. Лошади, казалось, ликуют, видя наконец перед собой открывшийся их взору добрый, светлый, привычный их лошадиному ожиданию мир долин, лесов и так понятных им твердых дорог, и они в далеком ровном шуршании, в упоении скользили к насыпи.

Долина сияла, словно ее за ночь старательно отмыли, свежесть утра одарила ее хрупкой прозрачностью, которую мы все так ждем и любуемся ею ранней весной. Совершенно непонятно, как из такой красоты и нежности вчера могла идти смерть. Поражала чистота воздуха – лошади были далеко, но виделись так, словно мчались вот здесь, где-то совсем рядом, но только очень маленькие, словно вырезанные из картона и покрашенные в темный цвет.

– Тихо, нишкни! – зашипел вдруг почему-то опять зло старшой, точно я помешал ему прислушиваться к чему-то страшно важному. По тому, даже малому опыту общения с ним было ясно, что доброе в нем до обидного близко уживалось со злым, неприятным, психованным, и психопат-то в нем сидел нехороший, особенный, дерганый какой-то, и это было так обидно, так жалко. Во, посмотрите – словно через него электроток пропускают: глаза навыкате и зубами скрежещет, как если бы перед ним был не я, а какая-нибудь Красная Шапочка. Я решил переждать, когда в нем опять появится тот славный, заботящийся друг… но сполохи каких-то звуков, словно шорох огромного растревоженного муравейника, шумовой круговертью расползаясь по двору, поглотили все наше внимание.

Что такое? Опять, как в глубоком колодце, заглушенно вещали голоса, но что, на каком языке – не понять, и голоса ли? Нет… Какие-то смятые звуки? Двор явно таил в себе акустические загадки. Но затем все ушло, стихло. И мы были предоставлены несколько неловкому недоумению: было это… или нам уже стало чудиться? То слышалось отовсюду, то, словно тая, уходило в какую-то одну сторону, с тем чтобы здесь же появиться с противоположной, и как ни вертелись мы в разные стороны в надежде определить: что, куда и откуда – понять не могли.

Голоса… приглушенные голоса… А вот явный, поспешный топот, мелкие удары… скрипы…

Сухой стукоток пулеметной очереди из долины резко и нагло возвратил нас к делам земным и не менее странным. Лошади во весь опор, но как-то косо, боком неслись на фоне редких, высоких деревьев, одна из них вдруг резко вскинулась на дыбы, неестественно высоко выгнув голову. С запозданием до нас долетел повторный стук пулемета, и пронзительное до боли ржание животного возвестило долину об уродливо начавшемся дне. Верный друг человека, находясь во власти инерции, со всего маху ломая оглобли и собственные ноги, терял вместе с жизнью гармонию движений своего прекрасного тела, тяжело и некрасиво перевернувшись через голову, грузно рухнул на землю. Вторая лошадь в смятении ринулась вперед через груду своей поверженной подруги. Удерживающая упряжь отшвырнула ее назад; упав, она лихорадочно пыталась освободиться от сковывающих ее пут, тяжести и страха, какое-то расстояние тащила все, что оставил ей в наследство «венец мироздания» – человек, и, выбившись из сил и теперь повинуясь лишь инстинкту самосохранения, стремилась (невероятно!) сползти с дороги в кювет, бешено дыша и неистово колотя в воздухе ногами.

За полотном проснулись, и настроение у них, судя по этому поступку, было не очень миролюбивое. Не только долина, но и многое другое прояснилось! Ничего не говоря, не сзывая друг друга, мы собрались вместе, словно нас толкнуло на это «вече», как ту несчастную лошадь, некое подсознание; мы впервые были все рядом, никто не обмолвился ни единым словом – мы все еще ждали, очень хотелось жить – и мы ждали. Кто-то временами уходил к углу маленького амбара взглянуть в лощину и, вернувшись, становился рядом, словно не уходил, не смотрел. Первый раз мы видели близко и открыто лица друг друга. И хотя все мы были из одного батальона – одно подразделение, но не помню, чтобы мы знали фамилии один другого или имя. Мы не знали, кто мы, откуда, но знали и видели одно – мы родные, свои, как и те, что лежали вокруг нас. Теперь неожиданно по-новому встречали друг друга глазами, не стесняясь, не гоня эти встречи и не объясняя их. Мы знакомились, задавали, должно быть, вопросы и, наверное, отвечали на них: немо, без слов, беззвучно. Всякий звук отвлек бы нас от этого необходимого, первого и последнего общения. Смотрели прямо, просто. Четверо голодных, страшных, истерзанных, загнанных (просится слово «прекрасных», да так оно, наверное, и было) людей стояли, смотрели и молчали. Было ли то общим пониманием, вздохом, признательностью, теплотой ли – не знаю и не узнаю никогда; отрешенность тех минут растворилась в

беззвучном разговоре надорванных сердец. И уж не пригибаясь, не высовываясь, не прячась, ничего никому не доказывая и не крича, просто бродили по двору то все вместе группой, то кто-то отходил опять, чтобы через какое-то время сойтись вместе.

Прошло часа два. Что происходило в эти долгие и страшные часы пустоты – припомнить не могу, должно быть, ничего такого, что принесло бы нам хоть какую-нибудь надежду, но мы все еще ждали, чтоб ни в коем случае не шли с одной стороны, а если бы шли, то только быстрее, сейчас… и чтобы обязательно, во что бы то ни стало пришли наконец с другой, и тоже было бы невероятно, но хорошо, чтоб побыстрее. Но, исчерпав терпение все, видя, что мы перестали, маясь, бродить по двору – стоим и смотрим в его сторону, наш старшой сказал (это были единственные слова, прозвучавшие здесь за эти часы):

– Ну что же… видно… не придут.

Каждый к этому времени знал, что он связывал с ожиданием, и было непросто отказаться от тех прекрасных надежд, однако сделать это было необходимо хотя бы для того, чтобы избавиться от тяжести ожидания. Стало, может быть, не легче, но, как казалось, проще, яснее. Теперь мы были готовы совсем, и если прислушивались, то лишь к тому неизменному в нас самих, великому, что вело и то обезумевшее несчастное животное, когда оно ползло в кювет.

Какое неуравновешенное, во многом непонятное существо человек: то единение ему необходимо, то, напротив, разбредясь по двору, каждый теперь хотел быть только один и знал, что все вместе соберемся, лишь когда пойдут те, другие, а в общем-то такие же несчастные, из-за полотна, ну что ж… теперь уже недолго. Невыносимый, страшный холод охватывал все существо, душила тоска. Быстро иду в глубь двора, почему – не знаю, может быть с тем, чтоб минутою позже с пустым устремлением нестись обратно в неосознанной надежде, должно быть, найти свой кювет.

Никакой определенной мысли, вернее, возмущенный рой их не позволял какой-либо одной осесть в сознании – все вытеснялось страшным сожалением непоправимости, тоски. Остановился, почему вдруг остановился и именно здесь? Смятение, вернувшись, опять зацикливалось на фразе лейтенанта – стоя у этого угла, недоуменно глядя на меня, он произнес ее. В этой части двора я сегодня еще не был… Оглядываясь, понимаю, что возврат к фразе лейтенанта вызван тем, что стою, оказывается, неподалеку от места встречи с ним. Сейчас у угла пусто, как, впрочем, и вокруг. Лишь множество воронок от разрывов крупных мин, а на снегу лежат, как и по всему двору, но лежат как-то навалом, грудами. Здесь, видно, раненым никто не помогал, санитары не успевали,

должно быть, не трогали их, и они остались в том положении, в каком их застала смерть. От неясного странного опасения опознать в одном из погибших здесь лейтенанта, то ли от другого чего, но не стал приглядываться к погонам, высматривать, есть ли патроны, и, не дотронувшись ни до одного из них, ушел прочь. Невыносимо…

В подобном состоянии находились все – от большого амбара ко мне спиной, пригнувшись, бежал солдат, к двум живо вышагивающим в разные стороны, как у важного объекта почетный караул. «Что вдруг вздумалось ему опасаться, прятаться, заметил что?» – крикнуть, спросить – не хотелось. Бежать к ним?.. если серьезное что – позовут, но тоже, помню, пригнувшись, пробежал к своей булыге между амбарами. Странно… Ночью во время той страшной атаки немцев промелькнуло что-то вроде сожаления, зависти: вот у солдата железное колесо, броня – надежно, не то что у меня каменюга природная. Теперь колесо «освободилось», за ним погиб тот мой товарищ. И, несмотря на то, что колесо то осталось тем же непробиваемым щитом, как и раньше, чувство самосохранения направило меня к моему маленькому, никудышному, всего-навсего кусочку песчаника, к моему защитившему меня камню. Нигде никаких признаков появления «тех». Странно, а он бежал быстро, пригнув… о-о, что это? У торца малого амбара, задрав голову и прикрыв глаза, казалось что-то вычисляя, тихо стоял солдат! Вот те на-а! Его покой был долгим, основательным. Во всяком случае он никак не мог только что возбужденно маршировать или бежать, а теперь вот так ни с того ни с сего спокойно прилипнуть к стенке и что-то такое философствовать?! За амбаром послышались возбужденные восклицания. Либо показалось, что их там двое было шагающих, либо этот у стенки…

– Слышишь, что у вас там стряслось, опять что-нибудь не так, не туда смотрел, что ли?

Тот, не понимая, уставился на меня.

– Где стряслось, что стряслось – не пойму?

– Разве ты не вышагивал там только что?

– Я здесь давно стою, смотрю, вот.

– Эй, где вы там, сюда быстро! – прозвучало приказом за спиной.

Мы ринулись туда и… застыли… невероятно, перед нами стояли три человека – два наших, своих, и один совсем незнакомый!!! ПРИШЛИ! ПРИШЛИ! ГОСПОДИ, ПРИШЛИ!.. Отбойными молотками колотило, стучало внутри, в висках, глазах, горле, двор качало, подбрасывало, все ходило ходуном… Сейчас кричать бы, орать во всю мощь, броситься к этому

незнакомцу и раздавить, расплющить за это явление его. Мы и впрямь не одни, еще поживем, с нами наши, свои, и их тоже будь здоров как предостаточно, по крайней мере не меньше вашего, вот один уже сюда пришел, и еще понайдут полным полно, тьма тьмущая, так же, как и у вас, – так что живем.

– Пришли, пришли, нас много.

– Давай быстренько мотаем отсюда, приказано отойти, и чем быстрее мы сделаем это, тем вернее, вот! – клокотало лихорадочной радостью в нашем старшом. Он живо, что просто никак не вязалось с его всегдашней мрачностью, оглядывал нас, словно ожидал: что дурного можем сказать мы теперь о его кратком, но вот ведь прекрасно завершающемся командовании. И он как-то хорошо, радостно взглянул на меня.

– Да-да, брат… – хлюпнуло у меня, но дальше почему-то воздуха не хватило.

– Тебя кто послал? – обожгло его вдруг, и радость в нем да и в нас заметно поубавилась.

– Сам я не пришел бы сюда, как ты понимаешь, я еще жить хочу, так что не выкаблучивайся и не беспокойся, а быстренько линяем отсюда, пока есть эта возможность, и вся недолга.

По сути, новенький говорил просто замечательно, но никак не мог отойти от одышки, душившей его. Наверное, проделанный им путь был не близок и не прост, он едва переводил дыхание, с него катил пот; выкатившимися глазами, но ничего не видя, он как заведенный то смотрел на ствол большого дерева, то вроде осматривал у себя под ногами какое-то невероятное большое чудовище и опять возвращался к дереву. Полы и грудь его шинели были все в мокрой глине, он, должно быть, долго полз. По мере того как дыхание его успокаивалось, сам он становился страшно озабоченным, не то настороженным – или это только казалось так на фоне наших счастливейших, уставившихся в него, как в божество, лиц. Вообще новенький был, как припоминается, очень своеобразным типом, его легко можно было бы сыграть. Уже успокоившись, он говорил так тихо, буднично, таким унылым голосом, вроде у нас был страшно большой выбор: захотим – будем линять, а можем и не захотеть, и тогда будем предпринимать какие-нибудь другие всякие химические процессы и реакции. В любое другое время над ним можно было бы всласть посмеяться, душеньку потешить, отвести.

Теперь же тон голоса и его манера говорить звучали бы полным безразличием, если бы не душившая его одышка, которой с лихвой хватало, чтоб заключить: в каком непростом мы сейчас положении.

– Ну так что… сколько вас еще… там вместе с капитаном

кто-то из ваших… – Голос у него – вроде стружку с тебя снимает; объяснил: – Совсем немного, человек шесть, семь… так я вот…

– О-о, хватил, где же это он их насчитал. Это было бы здорово, вот… но… нас всего четверо… здесь мы все, вот, а там… уже пришли? – сел на своего любимого конька мой… наш командир. Так что же ты, как тебя, сержант, что ли?..

– Что я… сказали: отведем раненых и вернемся – ждите, ну и что… где они?.. хорошо еще, что совсем не забыли – прислали, а то ведь… только на людей кричать да свою шкуру спасать…

Надо полагать, связной и раньше сознавал, что забежал сюда не мед пить, но только теперь, казалось, начал понимать, куда он заполз; и хоть он старался говорить все тем же постным голосом, однако эти усилия его были отчетливо слышны, и он сам с сожалением понимал это, но поделать с собой ничего не мог, наверное, потому смотрел на нас совсем по-другому.

– Ну а ты… слова сказать не можешь… дошел, я вижу, до ручки, а дрожишь-то чего? – без зла переключился новенький на меня в надежде за шуткой скрыть ожог от всего узнанного, однако голос упорно отказывался повиноваться, не слушался его, а по тому, как он ворочал глазами, теперь уже просто переводя их с одного из нас на другого, было очень ясно, что ему здесь не нравится. Как бы там ни было, а задание свое он проделал просто геройски, по-другому не могу определить его поступок, а то, что теперь он был в полном перепуге – так четырьмя-пятью часами раньше мы были точно в таком же состоянии, а может быть, еще и почище. Он был связной и пришел к нам, но то, что перед нами был полный, добрый, славный лапоть, это тоже виделось и ощущалось сразу и, пожалуй, больше всего. И если он все же, назойливо прицепясь, пристал ко мне, то только оттого, должно быть, что почувствовал во мне некоторую схожесть с этой редкой разновидностью обуви. Два сапога принято называть парой. Совершенно заблудившись в ощущениях, он пытался было даже подбодрить нас (но у него и это как-то не выходило, вернее выходило, но так неуклюже, что было бы, пожалуй, лучше, если бы это не выходило совсем), его, тем не менее, вывернуло на правильную дорогу со мной, например, он был прав: меня трясло как в лихорадке, по-моему я ничего не соображал, не понимал, все восприятия жизни были вытеснены одним понятием – линяем! Оно захватило меня целиком своим «улетучиванием», невидимостью, оно невероятно полно вобрало в себя все, что чувствовали и жаждали мы, доведенные до крайности. А вот выразить просто и так замечательно точно никогда бы не смогли. Такое под силу лишь свежему сознанию. Есть в этом определении нечто исчезающее, если даже будешь искать – не найдешь.

– Да вот трясет, не знаю… озноб… от радости, что ты пришел и теперь линять будем и жить…

– Тебе-то куда еще линять, ты и так бледный и прозрачный, как студень.

– Кто, я?.. нет… я – так… я – червь, я – раб, я – это… все хорошо, линяем!!!

– Прежде чем линять, скидывай все, что намотал лишнего себе на шею, спину, червь, все мешать будет, горбатый же совсем.

– Кто, я?.. нет, это сутулюсь я, когда холодно, и это… мало во мне мяса… потому что я – царь, я – Бог и… это…

– !!!

Все как-то хорошо – хорошо и тихо смотрели на меня. Неожиданно связной вдруг переменился весь, досада промелькнула по его все еще возбужденному лицу, и хотя казалось дальше некуда, но он еще больше покраснел и глянул мне в глаза, дескать: «Прости, нашел на ком выместить свою боязнь!».

На мгновение все ушло и казалось – нет никакой опасности, обо всем вокруг забылось, как и о том, зачем он приполз сюда, и он, силясь улыбнуться, вымучил неловко прокисшее выражение лица, но уже миролюбиво и покойно спросил:

– Есть хочешь? – И со значением полез за пазуху.

Новенький стал вдруг мягким, уютным и своим, как тот неизвестный мне котенок за пазухой у Фомы-животновода, и то, что он полез за пазуху… за… за пазуху.

Боже мой! Боже мой…

Тогда я сразу и радостно отвечал на его доброе предложение:

– Кто, я?.. нет… нам бы слинять сейчас побыстрей, а там и поедим, и попьем… и первый предмет необходимости – мыло… Хочешь понюхать меня? Вот от шеи здесь лучше пахнет.

– Нет-нет, зачем это? Не потопаш – не полопаш, – бурчал он, уставясь в меня.

Но сейчас, через сорок с лишним лет, продолжая выстукивать на машинке о том, кто, что и как происходило тогда, – просто, легко, непроизвольно напечатал: Фома-животновод… Фомин! Фомин! Конечно же, никакой не Егоров. Я – ошибся, Фомин фамилия, Фомин, именно она, эта фамилия давала ту редкую возможность и желание сочетать, объединить эти два слова в единую кличку Фома-животновод. Да-да, вне всякого сомнения – именно Фомин.

Довольно долго сидел, добрыми чувствами провожая ту прекрасную минуту, подсказавшую так милостиво и просто, что могло навсегда затеряться в тайниках сознания. Там, выше, в черновике-рукописи, поправлять не стану – пусть останется

ошибкой, которая так и осталась бы ошибкой, смело и уверенно выдаваемой мною за правду, за суть.

Очевидно, огонь на Могиле Неизвестного Солдата – это единственно возможная мудрая дань наших живых сердец памяти всем павшим ради справедливости, ради продолжения жизни на земле, ради нас, живущих ныне.

В общем, мы должны были спешить, но уходить сейчас просто так, оказывается, уже было поздно. Во всяком случае так решило теперь наше двойное начальство: туман поднялся – и все как на ладони, дать две внушительные, насыщенные автоматные очереди с четким перерывом между ними – просто так, по никому, с единственной лишь целью – заронить в сознание тех, за полотном, что мы будем и впредь резвиться, давать знать о себе, и что у нас полно патронов и всего чего хочешь, и поэтому мы не задумываясь тратим все налево и направо, лишь бы к нам не лезли, как когда-то по этому поводу сказывал наш светлейший князь Александр Невский. И после второй очереди, когда они уже привыкнут и будут ждать следующей демонстрации нашей мощи и бдительности, мы и намажем лыжи.

– Конечно, все это замечательно, однако мне-то сдается, мы только привлечем внимание к себе и, наоборот, поразбудим тех, кто все еще дремлет там пока, – не преминул я высказаться, на что мне ответили, что лошадь не Пушкин пристрелил и что все они давно попросыпались и теперь только и ждут, чтоб побыстрей в дома, в тепло.

– Там совсем не так тепло, как ты думаешь, я-то вчера там был и знаю.

– Может быть, им как-то дать знать, чтоб они не очень-то и обольщались насчет тепла, – предложил я, но все были какие-то злые, нервные и замахали на меня руками, сказав, что именно это им и пытались внушать сегодня ночью, но вот что из всего этого получилось. И вообще я заметил, что даже и сейчас-то со мной редко кто соглашается. Ну да что там. В общем, мы повели себя так, как решило большинство, и тем, за полотном, думаю, было над чем поломать свои арийские башкенции. Во всяком случае после первой очереди они совсем попритихли и таращили, должно быть, глаза в нашу сторону, соображая: «Что это с ними там такое, откуда вдруг такая резвость?» Уж не помню, как мы реагировали на эту тишину, но то, что в нас самих стучало не тише и не меньше, чем в наших автоматах, когда мы начали вторую часть нашего профилактическо-воспитательного мероприятия, – это я не забуду, кажется, никогда! Все ходило ходуном, и, должно быть, лихорадка эта какими-то там биополями передалась автоматам, и все прозвучало мощно, внушительно и серьезно настолько, что

даже подумалось: так, может быть, и уходить никуда не надо? Но этот миг бравады был лишь мигом настроения людей, которые знали, что они сейчас будут уходить, уйдут… приказ есть приказ! Не выполнить его мы не могли. Ничего нигде не обнаружив после второй очереди, мы из пробоины в стене большого амбара ринулись вниз на снег и битый кирпич. До железнодорожного полотна метров двести, поди. Автомат, гранаты, диски и длинная шинель не помогали быстрому передвижению на животе, и все равно мы запросто могли соревноваться с легко бегущим человеком. Вскоре мы были у насыпи. Никогда бы не поверил, чтоб в человеке было столько воды: мы словно выскочили из бани, пот душил нас, мешал смотреть, говорить, дышать, соображать. Все мотали головами, чтоб хоть как-то сбить с себя это половодье. Стало жарко, и мы, как аллигаторы, клацали зубами, заглатывая воздух и хватая снег. Без команды все остановились; лежим, ничего не слыша, вздуваемся испорченными кузнечными мехами. Глаза вот-вот выдавит наружу. Благо кто-то предложил: «Если нас до сих пор не расстреляли – значит мы не замечены и можем минуту-другую полежать, дух перевести, а то и на насыпь не вскарабкаемся – легкие разорвет на фиг!» Уговаривать не пришлось… распластались. Лежим в полосах снега, рвем его ртами, дыша в его спасительную свежесть. В глазах то темно, то бешено мятущиеся сполохи серой массы насыпи. Вот она, голуба, в пяти метрах… низенькая какая-то, как скамейка.

Такую, я думаю, и пережидать не стоит – враз перемахнем… а вот опять горой взметнулась ввысь!.. и только прохлада снега возвращала нас к себе.

«Ах, голубушка, ну и глупа же ты серая, длинная. Вот еще совсем немного подползем, и рукой достать можно… почти сутки ты была неверна, враждебна нам, помогала тем – скрывала их за собой… теперь-то уж что?»

Мы здесь, теперь только случай мог помочь нам – это понимали все! Старались прислушаться: есть кто за полотном, нет? Шум в нас самих забивал все, слух отказывался принимать что-нибудь извне. Вчера оттуда в этом месте насыпи никто не шел, и связной уверяет, что, когда он полз к нам, там, «за ней», было пусто, иначе он не пробрался бы к нам; правда, он все время оговаривал, что справа от него тогда, а от нас сейчас, значит, слева, двигалась какая-то колонна, но куда шла и где она сейчас – сказать невозможно, трудно.

– На полотно не тянуть, не рассыпаться! Бросаемся все разом, если натыкаемся на небольшое скопление – будем проходить, в ход пускать все: гранаты, огонь, лопаты, зубы… и не останавливаться, а быстро, молнией, только внезапностью

прорвемся… гранаты, понятно, бросать в стороны и, если будут настигать, – назад. Теперь так: если их как вчера, что маловероятно, но вдруг – то скатываемся сюда, обратно, и, не останавливаясь ни на секунду, вдоль насыпи, как можно дальше, в тот край деревни… может, там послабже, другого выхода нет… в общем, по обстановке… и следить за мной. На полотно, повторяю, одним духом и беззвучно – тихо, уж очень открытое место… и туман ушел, ну а там будем смотреть… если будем смотреть… и не такое бывало… – Он замолчал и неприятно сник, зло уставясь в снег. Он соврал – то, что свалилось на нас ночью, можно перенести только раз, даже связной, который не был тогда с нами, почувствовал эту ложь и, взглянув в нашу сторону, где мы лежали с молчуном, что сидел в кювете у дороги, сделал выразительную мину, дескать: «он без злого умысла – подбодрить хочет». Притихли. Старшой вдруг жестом показывает: взвести автоматы, расстегнуть подсумки с гранатами. Вижу, ему что-то шепчет наш солдат, который был рядом с ним, на что тот резко схватился левой рукой за подсумок и зло, одними губами проговорил:

– Там поздно будет смотреть да расстегивать! – И в голос тихо добавил: – Сумеешь сразу, быстро – дело твое. Ну-у-у…

Мы замерли и уставились в него. Зачерпнув горсть снега, старшой, деловито протерев лицо, зло прошипел, словно мы ни в какую не хотели идти:

– Пошли!

Мы бросились на насыпь… короткий приглушенный стукоток по шпалам… с той стороны склон был круче и выше… внизу – два вконец перепуганных лица, развернувшись, обалдело застыли в растерянности и, казалось, летели на нас. Тот, что был ближе к нам на нашем пути, нелепо поднял руки над головой, тихонько прерывисто вопя:

– А-а-а-аз-з!!!

Совершенно багровый старшой, сопя, низвергался на него и должен был смести, раздавить его своей массой, но, извернувшись, он с ходу схватил лежащий на снегу черный автомат и резко мотнул им у самого носа немолодого краснолицего немца. Тот, чуть не завалившись, отпрянул в сторону еще, выше воздев руки; округленными, как у совы, глазами он, казалось, говорил: «Да я и сам не знаю, откуда он здесь взялся!» Однако, молниеносно сообразив, что все может и окончиться этой вот угрозой, с доброжелательной готовностью задергал головой, дескать: «Понял, повторять не надо!» Другой еще сидел со спущенными штанами и, диковато исказясь в подобии улыбки, под стать своему приятелю по утреннему туалету, как дятел, долбил башкой,

разведенными в стороны руками показывая, что у него вообще ничего нет, кроме скомканного клочка бумаги. Смех и грех… К сожалению, эта смехотворная интермедия была недолгой и вскоре оборвалась.

Сегодня лес казался страшно далеким… Слева, за спиной, неприятно привлекло внимание скопище едва ли не черных шинелей. Чем была озабочена эта темная масса, что делала – осталось неясным. Впереди не видно было никого. Перед нами – открытое поле, полное свежего воздуха и простора. Пригнувшись, как огромный загнанный кабан, жадно поглощая расстояние, старшой быстро уходил вперед, моментами просто растворяясь в пожухлых кустах, росших вдоль межи. Как если бы почувствовав мой взгляд, он оглянулся и зло мотнул рукой в сторону: «За мной-то не увязывайся, идиот, – бери шире!», во всяком случае я понял так… дальше все пошло не так складно, как началось. Не успел я еще «взять шире», как за спиной слева, вроде досадуя, что мы уходим, нагло, громко вдогонку заколотил пулемет. Нырнул в борозду перевести дыхание и попытаться сообразить что к чему, и… – невероятно!!! – кого-то разрывало от смеха. Высунувшись из укрытия, увидел, что весь огромный провал черных шинелей, развернувшись по фронту, был необыкновенно возбужден: кто-то нарочито прощально махал рукой, как на вокзале отъезжающим, кто-то откровенно аплодировал, заходясь в коликах смеха, кто указывал тому, кто не смог пока углядеть нас, в общем, суматохи мы наделали порядком, успех был полнейшим, вплоть до криков «браво». Меня вдруг поразила мысль: «Почему это мрачное скопище шинелей у насыпи выглядит в нормальную человеческую величину? Они же должны быть крошечными, причудливо-лилипутскими, с трафаретно-четкими контурами, как те наивные коняги в хрустальной чистоте утреннего воздуха… или иллюзия, напомнившая игры детства, могла появляться лишь в минуту созерцания чьей-то чужой, посторонней опасности? Значит, сейчас кто-то неправильно ведет себя – они или я; они маленькими должны быть, необъемными и только казаться близко, а на самом-то деле должны быть далеко!»

…Свист, лязг, вой рикошета пуль оборвал ход этих размышлений. То место в насыпи, где перебегали, – кипело: пыль, щепы, пар, камни фонтаном летели, расползаясь уродливым черным пятном. И опять все стихло, оборвалось… со стороны леса долетело поблекшее эхо пулеметной настойчивости, и в малых паузах его опять четко донеслись… смех, восторженные крики, улюлюканье. Обалдев от непонимания – что же тут смешного? – вскочил и ринулся дальше, но тот же самый пулемет, развернувшись, должно быть, дал ясно понять, что веселье будет

продолжено, правда, с одной лишь стороны. Нервная рябь разрывов разбросанно вспорола белизну снега, подтвердив серьезность намерений и высокий класс умельцев, решивших, должно быть, что по быстро уходящей мишени куда сподручней будет калибр покрупнее. Хохот и восторги трибун не унимались. Впереди темнел бурый бок борозды, и, перемахнув глубину ее с ходу, прорванным мешком валюсь на ее гребень. Уже падая, остро хлестнула досада: «Нехорошо лечу… вывернуться бы». Но ни ловкости, ни времени справиться с собой и инерцией не хватило… Ожог в плече… истошный вопль (так в голод ночью волки воют). Едва не синхронно с моим воплем по трибуне полыхнул многоголосый восторженный стон отчаяния, преувеличенного сострадания, и хохот с подбадривающими выкриками завершил мое сольное выступление.

В перехваченном от боли дыхании коряво, медленно сползаю вниз. Видя, должно быть, что меня корежит неспроста, и приняв эти мои конвульсии за удачное попадание, пулеметный расчет перенес свое внимание по вперед ушедшим. Странно, но возмущало не то, что стреляли, – это вроде так оно и должно было быть, а то, что смеялись, и хотелось кричать, ответить на эти их неуместные насмешки, но положение все еще оставалось «на грани», боль вывихнутого плеча заслонила собою те недавние и, в общем-то, скудные школьные знания немецкого, и, кроме как «Анна унд Марта фарен нах Анапа», в воспаленную голову ничего не приходило. Кричать же «гутен морген» – фразу, которая все время почему-то услужливо напрашивалась, – совсем уж было ни к чему. Мог, конечно, орать, тогда уже очень распространенное «Гитлер – капут!», но, честно говоря, боялся. Знал, что все они сами ждут этот «капут» не меньше моего и с досады, что его все нет и нет, а я своим кличем только растравляю их желание, они уж точно прикончат меня, чтоб был пока хотя бы этот «капут».

Долго полз к лесу какой-то канавой и снизу немного, но все же просматривал поле, изрытое бурой оспой кочек, однако – где наши, что с ними – ни узнать, ни увидеть не смог. Я, должно быть, пропустил где-то большой отрезок времени и теперь не в силах был догнать их, или они бежали быстрее меня… Да и тот азарт, та «развеселая» непринужденность, с которыми те шутники за пулеметом пытались настигнуть нас, с каждой минутой затухали. Да, в общем-то, смешного действительно было не так чтобы уж очень, и ребята довольно быстро это осознали. Не исключено также, что те двое, повстречавшиеся нам, поспешили убедить их, что ничего дурного, в общем-то, мы и не хотели. И из борозды в борозду, между кочек и опять в борозду, а теперь на дно этой глубокой канавы и опять на кочку… Почему?

Люди жестоки порой, почему нужно обязательно догнать, добить, уничтожить, что заставляет их быть такими?

Вскоре на опушке я нашел невредимыми своих четырех товарищей, ожидавших меня. И лес, доселе безразлично наблюдавший за нашим поединком, растворил наконец нас в своей серой, тихо шепчущей свою историю толще. За спиной над деревней все еще висел туман, но был так ослепительно ярко просвечиваем всходящим солнцем, что, казалось, вот-вот вспыхнет.

Над полотном виднелись две-три крыши, и, черным обелиском устремившись в полыхающее над ним белое неистовство, четко вырисовывался шпиль костела, и ничто не говорило о страшной картине того двора. Они остались там.

Репертуарный лист Народного артиста СССР И. М. Смоктуновского

ТЕАТРЫ

Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина

1946 г.	Связной	«Под каштанами Праги»
	Гарри, слуга	«Мисс Гопс»
	Купчик	«Гроза»
	Иллюзионист	«Факир на час»
	Солдат	«Беспокойное хозяйство»
	Семен Горин	«Верные друзья»
	Стрелец-убийца	«Иван Грозный»

Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского

1947 г.	Никола	«Макар Дубрава»
	Орка	«Твое личное дело»
	Виктор Туманский	«Машенька»
	Недоносков	«Шутники»
1948 г.	Колосов	«Любовь Яровая»
	Принц	«Золушка»
	Поручик Полевой	«Разлом»
	Алексей	«Дети Ванюшина»
	Андрей	«За здоровье молодых»
1949 г.	Дон Хуан	«Мнимое равнодушие»
	Немецкий офицер	«Сын полка»
	Сын	«Добрые люди»
	Моцарт	«Моцарт и Сальери»
	Сауджен	«Женихи»
1950 г.	Дормидонт	«Поздняя любовь»
	Рекалло	«За тех, кто в море»
	Офицер гестапо	«Прага остается моей»
1951 г.	Белогубов	«Доходное место»
	Семен Горин	«Верные друзья»
	Петр	«Последние»

Русский драматический театр, г. Махачкала

1952 г.	Сергей	«Непокоренная полтавчанка»
	Председатель	«Свадьба с приданым»
1952 г.	Хлестаков	«Ревизор»
	Александр Ульянов	«Семья»
	Виктор	«Ее друзья»

Сталинградский театр им. Горького

1953 г.	Месье Леду	«Наследники Рабурдена»
	Королевич Магнус	«Иван Грозный»
	Бионделло	«Укрощение строптивой»
1954 г.	Хлестаков	«Ревизор»

Московский театр-студия киноактера

1960 г.	Неуспевающий	«У опасной черты»
	Лепорелло	«Анжело»
	Генри	«Как он лгал ее мужу»
	Виктор	«Сашенька»
	Петр	«Последние»

Большой драматический театр им. Горького

1957 г.	Дзержинский	«Кремлевские куранты»
1959 г.	Сергей	«Иркутская история»
1960 г.	Князь Мышкин	«Идиот»

Академический Малый театр СССР

1970 г.	Федор	«Царь Федор Иоаннович»

МХАТ СССР им. М. Горького

1976 г.	Иванов	«Иванов»
1978 г.	Сакулин	«Обратная связь»
1979 г.	Часовщик	«Кремлевские куранты»
1981 г.	Мастер	«Мастер и Маргарита»
1982 г.	Дорн	«Чайка»
1983 г.	Соратник Ленина	«Так победим!»
1984 г.	Порфирий	«Господа Головлевы»
1985 г.	Серебряков	«Дядя Ваня»
1986 г.	Реваз	«Тамада»
1988 г.	Профессор	«Так победим!»
	Войницкий	«Дядя Ваня»
	Людовик Великий, король Франции	«Кабала святош»
1989 г.	Борис Годунов	«Борис Годунов» (репетиция)
1990 г.	Гаев и Фирс	«Вишневый сад»
	Д-р Мартин Дайзерт	«Эквус»
1991 г.	Ганс Христиан Андерсен	«Из жизни дождевых червей»
1992 г.	Иоганн-Себастьян Бах	«Возможная встреча»

КИНЕМАТОГРАФ

1950 г.	Фашиствующий молодчик Генри	«Убийство на улице Данте» «Как он лгал ее мужу»
1956 г.	Лейтенант Фарбер	«Солдаты»
	Корреспондент Андрей	«Рядом с нами»
1957 г.	Композитор Муромцев	«Шторм»
1958 г.	Антонов-Овсеенко	«День первый»
	Пал Палыч	«Ночной гость»
1960 г.	Сабинин	«Неотправленное письмо»
1962 г.	Учитель	«До будущей весны»
	Физик-теоретик Куликов	«Девять дней одного года»
	Геннадий Куприянов	«Високосный год»
1963–1964 гг.	Гамлет	«Гамлет»
1964 г.	В. И. Ленин	«На одной планете»
	В. И. Ленин	«Первый посетитель»
1965 г.	Деточкин	«Берегись автомобиля»
1966 г.	Саша	«Степень риска»
1969 г.	Отец	«Первая любовь»
	Чайковский	«Чайковский»
	Гений	«Живой труп»
1970 г.	Порфирий Петрович	«Преступление и наказание»
	Войницкий	«Дядя Ваня»
	Моисей Моисеевич	«Степь»
	Дмитрий Бауэр	«Исполнение желаний»
	Генерал Цандлер	«Звезда пленительного счастья»
	Отец	«Рожденные бурей»
	Композитор Манев	«Барьер»
	Яков Бардин	«Враги»

	Модест Петрович	«В четверг и больше никогда»
	Комиссар полиции	«Бархатный сезон»
1972 г.	Пассажир	«Ехали в трамвае...»
1973 г.	ИОО (Исполняющий особые обязанности)	«Москва — Кассиопея»
	ИОО	«Отроки во Вселенной»
1974 г.	Вадим	«Дочки-матери»
	Циолковский	«Укрощение огня»
1975 г.	Президент Рузвельт	«Выбор цели»
	Журналист	«Анна и командор»
	Король	«Принцесса на горошине»
	Трубач	«Романс о влюбленных»
	Губернатор Финляндии	«Доверие»
	Хирург	«Они сражались за Родину»
1980 г.	Смоктуновский	«Москва слезам не верит»
	Начальник лаборатории	«Шутка»
1982 г.	Режиссер цирка Тиль	«Двое под одним зонтом»
1983 г.	Генерал Гиппиус	«Пробуждение»
	Психиатр	«Уникум»
1985 г.	Император Юстиниан	«Русь изначальная»
1986 г.	Премьер-министр Англии	«XX век начинается»
	Д-р Джекил	«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
1987 г.	Начальник контрразведки	«Первая встреча — последняя встреча»
	Кардинал Франции Флерн	«Гардемарины, вперед!»
	Барон Геккерн	«Последняя дорога»
	Барон	«Без солнца» (по пьесе «На дне»)
	Брихонов-эмигрант	«Загадочный наследник»
	Крупп	«На встречном рейсе»
	Ведущий	«Формула предостережения»
	Колонцев	«Запретная зона»
	Городской голова	«Очи черные»
	Учитель	«Черный коридор»
1989 г.	Мерлуш	«Ловушка для одинокого мужчины»
	Исаак	«Дамский портной»
1990 г.	Инквизитор	«Осада Венеции»
	Д-р Бардов	«Дина»
1991 г.	Принц	«Гений»
	Мафиози	«Линия смерти»
1992 г.	Дон-Диего	«Золото»
1993 г.	Следователь	«Убийца»
	Полковник Фрилей	«Притяжение солнца»
1994 г.	Профессор Валентин Грак	«Белый праздник»

1957 г.	Юлиус Фучик	«Дорогой бессмертия»
1959 г.	Моряк	«Если позовет товарищ»
1961 г.	Моцарт	«Моцарт и Сальери» (опера)
1963 г.	Итен Ален Хоули	«Зима тревоги нашей»
1970 г.	Моцарт	«Моцарт и Сальери»
1974 г.	Гаев	«Вишневый сад»
1976 г.	Санин	«Фантазия» (балет-драма)
	Карл Великий	«Легенда о Тиле Уленшпигеле»
1979 г.	Федя Протасов	«Песни цыган»
1980 г.	Чекалинский	«Пиковая дама»
1979–1980 гг.	Барон	«Маленькие трагедии»
	Сальери	«Маленькие трагедии»
1980 г.	Цезарь	«Цезарь и Клеопатра»
	От автора	«Медный всадник»
1981 г.	Старкуэтер	«Кража»
1982 г.	Иванов	«Иванов»
	От автора	«Вновь я посетил»
1983 г.	Маргаритов	«Поздняя любовь»
	Все мужские роли	«Три карты» (драма-балет)
	Монофильм	«Болдинская бессонница»
	Плюшкин	«Мертвые души»
1984 г.	Павел Протасов	«Дети солнца»
1987 г.	Купец Каркунов	«Сердце не камень»
1990 г.	Иван Грозный	«Иван Федоров»
	Муромский	«Дело Сухово-Кобылина»
1993 г.	Карл Федорович Мейер	«Мечтательница»

СТУДИИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО ФИЛЬМА И РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1970 г.	Он и отражение	«Ночь на размышление»
1975 г.	Хозяин лавки	«В горах мое сердце»
1982 г.	Психолог-телепат	«В кривом зеркале»
1986 г.	От автора	«Седой Урал»
1991 г.	От автора	«Время Мираба»

ОСНОВНЫЕ РОЛИ, ОЗВУЧЕННЫЕ В КИНО

Моцарт	«Дай руку, жизнь моя»
В. И. Ленин	«Алгебра революции»
Фильм о Л. И. Брежневе	«Повесть о коммунисте»
Чарли Чаплин	«Огни рампы»
Чарли Чаплин	«Король в Нью-Йорке»
От автора	«Зеркало»

РАБОТЫ НА ФИРМЕ ГРАМЗАПИСИ «МЕЛОДИЯ»

Иннокентий Смоктуновский	Творческий портрет
Александр Пушкин	«Моцарт и Сальери»
	«Пир во время чумы»
Райнер Мария Рильке	Новые стихотворения
	Сонеты к Орфею
	Поздняя лирика
Библия для самых маленьких	

ОСНОВНЫЕ ЗАПИСИ НА ВСЕСОЮЗНОМ РАДИО

Пушкин	«Капитанская дочка»
	«Метель»
	«Медный всадник»
	«Евгений Онегин»
	«Борис Годунов»
Друцэ	«Время нашей доброты»
Достоевский	«Идиот» и «Бедные люди» (главы из романов)
Гарин-Михайловский	«Детство Темы»